



ЭДИТА Вып. 13

ЭДИТА

ВЫПУСК 13



ЭДИТА

№13

Литературный альманах
www.editagelsen2023.com

2024

Серия альманахов "ЭДИТА" запущена в марте 2024 г.
как преемник журнала "EDITA"

Выходит по мере накопления материала

Тексты публикуются преимущественно в авторской редакции

Литературная редакция:
Пётр Бледнёв, к.ф.н. Иоган Манаев,
к.ф.н. Эвдокия Прянская, м.ф.н. Сильфида Селезнёва

Графика обложки — pexels-lil-artsy-1925536

Издатель и главный редактор — Александр Барсуков

Copyright © 2024 bei Autoren
Alle Rechte in dieser Ausgabe vorbehalten

ISBN 978-3-910935-63-1

Gesamtherstellung Edita Gelsen e.V.
logobo2023@gmail.com

Printed in Germany

РАССКАЗ

Сергей Калабухин

Коломна



ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

«Жизнь — это не мотор машины,
который можно заменить».

Вл. Титов

— Вот он, папка твой, Пашенька, заходи! — Люба отворила заскрипевшую на, видимо, давно не смазанных петлях калитку в невысокой металлической ограде вокруг могилы и пропустила внутрь внезапно оробевшего сына. Ей пришлось даже немного подтолкнуть его вперёд и потом подвинуть в сторону, чтобы войти следом за ним и положить букетик астр на могилу. — Как обещала: вернёшься из армии, расскажу, кто твой отец. Вот он, Тёмочка мой, знакомьтесь!

Павел, не успевший пока сменить форму десантника на штатский костюм, потому как из прежней своей одежды он за время службы вырос, а новую ещё не приобрёл, снял голубой берет и сел на скамейку, ноги его вдруг почему-то ослабли, чего не было даже перед первым прыжком с парашютом. С фотографии на мраморной стеле, чуть улыбаясь, смотрел поразительно знакомый молодой парень.

— Не удивляйся, — сказала сыну Люба, садясь рядом с ним. — Ты это лицо каждый день в зеркале видишь, только глаза у Тёмочки были серые, стальные, когда он сердился, а тебе достались мои, голубые, а в остальном ты, Пашенька, вылитый отец!

Павел прочёл надпись под фотографией: «Артемий Колычев» — и ниже цифры: «12.10.1970 — 30.10.1995 гг.»

— Всего двадцать пять лет прожил? — И тут другая мысль поразила его. — Но я же родился 15 мая девяносто шестого! Как так, мама?

— Вот поэтому ты Сергеев, а не Колычев, — со вздохом ответила Люба. — Всего неделю не дожил Тёма до нашей свадьбы. Потому и не рассказывала я тебе об отце, ждала, когда подрастёшь и сможешь понять меня и не осудить. Основное же ты знал: твой отец погиб, когда ты был ещё совсем маленьким. Я ведь не обманула тебя, ты действительно был совсем маленьким, даже не родился ещё.

— Так Расскажи мне, наконец, всё, мама, — попросил Павел. — Я бы и раньше тебя ни за что не осудил, незачем было так долго скрывать от меня правду.

— Меня, может, и не осудил, — задумчиво произнесла Люба, — а вот отца... Ладно, слушай, как оно всё было.

Двадцать лет назад, в тот далёкий, принёсший ей небывалое счастье и огромное горе год, Люба не прошла после окончания десятилетки по конкурсу в институт, полбалла не хватило. Её мать, Екатерина Петровна Сергеева, работавшая старшим мастером в Термическом цехе Коломзавода, устроила Любу лаборантом в цеховую лабораторию. Цех хоть и вредный, «горячий», зато дочка под присмотром. Завод еле дышал, зарплату выплачивали с большими задержками, но Люба быстро втянулась в работу и подружилась с двумя другими лаборантками, столь же молодыми, всего на два-три года старше неё девушками: высокой и тощей, как говорится, не в коня корм, хохотушкой Валентиной и во всём внешне обыкновенной болтушкой Светланой.

В тот жаркий июльский день Екатерина Петровна взяла отгул, и поэтому после работы Люба пошла домой не как обычно с мамой, а с подружками. Когда они втроём вышли из проходных завода, Валентину окликнул какой-то парень. Невысокий, коротко стриженный блондин с угольно чёрными глазами, похожими на дырки, что-то коротко сказал подошедшей к нему девушке и махнул рукой в сторону негромко урчавшей мотором напротив проходной чёрной «волги». Валентина согласно кивнула и приглашающе махнула рукой подругам.

— Куда бы ни звали, не соглашайся, — тихо шепнула Любе Света. — Лучше скорее уходи!

— Ребята приглашают на бережок прокатиться, — весело улыбаясь, сказала подошедшим подругам Валя. — Отдохнём культурно после работы, покупаемся.

— Я не могу, — нерешительно ответила Люба. — Да и купальника с собой нет...

— Мы ж не на пляж едем, — как-то мерзко ухмыльнулся блондин. — Там посторонних не будет.

— Нет, — уже твёрдо сказала Люба. — Мне домой надо.

Из «волги» вылез и подошёл к ним квадратный крепыш кавказского типа.

— Ну что тут у вас? Поехали, наконец! Босс ждать не любит.

— Да вот, Ашот, эта коза упирается, не хочет ехать! — Блондин кивнул в сторону Любы.

— Что значит, упирается? Босс сказал, трёх девок привезти. — Кавказец схватил волосатой ручищей Любу за предплечье и потащил к машине. — А ну, садись давай!

Народ с завода валил толпой, но никто не вмешивался в происходящее, стараясь побыстрее обогнуть по широкой дуге опасную группу, избежав неприятностей.

— Эй ты, горилла! — раздался вдруг злой голос. — Отпусти девушку.

От проходной решительно подошёл к замершей компании молодой парень в форме охранника.

— Как ты меня назвал? — ощерился кавказец, отпуская Любу, мышцы на его длинных волосатых руках вздулись буграми.

— Ты меня слышал, — спокойно ответил парень и быстро отвёл Любу к себе за спину. — Иди, подожди меня в проходной. А вы грузитесь в свою тарахтелку и валите отсюда!

Блондин с дырками глаз на ставшем вдруг хищным лице как-то пригнулся и сунул руку в карман брюк. Охранник молча расстегнул висящую на поясе кобуру.

— Над проходной висит видеочамера, — по-прежнему спокойно сказал он. — Она фиксирует всё, что здесь происходит. Положу вас тут обоих, и суд меня оправдает: я при исполнении, моё дело — охранять порядок. Только дёрнись!

Блондин, прошипев ругательство, вынул руку из кармана.

— Я тебя запомнил, — прорычал кавказец, ткнув толстым волосатым пальцем в сторону охранника. — Быстро в машину! — скомандовал он блондину и замершим в ступоре девушкам.

— Мы ещё встретимся! — прошипел блондин. — Там, где не будет камер.

Когда «волга» уехала, охранник подошёл к дрожащей, несмотря на летнюю жару, Любе.

— Ну, как ты, голубоглазка? Не бойся, всё в порядке, тебя никто больше не тронет.

— Я боюсь идти домой одна, — ответила Люба. — Вдруг они отъехали немного и там меня поджидают?

— А где ты живёшь? — нахмурился охранник.

— В старом городе, рядом с кремлём.

— Подожди здесь, — решительно сказал парень, — я сейчас отпрошусь у начальства на полчаса. Народ уже схлынул, теперь до конца второй смены в проходных будет пусто и спокойно. Меня, кстати, Артёмом зовут, а тебя?

— Вот так мы и познакомились. — Люба промокнула носовым платком потёкшие вдруг ручьём слёзы. У Павла на щеках вздулись желваки, он ласково обнял мать, и та, чуть успокоившись, продолжила: — Тёма отвёз на своём «москвиче» меня домой, смена у него заканчивалась только утром, и мы договорились встретиться на следующий день в семь часов вечера в кафе «Крюшон».

В Коломне в то время было мало заведений, где молодёжь города могла бы посидеть за столиками, поесть мороженое, попить кофе или соки. Пара ресторанов с их заоблачными ценами доступна далеко не всем. В единственный на весь город приличный пивной бар редкая девушка согласится пойти. Оставались кафе. Одно находилось в городском парке и в основном было заполнено гуляющими вокруг расположенного рядом фонтана мамашками с детьми. Два других кафе занимали небольшие закутки в фойе кинотеатра «Горизонт» и на первом этаже «Торгового дома». Конечно, ни одно из этих заведений не могло соответствовать желанию молодых парочек интересно провести время. Оставалось кафе «Крюшон». Оно находилось практически в центре Коломны на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Ранее, в советские времена, здесь был магазин «Охота», в котором продавались экзотические для провинциального подмосковного городка продукты: медвежье и кабанье мясо, рябчики, оленина, зайчатина и прочие охотничьи трофеи. Цены, разумеется, «кусались», и народ сюда ходил как на выставку, главным образом посмотреть, повздыхать и позавидовать редкому настоящему покупателю. За говядиной, свиной и колбасой коломенцы по выходным мотались на электричке в столицу. Поэтому магазин «Охота» проработал недолго, и вскоре на его месте открылась кофейня. Ныне это заведение было приватизировано и преобразовано в кафе «Крюшон». Днём здесь пили соки и кофе, ели пирожное или мороженое обычные посетители: студенты, мамашки с детьми, влюблённые парочки, а после официального закрытия кафе превращалось в место отдыха и деловых встреч членов городских бандитских группировок.

Люба пришла в кафе вовремя, что приятно удивило Артёма. Он приглашал в «Крюшон» почти всех своих мимолётных подружек, и до сих пор не было случая, чтобы кто-либо из них не опоздал на несколько десятков минут. На Любе было простенькое светло-голубое платьице без рукавов, в ушах поблёскивали золотые серёжки с небольшими сапфирами. Артём занял столик в дальнем от стойки бармена углу и откровенно любовался изящной фигурой приближающейся девушки.

— Ты изумительно выглядишь! — восхищённо сказал он, когда Люба села напротив него. — Что будешь пить? Вино, водка? Может, коньячку?

— Нет, я не люблю крепкие напитки. А что такое крюшон?

— Сейчас выясним!

Артём махнул бармену. Обычно тот не выходил из-за стойки, но Артём был старым и щедрым на чаевые клиентом, поэтому вскоре их столик был заполнен высокими бокалами, несколькими бутылочками с различными соками, двумя вазочками с разноцветными шариками мороженого, тарелочкой с несколькими эклерами и маленькими миндальными пирожными, дымящейся чашечкой чёрного кофе для Артёма и красивым фужером с крюшоном для Любы.

— Я после ночного дежурства и за рулём, так что пью только кофе и сок, — улыбнулся Артём.

Люба с любопытством оглядывала кафе. Она явно была здесь впервые. Половина столиков пока пустовала. Из кассетного магнитофона над стойкой бара приглушённо гудел голос Цоя. Люба обеими руками взяла фужер и осторожно сделала пару глотков.

— Ничего особенного. — Девушка поставила фужер и придвинула к себе вазочку с мороженым. — Ты женат? — спросила она Артёма. — Не хочю, чтобы это выяснилось, когда станет поздно.

— А когда станет поздно?

— Когда я окончательно влюблюсь в тебя, — простодушно ответила Люба.

— У тебя уже такое случалось? — удивился Артём.

— Пока нет. Я и не влюблялась ещё всерьёз.

— А в тебя? — Артём допил наконец горячий кофе и тоже придвинул к себе вазочку с мороженым.

— Недавно один курсант нашего военного училища сделал мне предложение.

— И что ты ему ответила?

— Ничего. Я не совсем уверена, что он мне настолько нравится, чтобы выйти за него замуж.

— А я нравлюсь или тоже не совсем уверена? — спросил Артём.

— Я тебя ещё почти не знаю, — ответила Люба. — Расскажи мне о себе. Ты женат?

— Был, — нахмурился Артём. — Мы уже год, как развелись.

— И дети есть?

— Сын, — признался Артём.

— И что случилось? Ты разлюбил или она?

Для Артёма эта тема была табу. После тяжёлого и унижительного развода он ни с кем не желал говорить о своём неудачном браке. Любовь превратилась в ненависть, но удивительным образом осталась! Как это возможно, Артём не понимал, но факт оставался фактом: он ненавидел Веру, но одновременно продолжал её любить. Артём легко заводил любовные связи и столь же легко рвал их, когда убеждался, что очередная любовница не смогла вытеснить из его души ненавистный образ Веры. Только с одним человеком Артём мог говорить о бывшей жене — с Надюхой, своей единственной постоянной любовницей. Артём не мог с ней порвать по единственной причине: та была «лучшей подругой» Веры и являлась для Артёма источником сведений о жизни его бывшей жены. Артёму даже не приходилось унижаться вопросами, Надюха сама при встрече спешила высыпать на него ворох новостей. Артём выслушивал всё молча, без комментариев и проявления чувств, как будто жизнь бывшей жены его ни в малейшей степени не интересовала и не волновала. Но и он, и Надюха прекрасно понимали, что их связь будет длиться до тех пор, пока окончательно не угасли чувства Артёма к Вере.

— Не хочешь об этом говорить? — огорчилась Люба. — Как же тогда я тебя узнаю? Как смогу избежать тех ошибок, что сделала твоя бывшая жена, и тем самым не погубить нашу будущую любовь? Ведь у вас же наверняка была любовь, раз вы поженились и даже родили ребёнка! Почему же вы развелись?

— Потому что я терпеть не могу, когда кто-нибудь мельтешит перед глазами, — через силу усмехнулся Артём.

Люба засмеялась:

— Зачем тогда женился?

— Думал, она такая же, как я, а она оказалась совсем наоборот: шагу ступить без себя не позволяла. Есть такие люди: заводят в доме собаку не потому, что любят, а чтобы только было кем командовать: «Нельзя! Ко мне! На место!» Вера вот из таких. А ещё таскала с собой по знакомым, их у неё тьма... Через пару месяцев я понял, что долго мне так не протянуть.

— Зачем тогда заимел ребёнка?

— У меня об этом мысли даже не было. Вера и не подумала посоветоваться со мной. Как обухом по голове! Я тогда перестал исполнять её команды и таскаться по её знакомым. Вера начала визжать. Ты знаешь, я не переношу истерик, а она закатывала их на дню по десять раз. Тогда я работал на компьютере в одной частной фирме, начал специально задерживаться на работе, стал приходить домой в полночь, надеясь,

что жена уже спит. Вера в ответ начала запирает дверь изнутри, и мне приходилось ночевать у родителей, что, сама понимаешь, их вовсе не радовало. Короче, развелись мы ещё до рождения ребёнка.

Артём оттолкнул вазочку с растаявшим мороженым, дрожащей рукой налил себе бокал апельсинового сока и залпом выпил. Он не любил и не привык врать, но правду рассказать всё ещё никому был не в силах. Полуправду Артём не отличал от лжи.

— Она красивая? — спросила Люба.

— Знаешь, до женитьбы я был убеждён, что Вера очень красива. И многие наши знакомые считают её настоящей красавицей. Но сейчас такое, как у неё, смазливое личико у меня ассоциируется с уродством, ведь я не могу забыть, каким оно становится во время истерик.

Они сидели и разговаривали почти до закрытия кафе. Потом Артём отвёз Любу домой. Выйдя из машины, они остановились у калитки, оба не хотели расставаться.

— Теперь ты достаточно знаешь меня? — натянуто улыбнулся Артём, с неожиданной тревогой ожидая ответа. — Разочарована?

— Ещё не совсем, — призналась Люба. — Но ты стал мне гораздо ближе. — В старом бревенчатом одноэтажном доме светилось одно из трёх окон, указав на него, Люба со вздохом пояснила: — Родители ждут, волнуются. Пока?

— Пока! — Тоже грустно вздохнул Артём и, спохватившись, быстро спросил: — Завтра увидимся?

— Ты же теперь знаешь, где меня найти, — улыбнулась Люба.

— Тогда после работы я тебя встречу у проходных?

— Нет, не надо. — Любе не хотелось, чтобы Артём узнал, что она, как маленькая девочка, ходит на работу и с работы в сопровождении мамы, даже если это и происходило только потому, что они работали в одном цеху. — Лучше приходи вечером сюда, погуляем, подышим свежим воздухом, посидим на берегу реки...

Люба прощально махнула рукой, захлопнула калитку и, быстро мелькнув светлым пятном в сгущающихся среди садовых деревьев сумерках, скрылась в доме.

Давно с Артёмом такого не было. Он целый вечер угощал девушку в кафе, проводил её до дома и даже не попытался поцеловать на прощание! И всё же неожиданные чувства облегчения и радости охватили Артёма. Он сел в машину и непривычно медленно поехал на другой конец города, потом через мост, за Оку, на дачу, где семья Колычевых обычно жила всё лето. Ему хотелось продлить охватившие его чувства, ничего подобного он не испытывал ни по отношению к бывшей своей

жене, ни по отношению к Наде, однокласснице, с которой встречался для постели и сплетен о жизни Веры.

Родители уже спали, когда Артём вернулся. Загнав «москвич» во двор, он закрыл ворота, прошёл в сад, лёг в гамак и стал глядеть на звёздное небо. Голова у него почему-то немного кружилась.

Завтрак Артём проспал. Мать несколько раз заходила к нему в комнату, но будить не решалась. Артём был единственным и любимым ребёнком в обеспеченной семье Колычевых, считающих себя частью элиты Коломны. Сын давно уже вырос, отслужил в армии, успел жениться и развестись, но Ксения Вячеславовна по-прежнему считала его несмышлёным юношей, нуждающимся в постоянном присмотре и руководстве. При этом Артём почти никогда не был ограничен со стороны властной матери в исполнении его капризов и насущных потребностей. Она не изводила его нотациями, не подавляла жёсткими приказами, и Артём был уверен, что всегда сам принимает все решения, хотя на самом деле таких прецедентов было очень мало: решение пойти после провала в институт в армию, активно поддержанное отцом, скоропалительная женитьба на Вере и скандальный развод с ней. Все остальные события в жизни Артёма Колычева происходили под непосредственным или незаметным руководством матери.

Возможно, Ксения Вячеславовна и от армии любимого сыночка отмазала бы, если бы не решительное вмешательство главы семьи. Пришлось смириться. Сын решил жениться на любимой девушке? Отговаривать его себе дороже, этим можно только оттолкнуть от себя любимого сыночка. Ведь для отказа и неприятия получить в снохи дочь старых друзей нужны очень веские аргументы, которых в то время у матери Артёма не было. Неприятные слухи, конечно, доходили, «добрые люди» всегда найдутся, но не пересказывать же сплетни ослеплённому первой любовью мальчику! Артём всё равно бы не поверил, а Вера вряд ли бы призналась, раз уж решила бы быстренько лечь в койку с нелюбимым и навязать доверчивому несмышлёнышу чужого ребёнка. А мальчик был счастлив! Что ещё нужно матери?

Последующий скандал и развод были, конечно, неприятны и вряд ли столь уж необходимы. Многие семьи живут при схожих обстоятельствах, но Артём, а главное, Вера упёрлись. Хорошо ещё, что правда не вышла за узкий круг посвящённых, которые вряд ли посмеют раскрыть свой поганый рот — влияние родителей непутёвой Веры и самих Колычевых в Коломне является надёжной гарантией этого. С трудом, но удалось убедить Артёма не отказываться от отцовства. Алименты — ми-

зерная цена за сохранение авторитета. Деньги для Колычевых давно уже не проблема. Тёму грызёт обида, его можно понять, но какой он всё-таки ещё ребёнок! Бросил хорошую работу, пошёл в сторожа, чтобы отомстить Вере! Глупыш!

Мальчик, конечно, получил хороший урок. Пусть пока меняет любовниц, набирается опыта. Теперь-то уж он не станет жениться под влиянием чувств. Когда успокоится, заботливая мама подберёт ему хорошую невесту из их круга. Незаметно, конечно, сведёт их, исподволь убедит мальчика, что именно такая девушка достойна стать его женой.

Ксения Вячеславовна опять вошла в спальню сына. Странно, на лице Артёма добрая улыбка! Последнее время мальчик спит беспокойно, его мучают кошмары, которые он не может вспомнить при пробуждении, встаёт невыспавшийся, хмурый, с утра ходит раздражённый, всем недовольный, а сейчас улыбается во сне. Как такого будить? И Ксения Вячеславовна вновь вышла, тихо закрыв за собой дверь.

Артём проснулся в полдень и тут же вспомнил голубоглазку Любу. Сегодня он обязательно вновь её увидит. Придёт, как обещал, пешком, и они будут долго гулять и говорить обо всём. Или молчать, поглощённые чувствами небывалого единения и нарождающейся любви. Да, любви! Что же ещё это может быть, если сегодня Артём проснулся с ощущением грядущего счастья? Он давно не чувствовал себя так легко и хорошо. Его больше не мучают мысли о Вере! Более того, он вспомнил о ней именно потому, что не она, как это было каждое утро, занимает его мысли. Он поразился этому, потому и вспомнил. «Милая голубоглазка, ты и от этого кошмара меня избавила!» — с умилением подумал Артём.

Он встал, натянул плавки и, выскочив в окно, чтобы не обходить дом, помчался по давно протоптанной им между клумбами и кустами крыжовника тропинке напрямки к реке. Легко перемахнув дачный забор, Артём, не останавливаясь на берегу, с разгону ворвался в воду, охнул от её неожиданной прохлады и нырнул. Дно Оки в этом месте уже через пару метров резко понижалось, камни и кувшинки Колычевыми давно были убраны. Артём плыл под водой, пока хватало воздуха в лёгких, потом вынырнул, громко отфыркиваясь, и быстро огляделся вокруг — не хотелось бы попасть под винт какой-нибудь моторки. Но всё было тихо, фарватер пуст, и только на противоположном берегу шумел разноголосицей городской пляж. Артём перевернулся на спину и отдался на волю течения.

«Вечером я вновь увижу мою голубоглазку! — с умилением думал Артём. — Надо ей что-нибудь подарить, хотя бы какие-нибудь цветы. Голубые, как её прекрасные глаза».

Гул, возникший в ушах, прервал Артёмовы мечты. Он поднял голову, быстро огляделся и увидел приближающийся буксир, за которым виднелась длинная баржа, наполненная песком. Артём спокойно оценил расстояние до буксира и красивым брасом поплыл к берегу. В дом он вошёл, как и положено, через дверь.

После завтрака, совмещённого с обедом, Артём на пару часиков завалился с книжкой на диван, ожидая, пока немного спадёт жара, а затем занялся любимым делом. Вставив в магнитоу кассету с подборкой любимых песен английской рок-группы «Deer Purple», Артём врубил музыку погромче и поднял капот «москвича». Он решил заменить отечественные свечи на японские, комплект которых достал на днях у знакомого спекулянта. «Хотя теперь подобных людей, видимо, нужно уважительно называть предпринимателями или даже бизнесменами», — усмехнулся Артём, вскрывая красочную упаковку. Он успел заменить две свечи, когда у ворот дачи вдруг остановился «мерседес». Из машины с кошачьей грацией выскользнул Иван Петров, с которым Артём когда-то сидел за одной партией, а потом они вместе ушли в армию и служили в одном отделении, вместе бегали в самоволку, на дембель друзья ушли тоже одновременно, и Иван даже был свидетелем на свадьбе Артёма и Веры. Жена друга Ивану почему-то не понравилась, как и он ей, и вскоре после свадьбы пути неразлучных ранее друзей разошлись, при случайных встречах они успевали только обменяться приветствиями, дежурными вопросами о здоровье и делах и столь же дежурными ответами, потому что от общих знакомых прекрасно знали почти всё друг о друге.

Артём вытер руки, выключил магнитоу и вышел за калитку.

— Привет! — сказал он. — Извини, руки не подаю...

Артём продемонстрировал покрытую пятнами и остро пахнущую бензином тряпку, которой продолжал оттирать руки.

— Привет! — усмехнулся Петров. — Всё надраиваешь свою старушку? Не надоело?

Из «мерседеса» послышалось женское хихиканье, в окне мелькнули две раскрашенные мордашки.

— Чего приехал-то? — хмуро спросил Артём. Его прекрасное с утра настроение стало постепенно скукоживаться.

— Разговор есть, — не обижаясь, ответил Петров. — Серьёзный.

— Говори.

— Ну не здесь же!

— В гости, что ль напрашиваешься? — удивился Артём. — Так ты, вроде, не один, а у меня сейчас ничего нет...

— У меня всё с собой! — махнул рукой Петров. — И выпивка, и закуска, и девочки. А сидеть в такую погоду в душной комнате, да ещё под присмотром твоей маман... — Петров презрительно усмехнулся. — За кого ты меня принимаешь?

— А где тогда? — озадаченно спросил Артём.

— Да вон недалеко отсюда на берегу есть одно отличное местечко. Укромное, посторонних поблизости не бывает, и даже песочек для желающих позагорать имеется.

— У меня машина не на ходу, — попытался отказаться Артём.

— Так на моей поедем, — успокоил Петров. — Иль брезгуешь?

— Да нет, — пожал плечами Артём. — Просто у меня вечером свидание...

— Не проблема! — расплылся в улыбке Петров. — Доставим, куда скажешь.

Местечко и впрямь оказалось уютным и скрытым от посторонних глаз. Выпорхнувшие из машины девицы привычно расстелили на траве скатерть, вынули из багажника и принесли две корзины с бутылками и закусками. Быстро порезали хлеб, колбасу, огурцы и помидоры, разложили всё это на тарелочки, отдельно положили пучки зелёного лука, салата и петрушки, десяток варёных яиц, открыли и водрузили в центре коробочку с солью. Расставили стаканы. Вокруг скатерти разложили четыре огромных махровых полотенца.

— Стол готов! — провозгласили хором девицы и поклонились на древнерусский манер, тотчас выпрямившись и звонко расхохотавшись.

— Каковы!?! — восхищённо воскликнул Петров, шутиливо ткнув Артёма кулаком в плечо. — А ты ехать не хотел.

Артём смущённо улыбнулся. Он всё ещё не понимал, почему согласился поехать с Петровым и девицами в этот укромный уголок на берегу реки, скрытый от посторонних глаз прибрежным кустарником. Все его мысли по-прежнему занимало предстоящее свидание с Любой. Он не понимал собственной робости в общении с ней. Как пройдёт сегодняшнее свидание? Осмелится ли он хотя бы обнять и поцеловать её?

Петров привычными движениями сорвал с бутылки пробку и равными порциями разлил водку по стаканам.

— Ну что ж, пора вам познакомиться, — с улыбкой сказал он, поднимая свой стакан. — Эту вот красавицу-блондинку зовут Марго, а неотразимую брюнетку — Сандра.

Девицы захихикали, переглянувшись и лукаво поглядывая на Артёма.

— А этот могучий атлет — мой давний друг Артём, — продолжил Петров. — И он вовсе не такой неуклюжий и молчаливый медведь, каким почему-то выглядит сегодня.

Девицы громко засмеялись, а Артём смущённо улыбнулся и наконец выпал из своих раздумий в реальность. Он тоже взял свой стакан и, протянув его в сторону девиц, сказал:

— За знакомство!

— Вот это другое дело! — воскликнул Петров. — «Узнаю брата Колю!»

Все чокнулись и залпом выпили. Марго, задержав дыхание, тут же наполнила свой и подруги стаканы ядовито-жёлтой фантой и вопросительно посмотрела на Артёма. Тот отрицательно мотнул головой и плеснул себе немного минералки. Петров насмешливо посмотрел на Артёма и нарочито медленно отломил кусочек чёрного хлеба и поднёс его к своему длинному носу.

— Ваня, а почему ты назвал Артёма Колей? — удивилась Марго.

— Не забивай свою прелестную головку тем, что тебе всё равно в жизни не пригодится, — усмехнулся Петров.

— А я знаю! — воскликнула Сандра. — Это из какого-то кино, правильно?

— Ах ты моя умница! — полупрезрительно-полунасмешливо ответил Петров. — Конечно, из кино. Или из книги. Вот Артём нам сейчас скажет. Он очень книжки уважает!

— Правда? — изумлённо округлила глаза Марго. — Ты читаешь книжки? А я со школы ни одной в руки не брала! Кино в сто раз интересней.

— Конечно, это из какого-то кино! — воскликнула Сандра.

— Ну же, Артём, рассуди нас! — подначил Артёма Петров.

— Все вы правы, — грустно усмехнулся Артём. — Фразу про брата Колю ты взял из книги Ильфа и Петрова «Золотой телёнок». По ней и фильм снят, вы наверняка его видели. И ты, Марго, тоже, просто забыла или не обратила внимания.

Марго беззаботно махнула рукой.

— Я вообще быстро всё забываю. Зачем помнить всякую чепуху? Давайте лучше выпьем по второй.

— Вот это правильно! — Отложив недоеденный бутерброд с колбасой, Петров ловко открыл новую бутылку и разлил её содержимое по стаканам.

— А не слишком ли мы гоним? — спросил Артём. — Ты ж ещё о чём-то серьёзном поговорить хотел?

— Успеем, — успокоил его Петров. — Ну, девочки, а теперь за что пьём?

— За любовь! — откликнулись те хором и засмеялись.

— Не за книжки же! — добавила Марго, насмешливо глянув на Артёма. — Они нам ещё в школе надоели.

Артём почти с научным интересом разглядывал легкомысленную девицу, её бездумно-смазливое личико с пустыми глазами и порочным ртом, ладную фигурку. Перехватив его взгляд, Марго приняла, как ей казалось, соблазнительную позу, очевидно перенятую ею у голливудских кинодив и отработанную путём неоднократных тренировок перед зеркалом.

«С такими бабами надо быть проще, — подумал Артём. — Им умные разговоры неинтересны...» Он выпил водку, и через несколько минут стал рубаха-парень. В компании непринуждённо завязался бессмысленный, перенасыщенный банальными и пошлыми шутками и смешками разговор.

— Девочки, вы, наверно, перегрелись малость? Пойдите окупитесь, — наконец сказал Иван.

Девушки без возражений поднялись, без малейшего смущения скинули платья и нижнее бельё и совершенно обнажённые пошли к реке. Артём, разинув рот от изумления, смотрел, как они, соблазнительно покачивая бёдрами, не торопясь, входят в воду.

— Ну не сидеть же им потом в мокром белье! — пояснил Петров. — Здесь всё равно никого, кроме нас, нету. Тебе, кстати, какая больше нравится? Хотя, если захочешь, можем в процессе и поменяться, они будут не против.

— У меня свидание сегодня! — побагровев, отрезал Артём. — Я не за этим с тобой сюда приехал.

— Да, поговорить надо, — согласился Петров. — Как тебе твоя нынешняя работа?

— Нормально. Ты сам-то где работаешь?

— При случае везде. В общем, в сфере бизнеса, на жизнь не обижаюсь. Тёма, скажи честно, ты на грошовую зарплату устроился в охрану для чего? По склонности к безделью или...

— Или, Ваня. Бывшая моя жена такая при ближайшем рассмотрении оказалась сволочь, что... Короче, на грошовую зарплату я пошёл, чтобы алименты ей выплачивать грошовые.

— Одобряю. А неофициальные доходы?

— Нет у меня доходов, на шее у родителей сижу.

— Как долго думаешь сидеть на шее?

— Не думал ещё над таким вопросом.

— Пора подумать, Артём. Я же помню твою голубую мечту о крутой иномарке, сколько ещё собираешься латать свой древний «москвич»?

— Мне такие денежки не по плечу.

— Почему же, Тёма? Плечо у тебя нехилое, о том и разговор. Хочешь в сферу бизнеса?

— Смотря какого...

— Не бойся, не посадят. А денежки будешь иметь, какие пожелаешь. Со временем, конечно.

— А трудовой стаж?

— Тё-ёма! Ты же умный парень, не видишь разве, куда клонится жизнь? Что тебе трудовой стаж даст? Нищенскую пенсию? Чувство глубокого морального удовлетворения?.. Я уже говорил насчёт тебя с моим шефом. Иди к нам!

— В вашу банду?

— Обидеть хочешь? — тяжело вздохнул Иван. — У нас легальное охранное агенство. Так что будет тебе и трудовой стаж, и маленькая официальная зарплата, и большая неофициальная премия в конвертике, на которую алименты не начисляются. Так как, пойдёшь к нам?

— Зачем это мне?

— Тёма, ты на днях поссорился с серьёзными людьми. Они не забудут и не простят, поверь мне.

— Откуда ты знаешь?

— Мы следим за конкурентами, они — за нами. Сам по себе ты никто, беззащитен перед ними, как и твоя новая подружка. Придя к нам, ты становишься членом организации, с которой, поверь мне, мало кто захочет ссориться.

— Ладно, убедил, — вынужден был согласиться Артём. Он не столько за себя испугался, сколько за Любу. — А вам-то я зачем?

— Ты мой друг, — просто ответил Иван. — Не хочу, чтобы те подонки тебя покалечили или убили. Так что нашего шефа я убедил взять тебя под защиту, хоть ссорится из-за неизвестного ему парня с конкурентами у него никакого желания не было. Но я его правая рука, он с моим мнением считается.

— Спасибо! — смущённо сказал Артём, с раскаяньем вспомнив, как неприятливо встретил Ивана. — И кем я у вас буду работать?

— Сторожем, — рассмеялся Иван. — Шутю, понятно. Шеф найдёт тебе занятие, перетруждать не будет, гарантирую. И на денежку не покупится. Значит, согласен?

— Пожалуй... — с неуверенностью молвил Артём.

— Замётано, — заключил Петров. — Выпьем по такому случаю.

Он позвал подружек. Выпили водки, потом переключились на вино.

— А кто же у вас поведёт машину? — удивился захмелевший Артём.

— Одна из них, — небрежно кивнул Петров на девушек. — Они чем больше пьют, тем лучше водят. Хочешь, к девушке твоей тебя подкинут.

— Не-е, — помотал Артём головой. — В машину с нетрезвым водителем не сяду.

— Смерти, что ль, боишься?

Вместо ответа Артём молчаливо улыбнулся. Он был уже в том пьяно-благодушном настроении, когда кажется, будто все вокруг должны понимать тебя без слов. Они выпили ещё, потом ещё, хохоча купались в чём мать родила, целовались, а когда солнце вдруг превратилось в огромный красный шар, лежащий на другом берегу Оки, Артём понял, что катастрофически опаздывает на свидание с Любой и позволил себя уговорить сесть в машину.

Удивительно, но девицы, пившие наравне с парнями, выглядели и, видимо, чувствовали себя менее пьяными. Марго уверенно вела машину под руководством сидящего рядом Артёма, а Сандра, не стесняясь, ублажала на заднем сиденье Петрова. Включённый на полную громкость магнитофон заглушал все звуки сзади, а смотреть Колычев старался только вперёд. Струя встречного воздуха сквозь открытое окно машины за время пути немного отрезвила Артёма, а сохранившиеся остатки разума заставили попросить Марго остановить машину у начала Любиной улицы. Артём понимал, как будет выглядеть, если приедет прямо к дому Любы в подобной компании. С трудом отвязавшись от Ивана, рвавшего познаться с «девушкой лучшего друга», Артём проводил пьяной улыбкой отъехавший автомобиль и в наступившей тишине вступил нетвёрдой походкой в сгущающийся сумрак улицы, тускло освещённой горящими кое-где уцелевшими светильниками на столбах.

Ни одно окно в доме Любы не горело. Как и в других домах, мимо которых Артём проходил. Взглянув на часы, он увидел, что время идёт к полуночи! «Как так вышло? — удивился Артём. — Неужели мы так

долго засиделись на берегу?» Расстроенный, он опёрся о калитку, и та вдруг со скрипом распахнулась. Не ожидавший этого, Артём чуть было не упал, но из темноты сада к нему метнулась Люба и помогла удержаться на ногах.

— Ты всё же пришёл! — в полголоса радостно воскликнула она, но тут же поняв, в каком он состоянии, в гневе отпрянула. — Да ты пьяный!

— Прости, голубоглазка, — виновато улыбнулся Артём. — Старый друг неожиданно объявился, пригласил, посидели, отметили встречу, не мог же я ему отказать. Но как только освободился — сразу к тебе, как обещал! Вот, повидал тебя, извинился, теперь пойду домой...

— Да куда ты пойдёшь в таком виде! — остывая, проворчала Люба. — Я всю ночь глаз не сомкну, волнуясь, добрался ты до дома или нет? Тебе когда на работу?

— Завтра с утра смена...

— Пойдём, поспишь сегодня у нас в беседке в саду, там старая тахта стоит, есть подушка и покрывало лежит. Не замёрзнешь, папа мой иногда, когда особенно жарко и душно в доме, там ночует. А утром, часов в шесть, когда мы сами встанем, я приду и тебя разбудю. Не хотелось бы мне таким вот образом тебя с моими родителями знакомить, но уж как вышло...

Люба так и не смогла в ту ночь оставить Артёма одного. Уложив его на тахту, она присела рядом, чтобы выслушать его рассказ о том, кто такой Иван Петров и какие приключения им с Артёмом выпало испытать с раннего детства. И, когда начавшая устало зевать Люба решила наконец уйти, Артём вдруг покаянно прошептал:

— Прости меня, голубоглазка, за обман...

— О чём ты? Какой обман? — встревожилась Люба.

— О моём разводе с Верой.

И Артёма прорвало. Долго сдерживаемые слова полились потоком. Артёму давно была необходима эта исповедь, простодушная прямолинейность и искренний интерес к нему Любы разрушили плотину.

— Мне кажется, я влюбился в Веру ещё подростком, — начал он. — Мы учились в одном классе и часто встречались вне школы, особенно летом. Наши родители дружили, да и сейчас дружат, несмотря на наш с Верой развод. Летом мы с Верой часто вместе купались и загорали, потому что наша дача соседствует на берегу Оки с дачей родителей Веры. В школе нас дразнили женихом и невестой, потом дразнить пере-

стали, потому что все, да и мы с Верой уверились, что так оно и есть. Наши родители тоже строили насчёт нас соответствующие планы.

— А Вера? — спросила Люба. — Она любила тебя?

— Говорила, что да. — Артём криво усмехнулся. — Мы закончили школу, Вера поступила в наш педагогический институт на филологический факультет, а я провалился в московский. Хотел стать инженером, изобретать новые машины. Пришлось пойти в армию. Все два года моей службы переписывались с Верой. Писала, что любит и ждёт. Когда вернулся, почти сразу поженились, а через семь месяцев родился сын. «Недоношенный» — плакала Вера. И я верил, дурак! Это меня надо было назвать «Вера», а не эту лживую тварь!

Люба сжалась, её глаза стали огромными, их голубизна почти исчезла, поглощённая расширившимися в ужасе зрачками. Она дрожала то ли от волнения, то ли от усиливающейся ночной прохлады. Артём притянул её к себе, уложил рядом и укрыл покрывалом.

— Да, ребёнок у Веры был не от меня, — подтвердил молчаливый вопрос Любы Артём. — Сначала мне правду рассказала Надюха, её лучшая ещё со школьных времён подружка. Потом и сама Вера призналась, что влюбилась в своего институтского преподавателя и забеременела от него. Тот женат, двое детей и разводиться не собирается. А тут как раз и я из армии вернулся...

— И ты разлюбил? — тихо спросила Люба.

— И я не простил, — так же тихо ответил Артём. — Может и простил бы и ребёнка чужого полюбил, как своего, но она продолжала мне лгать и изменять! Я даже встретил как-то того козла, просил оставить Веру в покое, а тот заблеял, что любит её и жену свою тоже любит, разрывается между ними, но ни ту, ни другую бросить не может. Ну набил я ему морду, только это ничего не изменило, легче мне не стало. А Вера как узнала об этом, тут же подала на развод...

Они долго лежали молча. Потом Люба тесно прижалась к нему горячим телом, повернула его голову к себе и нежно поцеловала в губы.

— Бедный ты мой! — говорила она между поцелуями. — Конечно, я тебя прощаю. Сколько же тебе пришлось пережить...

— Не надо меня жалеть! — воскликнул Артём, пытаясь вырваться из её жарких объятий.

— Надо, — ласково отвечала Люба. — Жалеть и любить в русском языке почти одно и то же. Сегодня я тебя жалею, а завтра...

И Артём понял, что Люба права! Он действительно давно жаждал жалости, но никто не мог ему её дать. Отец был озабочен, как бы не осложнились из-за развода сына его отношения с родителями Веры.

Мать была уверена, что Артём скоро утешится с очередной любовницей, надо просто регулярно снабжать его необходимой для развлечения суммой денег. С друзьями Артём не мог обсуждать свой развод: те просто посмеются над тем, каким лохом он оказался. Жаловаться на бывшую жену мимолётным любовницам? С чего им жалеть Артёма? А кто ему теперь голубоглазка Люба? Полюбит ли она его завтра так, как он любит её сегодня?

— Вскоре я обнаружила, что беременна, — продолжила рассказ Люба. — Тёма очень обрадовался и сказал, что мы должны как можно скорее пожениться. Мои родители были категорически против. «Два месяца знакомы — и сразу жениться! Это несерьёзно!» — бурчал отец. «А как же институт? — возмущалась мама. — Вдруг ребёнок появится, что тогда — учёбу побоку?» Пришлось признаться, что ребёнок в любом случае уже будет. Мои родители смирились, осталось уговорить Тёминых...

Люба замолчала, глядя с тоской на фотографию на памятнике.

— Что же случилось с... отцом? — не выдержал Павел. — Как он погиб?

— Иван не обманул, он действительно устроил Тёму на сравнительно безопасную должность в их охранном агенстве: сделал своим личным шофёром. Тёма очень любил машины, мечтал о крутой иномарке, а тут ему прямо в руки достался огромный американский джип. Он был просто счастлив! На опасные встречи, не помню, как они называются...

— Стрелки? — подсказал Павел.

— Да, на них, — кивнула Люба, — Иван Тёму не брал, сам садился за руль. Но когда мы подали заявление в ЗАГС, срочно понадобились деньги на свадьбу. За участие в стрелках полагалась большая премия, и Тёма стал просить Ивана взять его тоже на какую-нибудь. Тот долго отказывался, говорил, что Тёма не готов для такой работы, что для этого у них создана специальная группа, которая постоянно тренируется в спортзале и на стрельбище, что может одолжить нам любую сумму на организацию свадьбы, но Тёма бывал иногда очень упрям, переубедить его, когда он принял решение, было почти невозможно. В конце концов Иван сдался, но он, к сожалению, оказался прав. Тёма был физически сильным парнем и, вступая в драку, как рассказал мне потом Иван, никогда не бил первым. А на той проклятой стрелке началась не драка, а перестрелка...

— Что вы тут делаете? Кто вы? — раздался вдруг сзади возмущённый старческий голос.

Люба с Павлом встали со скамьи и оглянулись. У распахнутой калитки стояла возмущённая старушка с букетиком алых роз в руках.

— Здравствуйте, Ксения Вячеславовна! — слегка склонила голову в приветствии Люба. — Не узнаёте меня?

Всё ещё статная старушка, подслеповато щурясь, взгляделась в стоящую перед ней женщину.

— А я-то всё гадала, кто это приносит сюда эти нелепые астры, — недовольно буркнула она, проходя к стеле, и, небрежно отодвинув Любин букетик, положила на его место розы.

— Напрасно вы так, Ксения Вячеславовна, — нахмурилась Люба. — Тёма очень любил астры и постоянно любовался ими в нашем саду.

— Что ещё могло расти в вашем саду? — презрительно хмыкнула старушка.

— Были там и розы, — беря себя в руки, спокойно ответила Люба, — но Тёму они не особо волновали.

— Убирайся отсюда! — повернувшись к Любе, зло прошипела старуха и выбросила за ограду рассыпавшийся на отдельные цветы букетик астр. — Всё это случилось из-за тебя!

— Что вы себе позволяете? — сжимая кулаки, возмутился Павел.

— Это ещё кто? — Ксения Вячеславовна, наконец, обратила внимание на сына Любы и вдруг, схватившись за грудь, обессиленно рухнула на лавочку. — Артём!

— Нет, это Павел, мой сын, — с гордостью сказала Люба. — Наш с Тёмой сын. Надеюсь, Ксения Вячеславовна, этот факт не будет вызывать у вас недоверие? Впрочем, мне это всё равно...

— Пойдём, мама! — Павел обнял Любу и хотел вывести её за калитку, но тут старушка почти простонала:

— Двадцать лет! Ты молчала об этом двадцать лет! Почему?

— Почему? — удивилась Люба. — Разве вы забыли, как встретили меня на вашей шикарной даче, когда мы с Тёмой пришли сообщить вам о своём решении пожениться?

— Ты теперь сама мать и должна меня понять. Конечно, я была категорически против. В конце концов, я видела тебя тогда впервые, совершенно не знала ни кто ты, ни какая ты. Каждая мать желает своему сыну счастья, а тут приходит в дом какая-то малолетняя простушка-лаборантка с завода, без высшего образования, из простой рабочей семьи, словом, абсолютно не нашего круга, и сын заявляет, что это его будущая жена! И я, по-твоему, должна была всему этому радоваться?

— Вот вы сами и ответили на свой вопрос, — сказала Люба. — К тому же, я была уверена, что вы не поверите в то, что именно Тёма явля-

ется отцом моего будущего ребёнка, учитывая обстоятельства его прошлого брака с Верой.

— Да, пожалуй, — грустно подтвердила Ксения Вячеславовна. — Тогда бы не поверила.

— Ну ладно, дело прошлое, — вздохнула Люба, — не будем его ворошить. Пойдём, Паша, не будем мешать твоей бабушке...

— Стойте! — с надрывом воскликнула Ксения Вячеславовна. — Бабушка... Как же мы с Петром Аркадьевичем мечтали о внуке, и вот он, оказывается, у нас есть! Как я теперь скажу ему об этом? Ему же после инфаркта сильно волноваться нельзя. Боже мой, двадцать лет напрасных страданий... Да, я сама виновата, пусть так, но, прошу, теперь-то не лишайте нас последней радости!

— Что вы ещё хотите, Ксения Вячеславовна? — устало спросила Люба.

— Я хочу быть бабушкой, — просто ответила утратившая вдруг гордую стать старушка. — Не отнимай хоть этого у меня...

Игорь Бёзрук

г. Иваново

ЛЕРА

Мы сидели во дворе под корявой, вольно раскинувшей на все стороны свои ветви яблоней и праздно болтали. В воздухе остро пахло спелыми фруктами, взад-вперед неистово носились вокруг пчелы и осы: Лера резала на варенье груши. Вика, моя жена, от нечего делать, как могла, помогала. Все у них спорилось, то и дело один за другим в толстое десятилитровое ведро летели тонкие очищенные огрызки. Я, откинувшись на спинку высокого прочного стула, любовался Лериным небольшим и скромным садом, стеной увядающей зелени вокруг него и ладными выверенными движениями женских рук, плеч, торсов.

Лера и Вика чем-то схожи. Одного почти роста, одинакового сложения. Обе хрупки, но не худощавы, обе игривы, подвижны, легки в общении. Даже лица их, казалось, слеплены, из одного замеса. Что одна, что другая имели овальное лицо, мелко выступающие скулы, брови вразлет, только у Леры они погуще, а у Вики выщипаны. Да и волосы у



одной отливали каштановым гляncем, у другой — карой смуглостью.

В их обществе я ощущал себя как Адам в раю. Правда, мои редкие ухаживания Лера решительно и твердо отвергала. Я не сказал бы, чтобы она так уж безумно была влюблена в собственного мужа — на наших глазах они вечно грызлись, как кошка с собакой, — но и изменять ему не собиралась, так как полностью зависела от него материально: на нем была и эта усадьба, и машина. И денег, которые он привозил с заработков, хватало на любые прихоти Леры. Её шкаф ломился от всевозможной одежды, обуви и прочих женских безделушек. Он щедро позволял ей тратить на себя, требуя взамен лишь одного: верности.

В характере её, однако, не было ни грана домоседства. Она обожала свет, всяческие многолюдные мероприятия, дни рождения, свадьбы и просто вылазки на природу. Неизменно была на них шумна, говорлива, кокетлива и беззаботна. Могла позволить себе вялый поцелуй, допустить нахальное касание чужих рук к своим маленьким бугоркам под блузкой — но не более. Даже я, муж её близкой подруги, мог довольствоваться только невинным поцелуем при встречах или прощаниях и ощущением её крепкого трепетного тела во время танца. Хотя я не сказал бы, чтобы она была ко мне не мила или не внимательна.

В то время как я предавался пустому созерцанию и размышлениям, ко двору Леры подъехала несколько покоробленная, местами с облупленной краской бордовая «ауди», и из неё выбрался необычайно нескладный, долговязый и костлявый мужчина примерно одного со мною возраста. Лицом он был темен, худощав, скулы его остро выступали под глазами, упрятанными глубоко-глубоко в узкие щелки глазниц. Брови были густы, лоб выпукл, волосы редки и нечесаны.

Когда он, подойдя к нам, радушно улыбнулся, улыбка раскрыла крупные лошадиные зубы, искривленные спереди не то какой-то перенесенной в детстве болезнью, не то по иной причине. Руки были длинные, крепки, жилисты, с обильной шерстью на неприкрытых белой рубашкой местах.

Мы знали его все. С давних пор он приятельствовал с мужем Леры, а теперь к тому же ходил в их кумовьях — крестил дочь Леры и Виталика. Звали его Семеном, и имя это как-то очень шло ко всей его костлявой и нескладной фигуре, производящей, однако, впечатление крепости и силы.

Мне он, впрочем, отчего-то сразу не понравился с самого начала нашего знакомства. В компании все больше молчал, смотрел на всех исподлобья и, из-за этой страшной утопленности глаз, казалось, недоверчиво. (Подруга его, однако, хрупкая девятнадцатилетняя девчушка

с рассеянным взглядом, была совсем даже ничего.)

Семен, выйдя из машины, еще не успел приблизиться к нам, как Лера недовольно скривила губы и бросила:

— А ты чего приперся — давно не виделась?

Семен на всю ширь оскалил крепкие лошадиные зубы и сказал:

— Заехал узнать, когда Виталька придет.

— Соскучился, что ли?

— Конечно. Давно ведь не видал.

Он оперся одной рукой о яблоню, другой рукой стал поигрывать брелоком со связкой всевозможных ключей.

Виталий еще не вернулся с вахты. Через неделю или две, говорила нам Лера. О том же она сообщила и Семену. Он посмотрел на неё долгим маслянистым взглядом, и на губах его запечатлелась кривая ухмылка.

— Ладно, — не стал больше задерживаться он. — Заеду тогда позже. Как придет. — Развернулся и с той же кривой ухмылочкой неторопливо пошел со двора.

Лера опять недовольно хмыкнула:

— Еще не вернулся, а уже выискивают. Приятели!

Я невольно обратил внимание на едкость в её речи. Раньше такого за ней не наблюдалось. Мне стало интересно, почему она так злится?

— Что это ты его так неприветливо встретила? — спросил я ненавязчиво. — Вы же, как будто, друзья?

— Такие вот друзья, надоел уже: как Виталька уедет, так он и приезжает. Тебе одной, говорит, наверное, скучно? А когда скучать? С утра на работу, с работы приедешь — ужин готовь, потом Таньку из школы встречай, потом уроки с ней учи, теперь консервация — соскучишься тут!

Постепенно мы забыли про это и про то, что кто-то нарушил нашу идиллию. Вскоре Лера поставила варить варенье на плиту, уже дошла картошка, и мы, по-приятельски выпив водочки, отменно пообедали.

Вечером Вика проболталась, счастливо поигрывая глазами, о причинах Лериного недовольства. Начала, как обычно, издалека:

— Знаешь, я чуть было не убила тебя.

— Отчего же?

— Лерка призналась, что недавно изменила мужу и... ей это совсем не понравилось.

— И ты, конечно, сразу же решила, что она переспала со мной.

Вика приподнялась надо мной на локте и удивленно расширила глаза:

— Как ты догадался?

— Ну, раз ей не понравилось, значит, вывод один: с ней спал человек, который её не очень-то привлекает или я бы даже сказал больше: раздражает. Следовательно, это или я, или кто-то, похожий на меня.

Вика снова легла и тесно прижалась ко мне:

— Я думала, с ума сойду. Спрашиваю: не с моим ли ты мужем, дорогая, была? А она говорит: нет, не с ним, а с тем самым Семеном, который сегодня приезжал. Во дает! И говорит: не понравилось!

Я сразу представил себе хрупкую, нежную, миловидную Леру в объятьях нескладного, костлявого увальня Семена, и меня передернуло. Может, неприятно и обидно стало оттого, что она оттолкнула в свое время меня, а может, оттого, что он мне так антипатичен — я не мог смириться с мыслью, что Лера поступила так безрассудно. Я понимал, что никакой любви, никакого влечения и душевной близости между ними не было и нет. Он был просто-напросто другом их семьи, и именно это — бездушность их отношений — особенно покорибила.

Я вспомнил, как один мой знакомый, ныне уже покойный литератор, прочитав мой старый рассказ «Метаморфозы», стал укорять меня в бездушии и цинизме, приведя в пример давнюю реально происшедшую историю любви очаровательной, тонкой женщины и отвратительного, мерзкого типа — её мужа.

Он писал:

«Она была самой, наверное, красивой и обаятельной девушкой Личанска. В те далекие шестидесятые, когда мы еще почти не знали телевизоров и все вечера коротали возле клубов, она как-то резко выделялась из всей массы беззаботной и наивной девчурки. И мы все до единого были тайно и бесплодно влюблены в неё, но никто, повторяю, никто, не смел даже плохого слова сказать о её гадком и препротивнейшем муже-мяснике, обладавшем этим бесценным сокровищем».

Я сразу вспомнил строки моего товарища и подумал, что прекрасная сказка о красавице и чудовище вечна, и вечно, сталкиваясь с этим явлением в жизни, мы будем задаваться риторическим вопросом: отчего так манит к себе уродство красоты, а разнужданность — наивность? Что хочет она почерпнуть для себя в этом болоте? Или сделать страшное не таким ужасным, а распущенное — одухотворенным? Но Лера!

Я не мог успокоиться. Я должен был презирать её, ненавидеть, хотя и понимал: уступи она мне, а не Семену, я, как последний негодяй, воспользовался бы её доверчивостью в полной мере...

Через две недели Вика напомнила, что должен приехать Виталик.

— Сходим? — спросила накануне выходных.

— Что-то не хочется, — честно ответил я. — Может, в другой раз?
«Пусть всё перегорит, — подумал, отвернувшись от Вики, — так будет легче...»



Анна Гройсс

С.-Петербург

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «МЕЧТА»

Я писатель. Не то чтобы начинающий, нет. Пишу я давно. Но спроси у читающей публики: знаете ли вы такого — здесь надо вставить мое имя, но из скромности я промолчу — и публика замнется нерешительно, переглянется и пожмет плечами. Может, ещё и усмехнется.

Но тут подвернулась мне удача. Моей скромной персоной заинтересовался один крупный издатель. Фортуна в его лице посулила мне публикацию и небольшой гонорар за рассказ, который сдать нужно было через месяц.

Целыми днями я бродил по городу, упиваясь мечтами о грядущей писательской славе. Время летело, точно теплый ветер. Очнувшись от грез за неделю до срока сдачи рассказа, я обнаружил, что у меня нет ни одной идеи. Пол, стулья и диван в моей комнате покрылись тонким слоем исписанных и разорванных листов, но рассказ не выходил.

С горя я напился, надеясь, что последующие похмельные страдания наведут меня на сильные и свежие идеи, но результат вышел прямо противоположный. В голове повисла тяжелая безнадежная муть.

В очередной раз обозвав себя бездарностью, я вышел на улицу в последней надежде: найти вдохновение, где бы оно ни скрывалось.

Уныло прослонявшись до позднего вечера, измученный, перемолотый в прах безжалостными жерновами самоуничужения, я наконец очутился на своей улице. Сцены предстоящего провала стояли у меня перед глазами, поэтому ничего удивительного не было в том, что я перепутал двери. Дело в том, что в нашем доме недавно открылся книжный магазин, вход в который располагался буквально на расстоянии вытянутой руки от моей парадной. Я все собирался зайти в него, чтобы выяснить, каким же образом он умудрился втиснуться в доме, битком на-

битом старыми коммунальными квартирами, тянущимися, точно бесконечные змеи, от одного торца к другому.

Итак, очнувшись от своих мыслей, я вдруг обнаружил, что прикрыл за собой высокую тяжелую дверь, и передо мной раскрылся сверкающий роскошными хрустальными люстрами книжный магазин. Яркий свет ослепил меня, и я, рассеянный очкарик, тут же заблудился в запутанных проходах среди книжных полок, виляющих под самыми невообразимыми углами. Постепенно глаза мои привыкли к освещению, и я заметил, что посетителей в магазине было раз-два и обчелся, и все они как-то очень быстро ныряли по сторонам, точно тараканы, стоило мне приблизиться, как будто они не желали, чтобы их видели.

Все же мне удалось из-за угла рассмотреть одну пожилую даму в строгом темно-синем костюме. Хихикая и краснея, словно школьница, эта дама с высокой седой прической читала раскрытую на середине книгу. Наконец она воровато оглянулась, загнула страницы на том месте, где читала, и спрятала книгу за полкой пиджака. После чего, насто-роженно рыская глазами по сторонам, скрылась в книжных недрах ма-газина.

"Воровка!" — подумал я.

Следующим был низенький пузатый дядька с кожаным портфелем. Я увидел, как он целенаправленно стянул книгу с полки, но, в отличие от седой дамы, спрятал ее в портфель.

"Будь я проклят, если не разужнаю, в чём тут дело", — пробормотал я себе под нос и поспешил проследить за толстяком. К моему удивлению, он засеменил к закутку, который я сначала принял за маленький тупичок — архитектурную несуразность или что-то в этом роде — такие загадочные по своему назначению элементы часто встречаются в старинных зданиях. "Как же он там уместится?" — удивился я и осторожно просунул голову в темное пространство закутка. Ого! Вместо стены я увидел лестничный провал, в котором, как последний привет, мелькнула спина дядьки с портфелем. "Однако", — подумал я и устремился за ним.

Стукаясь об узкие стены, я спустился на три длинных пролета и очутился в зале, напоминающем огромную больничную палату. В несколько рядов передо мной стояли кровати. На некоторых из них спали люди: ничком, уткнувшись лицом в подушку, на боку, солдатиком и калачиком — но непременно с книгой. В дальнем углу зала раскинулась на спине уже виденная мною пожилая дама. Я узнал ее по синему костюму и волне седых волос, лежащей на подушке. На лице ее, раскрытая на середине листами внутрь, лежала книга. Видимо, снилось даме

что-то очень приятное: грудь ее часто вздымалась, и тихий легкий смех доносился из-под страниц. Я осторожно приблизился к ней и прочел название книги: "Рай в шалаше". Имя автора было мне незнакомо.

Затем взгляд мой упал на толстого дядьку, устроившегося неподалеку. Дядька прикрыл лицо книгой, на обложке которой сверкал улыбкой высокий накачанный детина: одной левой он удерживал тяжеленную штангу, правая рука обнимала полуобнаженную красотку. "Похититель сердец", — прочитал я название на обложке и засмеялся.

Неодолимое любопытство разобрало меня. Я принялся бродить среди спящих, разглядывая обложки книг, окаймленные холмами постельного белья.

Посетители магазина грезили в обнимку с романами о любви, пособиями по обретению богатств, туристическими проспектами, автобиографиями и детективами. Чудовищное впечатление произвела на меня обложка с репродукцией картины Босха! Липкий ужас окутывал при мысли о кошмарах, заключенных внутри книги. Я едва стряхнул его.

Авторы попадались все незнакомые, и это было странно. Откуда взялся этот книжный магазин со спальней вместо читального зала? Что испытывают люди, читающие книги во сне? Я должен это узнать!

Бросившись по тёмной лестнице наверх, я подскочил к первой попавшейся полке и пробежался глазами по корешкам, но не увидел ни названий книг, ни имен авторов! Лишь странные картинки, призрачные тени, расплывчатые силуэты намекали на содержание: две линии профилей, слившиеся в поцелуе, звёзды на чёрном фоне, россыпи сверкающих кристаллов. Я зажмурился и вытащил книгу наугад. С обложки уставилась на меня пара внимательных глаз, обведенных сферами. "Интересно", — пробормотал я и раскрыл книгу на середине. Что за фокус? Страницы были пусты. Белы, словно горные вершины! Я выхватил с полки другую книгу, с вязью арабских цифр — ни строчки! За ней следующую, с дымящейся трубкой и силуэтом женского бедра, а может, скрипки — то же! Книги, не имеющие содержания! Я скидывал их с полки, одну за другой, однако результат оставался неизменным! Почему в книгах нет текста? Как же тогда читают их те, внизу? Что это за секрет?

— Никакого секрета здесь нет, — сказал чей-то голос за моей спиной. Я обернулся и увидел молодого человека, знакомого мне то ли по школе, то ли по Университету. Я совсем недавно с ним где-то встречался.

— Ты прочтешь то, что напишешь сам, — сказав это, он протянул мне ручку.

— На чем же писать? — растерянно спросил я, но молодого человека уже и след простыл. И тут неожиданная мысль пришла мне в голову. Я наклонился и из кучи вываленных книг достал самую первую, с глазами в очках. Сел на подоконник и подробно описал все, что произошло со мной в этот вечер. Поставив последнюю точку, я посмотрел в окно и увидел, что на улице давно погасли фонари. Город за стеклом поглотила тьма. Было уже очень поздно. Усталость навалилась на меня. Не в силах более ей сопротивляться, я закрыл глаза и незаметно уснул.

Проснулся я утром, дома, на своей кровати. Некоторое время лежал и вспоминал удивительные события, пережитые мною во сне. Жаль, что это был всего лишь сон! Зевнув, я потянулся к табуретке, выполняющей роль прикроватной тумбочки, за очками.

Вместо очков пальцы мои наткнулись на блокнот, в котором я обычно записываю всякие идеи, приходящие мне по ночам. Позвольте, но ведь блокнот тонкий, а на табуретке лежит нечто гораздо более основательное. Так и не нащупав очки, я поднес блокнот или что бы там ни было к самым глазам и, действительно, убедился, что держу в руках книгу. Точнее, толстый литературный журнал, а на обложке его, среди имен прочих авторов, красовалось мое имя!

Дрожащими пальцами я поймал наконец очки и нацепил их на нос. Пролистнул журнал и разыскал свой рассказ. Слово в слово он совпал с тем, что вы читаете сейчас! Не продолжаю ли я спать?

Спрятав драгоценное издание в стол, я немедленно оделся и устремился вниз, на улицу, чтобы посмотреть, на месте ли вчерашняя "Мечта".

Никакого магазина не было и в помине! На месте входа в книжный серела облупившаяся стена, который, по меньшей мере, была лет сто двадцать, как и всему дому. Что же со мной произошло? Откуда взялся журнал? Эти вопросы так и остались без ответа.

Позже я неоднократно встречал это издание в других, самых обычных книжных магазинах, на развалах и в киосках. Хоть убей, я совершенно не помнил обстоятельств его появления. Мне было известно одно: рассказ, изданный в журнале, я написал сам, сидя на подоконнике волшебного магазина.

Был еще один вопрос, самый главный. Что за молодой человек пошел ко мне в книжном? Кажется, я догадываюсь... Да нет, знаю точно! Это был я, своей собственной персоной.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Моя фамилия Март, я арт-дилер. Если вы коллекционируете современную живопись, то, несомненно, слышали обо мне. Моя работа — искать новые имена. С этой целью я и зашел сегодня утром в Галерею с чудным названием: «По ту сторону северного ветра», что на углу Невского и Литейного. Старый служитель любезно поздоровался и вернулся к чтению газеты. Он знал, что я люблю бродить здесь один.

Низкие закругленные своды Галереи плавно перетекали один в другой. Скучно освещенные коридоры заканчивались внезапными тупиками или дверцами с ручками в виде массивных колец. Тайными переходами, тесными, словно подземные ходы средневековья, я неторопливо двинулся вглубь подвала, то и дело пригибая голову. На невысоких стенах красного кирпича порой встречались настоящие шедевры, но сегодня я не обнаружил ничего, на чём можно было бы заработать.

Я уже повернул обратно, как вдруг уловил светлый блик, промелькнувший в неосвещенном углу тупика, точно электрическая искра. Шаг назад — и я очутился перед картиной. Изображение словно бы уходило внутрь стены, непостижимым образом создавая ощущение простора. Основную часть черно-белой композиции занимала дверь, венчаемая круглой аркой витража в виде паутины. За чуть приоткрытой створкой угадывались неясные тени или призраки, а может быть, игра ветра и солнечного света в листве деревьев.

В табличке под картиной сообщалось название: «Чужие тайны» и инициалы автора: Б.Р.

— Неужели это сам Берни Райтсон! — воскликнул я, узнав руку мастера, и сам себе зажал рот. Какая невероятная удача!

Ликуя и предвкушая прибыль, я бросился к служителю, чтобы как можно скорее зарезервировать картину. Однако радость моя оказалась преждевременной. Громом среди ясного неба донесся до меня знакомый басок Сальковского, такого же охотника за картинами. Резко затормозив, я осторожно выглянул из-за угла и, действительно, увидел его сутулую спину.

— Да, г-н Райтсон, — нежно рокотал Сальковский в телефонную трубку, уже в который раз уводя выгодную сделку у меня из-под носа. — Меня интересуют "Чужие тайны". Совершенно верно, "По ту сторону северного ветра"... И впрямь, ха-ха, — подобострастно засмеялся он, — мистическое. Ближе к вечеру? Как вам будет угодно.

Он поболтал пальцами в воздухе, и служитель быстро подsunул ему газету и огрызок карандаша.

Закончив писать, он попрощался и, весело насвистывая, вышел из Галереи.

"Интересно, сколько Сальковский на ней заработает?" — уныло размышлял я, шагая по теневой стороне Невского к себе на квартиру. Придя домой, я прямо в ботинках рухнул на диван. Работы Райтсона ценились высоко, и не каждый любитель живописи мог позволить себе приобрести их. Однако важнее всего было то, что художник продавал картины не всем желающим, а лишь избранным. Принцип же, по которому он отдавал предпочтение одним перед другими, оставался загадкой. Как Сальковский сумел втереться к Райтсону в доверие настолько, что тот обещал продать ему картину? Чем я хуже? Почему бы мне самому не познакомиться с художником? Может быть, мне повезёт, и я перехвачу его раньше Сальковского?

Я вскочил с дивана и, схватив пачку денег, предназначенную специально для экстраординарных трат, помчался в Галерею.

Надежды мои рухнули с первыми же словами зрителя.

— Вы разминулись с г-ном Райтсоном буквально на полчаса, — промолвил он, подняв глаза от сканворда.

— Значит, "Чужие тайны" проданы? — упавшим голосом спросил я.

— Нет, — зритель покачал головой. — Г-н художник забрал ее. Но, насколько мне известно, вечером он ждёт покупателя в своей мастерской.

Услышав это, я изменился в лице, но лишь на миг. Взгляд мой упал на газету со сканвордом. На ее уголке хорошо знакомым мне прыгающим почерком Сальковского было записано: «19-ая л., д. 6, во дв».

Не теряя времени, я поймал такси и поехал на Васильевский остров.

Мастерская Райтсона находилась в небольшой, заросшей кустарником, пристройке в углу двора. Некоторое время я искал вход в нее, продираясь сквозь ветки, пока наконец не наткнулся на обитую железом дверь. Звонок не работал.

Я постучал. Мне отворил мужчина средних лет, лысеющий, в круглых очках, с широченными бровями, загибающимися по бокам вверх, точно крыша китайской пагоды.

— Г-н Сальковский, я полагаю? — он улыбнулся и протянул мне руку.

Уверенно кивнув, я пожал ее.

— Берни, — представился он. — Я ждал вас позже.

Не ожидая ответа, он отступил на шаг и, сделав приглашающий жест, проследовал вглубь пристройки.

Свет проникал в мастерскую через большое, на полстены, окно. Стеллажи с художественной утварью, картины на полу и на стенах, подрамники, стулья и, наконец, мольберт занимали почти все пространство комнаты. Пахло растворителем.

— Итак, — сказал Райтсон, остановившись перед мольбертом и как-то искоса поглядев на меня, — вы интересуетесь чужими тайнами?

— Да, — мелко закивал я. — Я был бы чрезвычайно...

— Не торопитесь, — мягко прервал меня Берни. — Для начала я хочу поближе познакомиться вас с ними. Взгляните сюда.

Пожав плечами, я подошёл к мольберту и склонился над изображением.

— Что вы видите там, — Райтсон перешёл на шёпот, — за приоткрытой дверью? Ближе, ближе! — с этими словами он неожиданно толкнул меня внутрь картины, и я, провалившись сквозь бумажную преграду, пребольно стукнулся коленками об пол.

Вскочив на ноги, я завертел головой и обнаружил, что очутился в громадном, ярко освещенном колонном зале со множеством дверей — высоченных, в три человеческих роста, и низеньких, словно для карликов, дерматиновых и витражных, стеклянных и даже фанерных.

— Что за ребус? — пробормотал я и осторожно потянул за металлическое кольцо ближайшую закругленную дверку. Створка бесшумно отворилась, впустив в полумрак открывшегося коридора узкую полоску света, выхватившую уходящий силуэт мужчины. Он обернулся и... Я закрыл дверь, в последнюю секунду заметив на кирпичной стене картину.

Может ли такое быть? В человеке я узнал себя, а на стене — "Чужие тайны", из-за которых оказался здесь. Что скажет Райтсон, если я стащу его картину из Галереи? Я протянул руку к двери, однако не успел взяться за кольцо, как проем исчез, слившись с мрамором стены.

"Что ж, поглядим, что скрывается за другими дверьми", — с этой мыслью я принялся открывать их, одну за другой.

За створкой, обитой ободранным дерматином, я обнаружил кухню коммунальной квартиры, заставленную невымытыми плитами и усыпанную тараканами, где разгорался скандал. За дверью стеклянной скрывалась контора, в которой дремал, флиртовал и раскладывал пасьянсы офисный люд.

За дворцовыми, богато украшенными дверьми благоухали многоярусные сады с золотыми фонтанами и обвитыми цветами статуями. За дверьми дубовыми, коваными, в залах, освещаемых огнем факелов, наблюдал я пиры мрачных рыцарей в старинных одеждах. Сидя за грубо

сколоченными столами, они ели, пили, а затем вскакивали со своих мест и перерезали друг другу глотки. Один из воинов заметил меня, и размахивая окровавленным мечом, выскочил в мраморный холл. Скрыться, кроме как за одной из дверей, было некуда. Нас разделяла одна колонна, когда я, дернув за ручку низкую фанерную створку, вкатился внутрь... платяного шкафа.

Пахло чистым бельем и духами.

Снаружи неслись женские крики и грубая мужская брань.

— Кто здесь был, я тебя спрашиваю? — орал мужчина.

— Никого, уверяю тебя! — рыдала женщина.

— Лжешь!

Гром выстрела слился с женским воплем! Я застыл, пронзенный ужасом.

Стрелявший чертыхнулся и выбежал из комнаты.

Ни жив ни мертв, я выглянул в щелочку и увидел лужу крови, в которой лежала светловолосая молодая женщина.

Тихий шорох за плечом, точно удар хлыста, обжег меня.

— Кто здесь? — забыв об осторожности, вскрикнул я.

— Тише, умоляю вас, — услышал я дрожащий мужской шёпот. — Он идёт!

Мужские шаги приблизились. Кряхтение, перемежающееся ругательствами, глухой стук тела о пол свидетельствовали о том, что жертву заворачивают в одеяло или ковёр.

Когда убийца в очередной раз покинул комнату, наш разговор возобновился.

— Я готов поклясться, — истерически зашептал пленник шкафа, — что гардероб был пуст, когда я залез в него. Как вы здесь очутились?

— Случайно, — пробормотал я, ощупывая заднюю стенку шкафа, — поверьте! Я не знаю этой женщины!

В этот момент я наткнулся на ручку и дернул за неё. Створка не открывалась.

Преступник тем временем вернулся и принялся вытирать пол.

Наконец, поддавшись усилиям, дверца с треском отворилась. Услышав шум, убийца подошёл к шкафу и распахнул его.

— Вот ты где! — рявкнул он.

В эту секунду я толкнул любовника навстречу мужу. Искраженное страхом лицо мелькнуло передо мной. Я тут же вспомнил его. Это был личный секретарь известного денежного воротилы, пропавший пару недель назад вместе с супругой финансиста. О розыске сбежавшей парочки кричали все телевизионные каналы. В тот момент, когда секре-

тарь летел навстречу рогоносцу, я вывалился в другую сторону — в мраморный холл, из которого и попал в квартиру, где только что на моих глазах совершилось убийство и, несомненно, произойдет еще одно.

Первым делом я кинулся к дверце, чтобы поскорее закрыть ее, но она уже растворилась в мраморе. Осмотревшись, я обнаружил, что исчезли и другие двери. Кроме той самой, с картины «Чужие тайны», из-за которой я попал сюда. Я подошел к ней, потянул за створку и ступил в мастерскую Райтсона. Берни стоял за мольбертом.

— Ну как, — спросил он, как ни в чем не бывало, — я исполнил ваше желание?

— К-какое? — едва вымолвил я.

— Обладать чужими тайнами! — усмехнулся он. — Теперь вы должны поделиться ими со мной.

Запинаясь, я поведал Райтсону о своих приключениях. История с улепетыванием от рыцаря вызвала у него смех.

— Деяния предков, ставшие проклятиями рода, — пренебрежительно отмахнулся он. — Шубы из них не сошьёшь. Опишите-ка лучше, что вы видели, сидя в шкафу. Впрочем, ваши глаза расскажут за вас.

Впившись своими зрачками в мои, он начал слепо водить кистью по холсту. Не знаю, сколько прошло времени, — я как будто выпал из него, — прежде чем он закончил.

— Готово! — сказал он, откладывая кисть. — Благодарю вас! Выход, — он кивнул в сторону коридора, — там.

Я поднялся со стула.

— Значит, вы не продадите мне "Чужие тайны"? — пролепетал я, еще на что-то надеясь.

Райтсон поглядел на меня удивленно.

— Ну что ж, — он вздохнул и, подойдя к картине, прислоненной к стене, сдернул с нее тряпку. — Желаете приобрести?

На полотне был изображён я, собственной персоной, выглядывающий из шкафа. Спинай ко мне стоял убийца и в упор стрелял в лоб полуодетому молодому человеку, а на пороге лежал сверток, из которого торчала женская нога.

— Нет! — я отступил к двери. — Не желаю!

— В таком случае, — художник ухмыльнулся, — я продам ее обманутому мужу.

— Вам никто не поверит! — крикнул я. — Не поверит тот, кто не видел собственными глазами, — возразил Берни. — А рогоносец — вполне. Так что ваша жизнь висит на волоске.

— Сколько же вы хотите за неё? — упавшим голосом спросил я.

— Не дороже вашей лжи, — ответил он. — А именно столько, за сколько вы собирались перепродать то, на что не имели права, явившись сюда под чужим именем, г-н Март.

ВОДЯНАЯ ЛОШАДЬ

Впервые мы повстречались душным летним вечером. Я выходил из своей квартиры, а он, этот странный субъект неопределенного возраста, в шляпе и наглухо застегнутом сером плаще, стоял в холле парадной и глядел в окно на Ломоносовский мост.

Заслышав шаги, он резко повернулся, обдав меня густым запахом сырой рыбы, и настороженно замер. Яркий закатный свет упал на его лицо, по которому тонкими извилистыми ручейками струилась влага. Признаться, я никогда не видел, чтобы человек потел с такой интенсивностью, и решил, что его терзает редкая экзотическая лихорадка.

— Вам нездоровится? — осторожно поинтересовался я, и только тут заметил, что под ним натекла целая лужа. Проследив за моим взглядом, он вздрогнул и молча попятился, оставляя на мраморном полу мокрые следы. Достигнув лестницы, он взметнулся наверх, перепрыгивая через две ступеньки.

На следующий день испортилась погода. Выглянув в окно, я обнаружил, что вчерашний субъект сидит на скамейке, под дождём, без зонта и даже без шляпы, в плаще нараспашку. Капель пузырилась на его беззащитной лысой голове, стекая за воротник мутными бурлящими потоками. Он, судя по всему, не испытывал никаких неудобств, а даже напротив, время от времени раскидывал руки в стороны, подставляя ладони дождю.

До вечера он не вставал с места, а когда ливень перешел в легкую изморось, отправился прогуливаться по Ломоносовскому мосту — туда и обратно. Задрвав голову, странный человек подолгу разглядывал висячие фонари, украшенные фигурками мифических животных. Кажется, при этом он что-то бормотал, суетливо жестикулируя и приплясывая на месте.

Утром, отправляясь на работу, я вновь застал его на лавочке — насквозь мокрым и, по-видимому, довольным. Заметив меня, он растянул в стороны уголки рта, обнажив крупные желтые зубы.

По необъяснимому совпадению, с появлением этого субъекта зарядили дожди. Над Фонтанкой поднимался густой туман, беспрепятственно просачиваясь сквозь плотно закрытые двери и оконные рамы. Стены

отсырели, обои вздулись темными влажными пузырями. Пятна серо-зеленой плесени, очертаниями напоминающие завихрения бушующей морской стихии, расползались по потолку. В квартире завелись мокрицы; все пропитал стойкий запах водорослей и сырой рыбы. Точно иссохшая губка или измученный жаждой путник, припавший к ручью, дом втягивал в себя влагу.

Вдобавок ко всему, из подвала, располагавшегося прямо под моей квартирой, по ночам слышались то плеск и громкое фыркание, словно в таинственных недрах дома купались моржи, то жалобные стоны и раскатистый басовитый хохот.

Наконец я решил выяснить, в чем дело. Выйдя на лестничную площадку, я приник к двери подвала и явственно различил за ней звук волочения по полу тяжелого предмета или...быть может, человеческого тела? Неужели в подвале скрывается убийца, под покровом ночи заматающий следы преступления?

Вдруг дверь распахнулась, — я едва успел отпрянуть, — и в образовавшуюся щель лицом вниз вывалился любитель дождя — субъект в сером.

— Умоляю, помогите мне встать! — простонал он. Пот стекал по его лысине крупными каплями, точно его облили из ведра. За несколько секунд под ним образовалось небольшое озерцо.

Морщась от резкого рыбного запаха, исходившего от него, я помог ему подняться. Дрожащий и холодный, он стучал зубами и едва держался на ногах. В подвале белой завесой стоял пар. Около дальней стены, между переплетениями труб, виднелось большое пластиковое корыто, в котором строители обычно замешивают раствор.

— Посадите меня в купель с водой, — прошептал он и, вцепившись в мою руку и крупно содрогаясь при каждом шаге, повлекся к стене. Я рассудил, что не стану противоречить ему и сделаю, что он просит, а при первом же удобном случае вызову психиатрическую помощь.

Доковыляв до емкости, он рухнул в нее — прямо в одежде и ботинках, подняв маленькую бурю и расплескав кругом воду. Мне немедленно захотелось убежать, и только мысль о том, что я не могу бросить несчастного в таком бедственном положении, заставила меня остаться рядом с ним.

— Зажгите свет, — слабым голосом попросил он. — Выключатель в углу.

Я щелкнул выключателем, под потолком зажглась тусклая лампочка.

— Послушайте, вам нельзя оставаться... — начал я и не договорил.

Прямо на моих глазах его ноги в серых брюках и ботинках закрутились в спираль и обратились в гибкий переливающийся хвост. Из боковых швов плаща вылезли и распустились, словно цветы, сверкающие в бледном подвальном свете плавники, а тело, будто кольчугой, покрылось перламутровой рыбьей чешуей. Между пальцами рук выросли полупрозрачные розовые перепонки, голова начала вытягиваться и увеличиваться, приобретая форму и размеры лошадиной и обрастая пышной зеленовато-золотистой гривой. Передо мной, в купели с водой, бултыхая передними ногами, сидел морской конь.

— Водяная Лошадь, — поправил он, словно услышав мои мысли. На гласных его мягкий голос срывался на ржание. — Можете звать меня Гиппи. Нет ли у вас случайно таблетки аспирина?

— Очень приятно, — машинально пробормотал я, чувствуя, как проваливаюсь в непостижимую головокружительную реальность. — Есть. Одну секунду.

Я метнулся домой, уронил аптечку, нашел аспирин и парацетамол и бегом вернулся в подвал. С благодарностью проглотив две упаковки таблеток вместе с бумагой, — при этом его перепончатый плавник на миг обратился в человеческую кисть, — Водяная Лошадь начал свой рассказ, прерываясь только на то, чтобы попросить меня полить его из ковшика.

— Бесчисленные табуны гиппокампов резвятся в глубинах морей и океанов. Изредка выныривая, они гоняют взапуски, соревнуясь то друг с другом, то с дельфинами, то с бликами солнечного света на волнах. Самые бойкие пускаются в плаванье по рекам, чтобы, поднявшись на поверхность под покровом ночи, любоваться неслыханными чудесами городов.

Однажды и мной овладела жажда странствий. Отделившись от табуна, я направился на север, к холодному Балтийскому морю, поднялся по Неве и приплыл в центр города. Я даже не успел высунуть голову из воды, как на меня наехал катер... — Водяная Лошадь шумно вздохнул. — Люди так заняты собой, что не замечают ничего вокруг... Полейте мне на гриву, пожалуйста!

Я зачерпнул ковшиком воды и облил его голову. Он с видимым наслаждением зажмурился и тихо заржал, легко взмахивая лапами на передних ногах, точно взлетающая бабочка. Высохшая и оттого поблекшая чешуя заблестела, заиграв нежными жемчужными переливами.

— Удар катера оглушил меня, отбросив к опоре Ломоносовского моста, из которой, как назло, торчал длинный ржавый гвоздь, пропо-

ровший мне плечо до кости.

Водяная Лошадь повернулся и продемонстрировал рваную прореху в чешуе.

— Я упал на дно, а утром очнулся на каменной лестнице, спускающейся к воде. Мне повезло, — если это, конечно, можно называть везением... И-и-и! — грустно проржал он, — что все тело облепили водоросли и придонный ил, иначе уже через час я бы засох.

Стояло раннее утро. От боли я едва шевелился, поэтому срочно вызвал ветер, дождь и наводнение, чтобы течение унесло меня обратно в море. Как только поднялась вода, я нырнул в Фонтанку и... — он горестно всхрипнул, и его синие глаза, как осенним дождем, подернулись тоскливой пеленой, — чуть не захлебнулся! За ночь, проведенную на воздухе, у меня отказали жабры.

Судорожно сглотнув, Гиппи вновь попросил меня полить ему хвост.

— Кое-как выбравшись на сушу, я отразил облик первого же проходящего мимо человека. — Поймав мой недоуменный взгляд, он пояснил: — Гиппокамп может обратиться в любое существо, соотносимое с ним по размерам.

— А человеческий язык? — воскликнул я. — И вообще, вы удивительно хорошо ориентируетесь в мире людей!

— Я правнук Посейдона, — Гиппи горделиво вскинул голову и тут же сник. — Но не всемогущ...

Мог ли я оставить его в мрачном холодном подвале? Той же ночью Водяная Лошадь перебрался ко мне в квартиру. Я разместил его в ванне с тёплой водой. Включив душ на полную мощность, Гиппи устроил из него фонтан, громко фыркая и разбрызгивая целые потоки воды.

Накупавшись, Водяная Лошадь с аппетитом поел овсяной каши на молоке — вместо чахлой городской травы, которую он украдкой щипал по ночам. На рассвете у него вновь началась лихорадка, и мне пришлось бежать в аптеку за жаропонижающим и витаминами.

В восемь утра, так и не сомкнув глаз, я отправился на работу в офис, но уже к середине дня, вне себя от беспокойства, сказался больным и помчался домой.

Чтобы хоть немного приободрить Гиппи, по пути я заскочил в зоомагазин и купил ему аквариум с рыбками. Он страшно обрадовался и тут же принялся разговаривать с ними, издавая нежные булькающие звуки, а рыбки, как дрессированные собачки в цирке, принялись плясать и с поразительной синхронностью выполнять всевозможные пируэты. Это был настоящий рыбий балет!

Весь вечер Гиппи занимался своими питомцами, но на следующий день, когда я проснулся, аквариум оказался пуст.

— Где же рыбки, Гиппи? — удивился я. Смущенно улыбаясь, он признался, что ночью ходил к Фонтанке и выпустил их на волю. И теперь они, наверное, счастливы!

А потом, отведя в сторону большие лошадиные глаза, сообщил, что хотел бы заняться разведением рыб.

Пришлось достать для Гиппи мальков, и дело пошло на лад. Рыба плодилась у него в немыслимых количествах. Весь молодняк он выпускал то в Фонтанку, то в Неву. Иногда, по его просьбе, я ездил на Ладугу или к заливу.

— Какая им разница, где плавать, — ворчал я, собираясь.

— Им так хочется, — умоляюще шептал он, срываясь на ржание. — Они меня попросили.

Рыбы отвлекали его от грустных мыслей.

Болезнь Гиппи, причина которой, как я понял, заключалась в вынужденном существовании в чужой среде, протекала волнообразно. Когда Водяной Лошади становилось лучше, он вызывал ливень, принимал человеческий облик, и мы отправлялись на прогулку. Мокрый и оживленный, громко всхрипывая от восторга, он удивленно разглядывал омываемый дождем Петербург, — особенно ему нравился Казанский Собор, а я шел рядом, под зонтом, следя за тем, чтобы он не потерялся в толпе.

В иные дни, вспоминая свою водную жизнь, он был хмур и неприветлив и безвылазно лежал в ванне, отвлекаясь лишь на то, чтобы покормить рыб.

Вскоре гиппокамп перестал выходить на улицу: превращение в человека отнимало у него слишком много сил.

— Санкт-Петербург прекрасен, но даже ему не сравниться с чудесами Подводного мира! — бормотал он, в изнеможении прикрыв глаза. Его длинные ресницы подрагивали. — Если мне суждено вернуться домой, обещаю — ты побываешь в неизмеримых глубинах тропических морей, где среди цветущих садов сверкают роскошные дворцы, о которых не знает ни один смертный.

Сказав это, Водяная Лошадь впал в бессознательное состояние, приходя в себя лишь на короткие промежутки времени.

Самочувствие его ухудшалось с каждым часом. Гиппокамп дрожал и дышал тяжело, с хрипами. В горле у него булькало и хрипело. Если бы он был человеком, я бы вызвал врача. Но для этого потребовалось бы, как минимум, вытащить его из воды, что означало бы ухудшить его и

без того ужасное состояние. Я давал ему аспирин и шипучие витамины. От еды Водяная Лошадь отказывался, и мне никакими силами не удавалось накормить его даже китайскими сушеными водорослями — его любимым лакомством, которым я запасся в огромных количествах.

Лежа без сознания, он рисковал захлебнуться, и мне постоянно приходилось подтягивать Гиппи за плечи, приподнимая над поверхностью воды его большую лошадиную голову.

Тем временем началась страшная непогода. Двойные, тройные разряды молний шинковали небеса, сотрясая Петербург раскатами громов. Дождевые потоки гудели в трубах и с шумом выливались из водосточков. Проезжающие машины поднимали волны, окатывая стены домов и прохожих грандиозными потоками. Дождь лил не переставая.

На третьи сутки сиденья в ванной возле Гиппи, подливания теплой воды и непрерывного наблюдения за тем, чтобы в беспамятстве он не соскользнул под воду и не захлебнулся, меня сморил крепкий сон.

Очнулся я резко, как от выстрела. Водяная Лошадь лежал неподвижно, хвост торчал из ванны на полметра вверх, а голова полностью скрывалась водой. Большие полуприкрытые глаза потускнели.

— Гиппи! — заорал я и, обхватив его тяжелое тело, царапая руки о жесткую переливающуюся чешую, приподнял его так, чтобы голова находилась на воздухе. Он не подавал признаков жизни. Наконец я догадался вытащить пробку из сливного отверстия. Водяная Лошадь не дышал. Его грудь, еще накануне часто вздымаемая жарким болезненным дыханием, покоилась неподвижно и мертво, точно сверкающая каменная плита.

Ноги у меня подкосились, я рухнул на мокрый кафельный пол. Взяв в руки его безжизненную перепончатую лапу, я уткнулся в нее и громко зарыдал.

— Гиппи, дружище, очнись! — горестно взывал я, как вдруг его плавник шевельнулся.

Я поднял голову. Водяная Лошадь смотрел на меня добрыми синими глазами. Издав короткое ласковое ржание, он тихо проговорил:

— У меня заработали жабры. Но я слишком слаб, чтобы принять облик человека. Помоги мне вернуться домой!

Изрезав руки о его плавники, я с трудом перевалил тяжелое тело гиппокампа через бортик ванны. Теперь мне предстояло дотащить его до реки. Подложив Водяной Лошади под грудь мокрое полотенце, я волоком потащил его из ванной.

Соприкосновение с твердыми сухими предметами вызывало у Гиппи мучительную боль, и от каждого неосторожного движения он страдаль-

чески ржал. Я тащил его рывками, а он помогал мне, отталкиваясь от пола скрученным спиралью рыбьим хвостом, оставляя за собой россыпи разноцветной чешуи и длинные разводы сине-перламутровой крови.

Через каждую минуту он начинал сохнуть и задыхаться, и мне приходилось окатывать его водой.

Когда мы добрались до входной двери, дом сотряс оглушительный удар грома, всколыхнувший, казалось, все моря на планете. В тот же миг мощная волна с грохотом выбила окно. Вода ворвалось в квартиру, заливая все кругом, прибывая с каждой секундой.

Меня закрутило и ударило сначала об стену, а потом об потолок. Мебель, книги, посуда, одеяла — все кружилось и, сталкиваясь, носилось по комнате в чудовищных водоворотах. Прибывая с катастрофической быстротой, вода поднималась все выше.

Захлебываясь, я попытался выплыть наружу через входную дверь, в панике не сообразив, что она открывается внутрь, и под давлением стихии мне не отодрать ее от стены. Я наглотался воды и уже начал тонуть, как вдруг из бурлящего хаоса на миг выплыло лошадиное лицо Гиппи с раздувающимися ноздрями и тут же исчезло. Я почувствовал прикосновение колючего чешуйчатого хвоста, оборачивающегося вокруг моего тела. Он сжал меня с такой силой, что, казалось, раздавил мне легкие, выпустив из них последние остатки воздуха.

В голове раздался взрыв, резкая боль разорвала грудную клетку. Рефлекторно я сделал вдох, втянув в себя воду, и она прошла сквозь меня стремительным потоком, насыщая тело миллионами пузырьков кислорода.

Очнулся я на набережной, весь в ряске и водорослях. Ярко светило солнце. Одежда на мне почти высохла. Темная вода Фонтанки плескалась о гранит, выбивая удивительно прекрасную мелодию. Почему я никогда раньше не слышал ее? Запах соли и рыбы приятно щекотал ноздри.

Некоторое время я приходил в себя, дыша ровно и глубоко. Тихий плеск заставил меня взглянуть на воду. Над поверхностью реки возвышалась лошадиная голова.

— Гиппи! — прошептал я и засмеялся от радости.

С громким счастливым ржанием Водяная Лошадь выпрыгнул из воды, сияя золотом и всеми оттенками цветов. Хлопнув по речной глади длинным рыбьим хвостом, он окатил меня сверкающей волной.

Я перевернулся на живот, опустил лицо в Фонтанку и глубоко вдохнул. Втянув в себя прохладную освежающую влагу и ощутив, как из от-

верстий за ушами потекла вода, я легко скользнул в речную глубину и поплыл за ним.

МАГИЧЕСКИЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ИЛЛЮЗИОН ОХЕСА БОХЕСА

До позднего вечера, не отходя от окна, Лиззи ждала мужа. Суп на столе давно остыл, покрывшись коркой. Увяли и потемнели листья салата и обветрился гуляш. Взглянув на испорченный обед, Лиззи тяжело вздохнула. Сколько ей твердила мать: «Красивый муж — чужой муж! Он тебе не пара!» И теперь каждый раз, когда супруг задерживался с работы, эти слова огненными буквами сверкали перед ней в воздухе.

С горечью поглядев на себя в зеркало, она извлекла из недр туалетного столика запрятаный от Алекса журнал с обворожительной моделью на обложке и принялась копировать вызывающий макияж. Лиззи покупала гламурные журналы тайком от мужа. Ей не хотелось, чтобы он лишний раз любовался на длинноногих, с волнующими формами, манекенщиц.

Придав взгляду небольших, чуть навывкате, серых глаз со светлыми ресницами глубину и томность, Лиззи отступила от зеркала и, распахнув шелковый халат, сменила, одну за другой, несколько картинных поз. Однако, как бы ни поворачивалась она перед зеркалом, ей никак не удавалось достигнуть хотя бы отдаленного сходства с художавыми соблазнительницами: невзирая на строгое соблюдение диеты, ее полное тело не отдавало ни грамма жира.

Когда страдания Лиззи достигли апогея, и она, позабыв о макияже, измученная ревностью и недовольством собственной внешностью, бросилась на кровать лицом в подушку, в замке закрипел ключ.

— Отчего не встречает меня моя сахарная крошка? — пропел в прихожей Алекс, нагибаясь и расшнуровывая ботинки.

— Ты был с другой женщиной? — тихо спросила Лиззи, выходя ему навстречу в съехавшем с одного плеча халате, с потеками туши и размазанной по лицу помадой. Увидев, что муж весел и, несомненно, полон ярких впечатлений от проведенного вечера с роковой красоткой, которой Лиззи — увы! — в подметки не годится, она горько разрыдалась. Ужасные картины его измены мелькали перед ней на фоне огненных букв!

— Что ты, милая! Я задержался на работе! — Алекс обхватил ладонями ее лицо и принялся целовать заплаканные глаза, слегка покрасневший вздернутый носик, ласково бормоча:

— Только ты одна! — и прочую чепуху, какую обычно в таких случаях говорят мужья своим жёнам, а иногда и любовницам. А потом все перед ними закружилась, заверте...

На следующий день, — это было воскресенье, — Алекс, проснувшись позже обычного, не застал дома жены. Потягиваясь, он вышел на кухню где обнаружил лежащую на столе записку: «С добрым утром, любимый! Я у визажиста. Завтрак на плите. Лиззи».

Прочитав её, Алекс вздохнул. Визиты жены в косметический салон имели непредсказуемые последствия. Нарастивание волос в прошлую зиму обернулось для нее затяжной простудой: ради сохранения модной прически сахарная Лиззи ходила без шапки. Покупка новой помады служила основанием закурить, а после нанесения перманентного макияжа у жены появилась манера вздергивать левую бровь, совершенно не подходящая ее милому, детскому выражению лица. К счастью, краска со временем выцвела, а вместе с ней исчезла эта нелепая привычка.

Однако Алекс и представить себе не мог, чем обернется для него сегодняшняя вылазка супруги.

В этот момент Лиззи мчалась по Загородному проспекту, прикидывая, не забежать ли ей в «Галерею» за новым платьем, как вдруг на Пяти углах, в витрине высокого французского окна, ее внимание привлек рекламный плакат с надписью: "Магический зеркальный иллюзион Охеса Бохеса". Чуть ниже был изображен земной шар, вокруг которого спиралью закручивались слова: "Весь мир у твоих ног".

Открыв рот, Лиззи остановилась перед афишей. "Весь мир..." — прошептала она и, решительно толкнув дверь, ступила в ярко освещенный вестибюль. Из невидимых динамиков чуть слышно звучала легкая мелодия. Справа от входа, в стене, размещалось полукруглое окошко с надписью "Билеты", возле которого стояла невзрачная молодая дама с тощей косицей, похожей на мышиный хвост. Лиззи сразу же окрестила ее про себя "дурнушкой". По левую руку, напротив кассы, колеблемая сквозняком, колыхалась синяя бархатная портьера, скрывавшая вход на выставку. Получив билет, посетительница стрельнула бесцветными глазами в сторону Лиззи и, вжав голову в плечи, юркнула за штору. Удивленная ее странным поведением, Лиззи приблизилась к кассе и, заглянув внутрь окошка, увидела пожилого клоуна в оранжевом парике с нарисованной до ушей улыбкой.

— Посетите наш магический иллюзион, — воскликнул он, бодро встряхивая головой, — и ваша судьба изменится!

— Мне незначет ее менять! — кокетливо улыбнулась Лиззи. Веселое

недоумение отразилось на лице кассира. — Скажите лучше, отчего ваш иллюзион называется магическим?

— В своем искусстве, — торжественно произнес клоун, — господин Бохес достиг таких высот, что уже невозможно утверждать, где кончается фокус и начинается чудо. Вы сами можете в этом убедиться.

— Интересно, — протянула Лиззи, раздумывая, идти или нет, однако размышления ее прервал внезапный женский крик.

— Глаза! — донеслось из—за синей шторы. — Волосы!

— Зачем же так громко? — тоскливо произнес кассир, и его брови разлетелись в стороны, а затем вернулись обратно. — Итак... Какое время вас интересует?

— Пожалуй, прямо сейчас, — поглядев на часы, ответила Лиззи.

— Вы не поняли, — захихикал клоун. — Есть сеансы по пять минут, по часу и на целый день. Минимальная стоимость...

И тут он назвал такую цену, что у Лиззи вытянулось лицо. Этих денег хватило бы на покупку нового платья и двукратного посещения косметолога, то есть составляло ровно столько, сколько было у нее в кошельке.

— Ну, знаете ли... — возмутилась она и защелкнула сумочку. — Было бы на что смотреть за такие деньги!

— Пожертвуйте малым, и получите многое! — возразил клоун.

В этот момент синяя штора раздвинулась и выпустила в вестибюль уже виденную посетительницу. Однако сейчас ее никто не назвал бы невзрачной. Длинные каштановые локоны преобразили ее облик. Горделиво задрав подбородок, она прошествовала мимо оторопевшей Лиззи. На пороге дама обернулась и заговорщицки подмигнула ей голубым глазом.

— А вы говорите, было бы на что смотреть! — усмехнулся кассир. — Видели бы вы ее, когда она явилась сюда впервые.

— Беру! — твердо проговорила Лиззи, придя в себя. Получив билет, на котором значилось "5 минут", она с трепетом отодвинула синюю портьеру и ступила внутрь.

Первым, что бросилось Лиззи в глаза, было высокое овальное зеркало в золоченой раме, расположенное в глубине зала, в котором плыл, отражаясь, ее далекий туманный силуэт. От стен, обитых гобеленовыми обоями с цветочным орнаментом, исходило сладостное благоухание тропической оранжереи, на карнизах окон щебетали птицы. Стоило ей двинуться навстречу, как под потолком зажглась хрустальная люстра, и лучи света, точно золотые спицы, пронизали зал. С каждым шагом ее образ становился все более четким и ярким, будто под-

нимаясь из толщи вод на поверхность лесного озера.

То ли янтарный свет, пролившийся кругом, мягко сглаживал несовершенства Лиззиной внешности, то ли зеркало удивительным образом отображало ее очертания, но Лиззи, шагая навстречу своему отражению, вдруг обнаружила, что выглядит невероятно привлекательной!

Ноги обрели желанную стройность и длину, сгладились чрезмерные выпуклости в области бедер, и вытянулся силуэт. Походка обрела плавность и гибкость, свойственные профессиональным танцовщицам. А когда Лиззи приблизила к зеркалу лицо, то не смогла сдержать восклицания.

В глазах заиграла шальная зеленая искра, и ушла легкая курносость. Уголки губ приподнялись, а резко обозначившиеся скулы как будто стали выше, придав лицу аристократическую скульптурность.

"Неужели?.." — прошептала пораженная Лиззи.

Она игриво повела плечом, выставила вперед стройную ножку, любясь точеным коленом, томным движением закинула руку за голову, представив исполненный восхищения взгляд Алекса. Пожалуй, не только Алекса... Чистое восхищение, не более того...

Лиззи послала своему отражению соблазнительную улыбку, и в этот миг зеркало помутнело, люстра под потолком погасла, и смолкли птицы. Сеанс закончился.

Выйдя на улицу, Лиззи медленно двинулась по проспекту, натываясь на прохожих. Когда же она наконец очулась от наваждения и взглянула в ближайшую витрину, то с горечью обнаружила: из отражения смотрит на нее все та же полноватая Лиззи с детскими ямочками на щеках.

— Отчего грустит моя сахарная женушка? — спросил Алекс, раскрывая объятия навстречу переступившей порог Лиззи. — На тебе лица нет, дорогая!

Вскрикнув, жена метнулась к зеркалу. Она то приближалась к нему, — и тогда чуть не впечатывалась лицом в стекло, то отходила, чтобы видеть себя в полный рост.

Алекс недоуменно смотрел на нее, а потом его вдруг осенило.

— Лиззи, — осторожно начал он, перебирая в уме все, что когда-либо слышал о косметологических процедурах. — Ты покрасила ресницы? — Она не обратила на его слова внимания, и тогда он, на всякий случай, добавил: — Тебе очень идет.

Хмурясь, Лиззи вновь придвинулась к отражению.

— А ведь и вправду, — вдруг просияла она, — ресницы—то потемнели. И цвет глаз стал ярче! Ты тоже это замечаешь, а, Алекс?

— Конечно, — с энтузиазмом воскликнул он, обрадовавшись, что сахарная жёнушка передумала плакать. — Я сразу заметил, как только ты вошла!

— Значит, мне не показалось... — Лиззи мечтательно прикрыла глаза. Она скинула с плеч короткую шубку и, разведя руки, будто танцую с невидимым партнёром, завальсировала вокруг Алекса.

Он подхватил её, крепко прижал к себе, и всё перед ними закружилось, заверте...

В понедельник Лиззи, вскочив ни свет ни заря, первым делом бросилась к зеркалу. Когда часы принялись бить седьмой час, Лиззи опомнилась. Заглянув в спальню и убедившись, что муж спит, она прокрадась на цыпочках в прихожую, запустила руку в карман его пальто и извлекла портмоне. Дрожащими руками вытащила наличность, оставив несколько мелких купюр. Затем её пальцы ловко прошлись по всем секретным местам, где мужья обычно прячут заначку от жен, и ее усилия обернулись солидной денежной прибавкой.

Едва дождавшись, когда супруг уйдёт на работу, Лиззи наскоро собралась и выскочила из дома.

Отныне она разглядывала себя с удовольствием — и не только в магическое зеркало, но и в самое обыкновенное, от сеанса к сеансу совершенствуя свои черты.

Мужчины не давали ей прохода, наперебой ухаживая за ней и добиваясь внимания. Их восторженные взгляды обволакивали Лиззи, точно сладкая патока, и от этого движения её становились грациозными и манерными. Очень скоро она превратилась во властительницу дум, украшение светских тусовок и вечеринок.

Пятиминутные сеансы воздействовали на внешность слабо, и Лиззи отказалась от них в пользу часовых, весьма разорительных, но вызывающих умопомрачительные и стойкие сдвиги во внешности. Деньги таяли с катастрофической скоростью.

А из кошелька Алекса стала исчезать наличность. Когда купюры пропали впервые, он решил, что обронил их. Во второй раз Алекс обнаружил отсутствие ассигнаций в кафе, когда расплачивался за обед. Тогда его выручил сослуживец, одолжив нужную сумму.

Когда портмоне опустел в третий раз, он пожаловался сахарной жёнушке.

— И ты даже примерно не представляешь, кто это мог сделать? — она сдвинула брови. Муж пожал плечами.

— Совсем—совсем? — уточнила Лиззи. — Может, их украли у тебя в метро?

— Три раза подряд? — саркастически воскликнул он.

— Значит, это кто—то с работы, — уверенно произнесла супруга.

— Если это повторится ещё раз, я заявлю в полицию, — мрачно проговорил Алекс.

К счастью, кражи прекратились, а Лиззи тайком от мужа взяла кредит.

В один из ненастных вечеров, когда она, весёлая и слегка нетрезвая, вернулась домой из бистро, где очередной воздыхатель объяснял ей в любви, Алекс поинтересовался у неё насчёт ужина.

— Лиззи, крошка, не найдётся ли у нас что—нибудь перекусить? — спросил он, ласково глядя на нее.

— Больше не смей называть меня Лиззи! — гневно выкрикнула жена. — Это имя похоже на собачью кличку! — вздернув голову, она надменно припечатала: — Элизабет.

— Ну уж нет, — рассердился Алекс. — Я женился на Лиззи и не знаю никакой Элизабет. Лиззи, и точка.

С этими словами он встал из—за пустого стола и ушел в спальню.

— Подумаешь, — буркнула Элизабет и отправилась спать в гостиную. Ночь они провели в разных комнатах, а наутро муж ушел на работу, не позавтракав и не поцеловав жену.

Случившаяся накануне ссора заставила Элизабет согласиться на встречу с одним кавалером, который давно осаждал ее настойчивыми ухаживаниями.

Сначала они бродили по Таврическому саду. Спутник Элизабет энергично жестикулировал и блистал остроумием, стараясь произвести впечатление.

Как и многие, он был влюблён в неё, но Элизабет не испытывала радости, какая еще недавно охватывала её от осознания власти над мужчинами. Теперь воздыхатели вызывали у нее скуку и чувство одиночества.

Элизабет смеялась и выглядела веселой и оживленной, однако на сердце у неё лежала тяжесть, и причиной этому был муж. «Отчего он так груб? Почему не замечает моей красоты?» — думала она, улыбаясь очередной шутке поклонника и не особенно вникая в её смысл. Скорее всего, Алекс не любит её, так стоит ли страдать? Не лучше ли забыть его, перестать думать о нём, когда рядом симпатичный мужчина? Рассудив так, она повернулась к нему, их взгляды встретились, и ни один из них не заметил Алекса, неожиданно вынырнувшего из—за угла.

Увидев свою жену с молодым франтом, да ещё в такой интимный момент, когда они, улыбаясь, глядели друг другу в глаза, Алекс — ис-

ключительно мирный малый — натурально рассвирепел и бросился на соперника. Молниеносная драка окончилась безоговорочной победой Алекса, главным образом, благодаря моральному превосходству законного супруга. Предполагаемый любовник жены ретировался сначала на четвереньках, а затем, поднявшись на ноги, во всю прыть помчался в направлении Литейного проспекта.

Алекс схватил за руку жену, оторопевшую от вида яростной схватки, и потащил домой. Под его глазом наливался фингал. Впервые Элизабет видела своего супруга в таком бешенстве, но еще никогда он не казался ей таким красивым и родным.

— Алекс, — воскликнула она, как только они вошли в дом, — я клянусь тебе, что никогда, никогда...

— Кто этот тип? — рычал обычно сдержанный и покладистый муж. — Ты изменяла мне с ним?! Правду! Только правду!

— Нет! — рыдала Элизабет, и в этот момент ей, может быть, впервые в жизни было все равно, как она выглядит.

— Врёшь! — крикнул он и обрушил кулак на стену. Выглядело это столь устрашающе, что от ужаса Элизабет выронила из дрожащих рук сумочку. Упав на пол, она раскрылась, и оттуда вывалился ворох купюр, предназначенных для оплаты вечернего сеанса в магическом иллюзионе.

Воцарилось молчание. Элизабет боялась его прерывать, так страшен стал муж в эту минуту.

— Откуда у тебя эти деньги? — спросил он тихо и поднял на неё взгляд, в котором Элизабет не прочитала ничего, кроме ледяного презрения. — Это он тебе дал?

— Нет, — прошептала она и попятилась. — Я правду говорю, Алекс!

Он сделал шаг навстречу. Его бледное лицо неумолимо надвигалось на неё. Она упёрлась спиной в стену.

— Лгунья! — выплюнул Алекс. Несколько мгновений он пристально смотрел ей в глаза, словно что-то искал в них, потом развернулся и удалился в комнату, а Элизабет бесшумно сползла на пол.

Некоторое время в спальне стояла тишина, но внезапно ее прервал оглушительный стук хлопнувшей о стену дверцы.

Она вскочила, метнулась к спальне, остановилась на пороге. Лежащий на кровати распахнутый чемодан оправдал её худшие ожидания.

— Алекс, — умоляюще, тоненьким голосом позвала его Элизабет, не решаясь войти. Он вздрогнул, но не повернулся, продолжая, как заведённый, перекидывать вещи из шкафа в чемодан.

— Я клянусь тебе, это не он...

Муж замер, опустив руки.

— И никто другой, Алекс, — заторопилась она. — Я взяла кредит в банке.

Он медленно повернулся и тяжело посмотрел на неё.

— Зачем?

И тут Элизабет, путаясь и перескакивая с пятое на десятое, рассказала ему всё: про магический иллюзион, головокружительную стойкость сеансов, воровство денег у него из карманов и о том, как ненавидит она маленькую пухлую Лиззи.

— А я любил её, — с горечью сказал Алекс, — свою сахарную жёнушку. Уж она—то не стала бы меня обманывать. Но её — увы! — больше нет. Поэтому я ухожу, — и, повернувшись, он вновь принялся собирать вещи.

— Ты мне не веришь? — крикнула она ему в спину. — Думаешь, я все вру?

— Да, я так думаю, — глухо ответил он, не поворачиваясь. — Ты стала другой, Элизабет. Чужой, — добавил он веско.

— Вот в чем причина, — прошептала она, глотая слёзы. — Кому нужна эта красивая кукла?!

Она схватила лежащую под кроватью гантель и, подскочив к зеркалу, с размаху ударила стекло, разбив собственное безупречное отражение. — Вот тебе! Вот тебе! Получай! — кричала Элизабет в иступлении, не замечая, что пальцы у неё в крови, а зеркало давно разбилось, и продолжая колотить по стене.

Выбежав в коридор, Алекс схватил на руки рыдающую Элизабет и понес в спальню. Смахнув чемодан, он уложил жену на кровать и принялся вытаскивать осколки, застрявшие в её пальцах, а она все плакала и повторяла:

— Не уходи, Алекс! Не бросай меня!

Обработав раны и справившись с перевязкой, он опустился на пол рядом с кроватью.

— Наверное, у меня от слез опухло лицо, — слабо улыбаясь, тихо проговорила она. — Дай мне зеркальце.

Он послушно открыл ящичек прикроватной тумбочки и, взяв со стопки журналов с красотками круглое зеркальце, протянул ей вместе с носовым платком.

Чёрные разводы туши испачкали не только её пухлые щеки, но даже небольшой курносый нос.

— Такая я тебе нравлюсь больше? — спросила она, улыбаясь

сквозь слёзы.

— Именно такая, моя маленькая сахарная Лиззи!..

Алекс наклонился, нежно поцеловал жену, и все перед ними закружилась, заверте...

Андрей Загородний, Виктор Бровков



ТРОЙНОЙ ПИНГВИН

Пингвин вылез из-под тумбочки и потребовал жрать.

— Еды нет, — сказал я.

Совесьь напомнила, что обманывать нехорошо, пристыдила, заставила перед собой же оправдываться. Пингвины предпочитают рыбу, но рыбы нет.

— Только коржики, — добавил я.

Злобный птиц схватил весь пакет и ожесточённо захрустел. Коржики мои любимые, привозить их приходилось из дальнего магазина. Совесьь уступила место жадности.

— Больше не дам.

Я притащил его из Антарктиды совершенно зря. Сам не знаю зачем — был в шоке, вот и притащил. Из-за него погиб Григорий. Не из-за какого-то там пингвина вообще, а из-за этого, конкретного. Теперь живёт в моей квартире, типа несёт наказание: рыба не каждый день, восемь месяцев в году жара по пингвиньим меркам. Хотя ему, похоже,

всё пофигу — жрёт мои коржики и не потеет. Так что наказание не ему, а мне. Себя наказываю, а за что — не пойму, не знаю.

Когда я в последний раз делал что-то не изводящее, приятное? Посиделки под бутылку-другую сухого или совсем не сухого, кажущиеся остроумными глупости? Когда я в последний раз говорил комплимент девушке? Вспомнить бы. А, ну да, вот же оно: смутное, далёкое. Моё ли? У Григория огромная толпа собралась, что-то праздновали, и рядом со мной сидела девушка: круглые очки, короткая модная стрижка. Места мало, так что её очень удобно ко мне притиснули, а потом мы за каким-то шкафом уединились. До существенного не дошло, всё раздевание верхней частью ограничилось. Грудь, соски, в голове винный туман, её кожа очень приятная на ощупь.

— У тебя потрясающая температура тела.

Точно, это последний в жизни комплимент, который я говорил девушке, весьма идиотский. Приятная температура, не холодная и не горячая. Не холодная, холода мне в экспедициях хватало. И бессмысленности существования.

Там, на станции — скуотища жуткая; проснулся, поел, нарядился в шубу с солнцезащитными очками, и наружу — в холод и метель. Показания с датчиков, пробы льда и ожидание обеда — вот и все развлечения. Потом ещё раз, но тогда уже ужина ждешь.

Еда — почти одно и то же. Тот, кто комплектовал раскладку, собирался, похоже, потчевать нас деликатесами. В своём, так сказать, понимании, а понимание у него точно такое же, как у соседки, с которой меня в детстве оставляли. Кормила одними шпротами. Ненавижу шпроты. Вот и на станции эти жёлтые промасленные консервы каждый второй день. Но я ведь не в детстве и вежливым голодным ребёнком не останусь.

— Григорий! Хочешь мою порцию? В обмен на...

Григорий покачал головой — не хотел Григорий шпроты, он их тоже не любил, — в обмен предложил только свежий огурец, из вежливости, знал, что откажусь. «Свежий» — это название: эти овощи тоже в жестянках, залиты чем-то специальным, сохраняющим витамины. Будто в огурцах, даже только что выращенных, есть витамины.

В общем, предложенный обмен шпрот не слаще.

Каждый день на станции — блеклая копия предыдущего, в экспедиции жизнь медленно выцветала, а если и до этого была серой, безликой — пиши пропало. Книжки, интернет, всё надоело, тренажёр

крутить — совсем скука, поэтому развлекались как могли. Давно до нас придумали — бегать за пингином, кто первым его поймает. Глупость, а припекло — быстро прониклись. Ещё можно сразу много наловить и в море бросать — кто дальше, но для этого надо близко к открытой воде подходить, что чревато.

Нет, пингинов мы не обижали, им только в радость. И побегают, и полетают. Что это за птица, которая ни разу в жизни не летала? Вот мы и обеспечивали: бег почти каждый день, лишь бы не пурга, а полёты только изредка, когда к воде безопасный проход был. Ни один пингвин вроде не жаловался.

Григорий у меня выигрывал. Посмеивался потом — тренируйся, парень, бегай, повышай мастерство. Задевало, даже злило. Это потом уже, здесь, в Питере, понял, что шутки и обижаться на них не стоило, а тогда...

Тогда Григорий жив был, а сейчас уже нет.

Гада я три дня выслеживал. Не Григория — пингвина. И что? Теперь коржики мои жрёт. Хрустит так, что заснуть не получается.

Я прилёт, в голове пусто, просторно. Для тяжёлых мыслей просторно, вот и ныряли они в эту пустоту, как Григорий под лёд, плавали, сталкивались с громким скрежетом, тонули и вновь всплывали. Понимал я, что скрежет — это коржики в пингвине исчезают, а легче не становилось, но вроде заснул. То, о чём думал, превратилось в сон, в обрывки сна.

Пингвин посмотрел на меня с укором, сказал:

— Ты давно не был в лаборатории.

«Ну и что? — подумал я. — Пингины всё равно разговаривать не умеют».

Он пожал плечами, всем видом показывая: «Мало ли что не умеют? Плеч у нас тоже нет, а вот пожимаю».

Действительно, неважно. Тем более что он и раньше разговаривал, рыбы требовал или коржиков.

— Давай вспоминай, — пнул меня в бок перепончатой лапой пингвин.

Как дотянулся? Лапы у него внизу, а я высоко на кровати. Ладно, это ведь сон. Только что ему надо? Я только и делаю, что вспоминаю, и в лабораторию не хожу потому, что вспоминаю. На трамвае до дальнего магазина и домой, к мыслям.

Лёгкий пингвин шлёпает по насту, мы проваливаемся, но догоняем. По дуге. Слева торосы, справа снег — как зеркало блестит, выглаженный ветром.

Натянул одеяло до самого горла — холодно. Не здесь холодно — там, в Антарктиде. Не когда за пингвинами гнались, тогда просто белый блестящий снег, а потом, через секунду.

Всё ближе к берегу, там склон ледяной, с которого пингины купаться съезжают — десять метров разгон и в воду. Наш туда бежит, сейчас сядет на свой зад и покатится. Григорий поворачивает в запале, чтобы дорогу отрезать. Шаг, да какой там шаг — прыжок. Нога на укатанном пингвинами снегу, и Григорий скользит впереди пингвина. Под лёд. Навсегда, он же не пингвин.

Я смотрю на чёрную воду, и мне становится холодно.

Проснулся. Какого чёрта мне всё это снилось? Что я могу поделывать? Прошлое. Надо забыть. Нет, друзей не забывают, но нельзя только об этом и думать с утра до вечера.

Пингвин опять жрать потребовал. Коржиков нет, схмячил он их все, или спингвинил. Я вспомнил про паёк, полученный ещё когда в Питер вернулись. Нас в аэропорту встретили, по домам развезли и по пакету с едой выдали, чтобы сразу в магазин не бежать. Хлеб, колбаса, фрукты, всё влёт ушло, а вот шпроты — как же без них — я на верхнюю полку закинул.

Залез на табуретку, открыл банку. Запах детства, хоть из дома беги. Пингвин клюв вбок отвернул.

— Чем тебе рыба не рыба? Жирная, вон даже масло наружу вытекло, в рыбе не помещается, ты такую любишь.

Не захотел, спрятался. То ли прожарка не той степени, то ли рыбы в банке лежат головой не в ту сторону. Гурман чёрно-белый, чёрт бы его побрал.

— Что ж ты за тварь такая? Шпроты не ешь, нервы мои — мотаешь, изводишь!

«А сам?» — ответил я вопросом на вопрос за пингвина.

Сам тоже не ем. Также мотаю, извожу.

Я оделся и пошёл на работу — отпуск после экспедиции длинный, но и он через неделю заканчивался. Может, правильно меня птица пинала — в лаборатории дел по горло, голова на прошлом заикливаться перестанет.

Пингвин наружу не вылез, проворчал откуда-то напоследок:

— Молодец, иди трудиться, вернёшься — тогда и повспоминаем. И шпроты в мусоропровод отнеси, воняют.

Всю дорогу, пока на трамвае ехал, разглядывал потрескавшееся сиденье, чтоб в окно не смотреть — там зима, но фальшивая, без снега, — и вспоминал разное. Не только то, что на станции случилось,

но и что дома каждый день. Тот же самый пингвин немым укором. Даже не немым.

Воспоминания, чёрт их дери. Григорий погиб. Поскользнулся и ушёл под лёд. Пытался отрезать дорогу. Ему всегда всё удавалось, но только не в тот последний раз. Почти в каждый забег меня обыгрывал, а если я побеждал, то не потому, что быстрее или сильнее. Только если у него на пути снежных гребней больше оказывалось или, наоборот, унты скользили, а подо мной крепкий наст. Один раз ремешок у очков лопнул — тут уж закрывай глаза и шарь по снегу руками, ищи свои светофильтры, чтобы от летнего полярного ультрафиолета не ослепнуть. Я тогда вернулся, конечно, нашёл очки — он их сам же в снег и затоптал, но я сначала отловил пингвина — не того, другого. А когда Григорий очки к глазам прислонил, пингвина ему предъявил. Но обычно он выигрывал, а я злился.

Пингвин шлёпает по насту, я за ним, но ближе к торосам, Григорий — к морю. Бежим по дуге — у него путь короче. Злость аж к горлу подкатывает, мало того что всегда меня обгоняет, так и бежать ему меньше. Сам не знаю зачем — для гонки никакой выгоды — вправо беру, чтобы пингвин от меня шарахнулся. Там, в подсознании, думаю — побежишь, Гриша, наперерез, не удержишься. Глядишь, поскользнёшься около ледяного склона, а я без спешки тебе победную птицу предъявлю. Поскользывается, только сильнее, чем я думал. И катится по льду, под воду — навсегда.

Получается, я вспомнил, как сам же Григория подставил. Ну не подставил, а сыграл не по правилам. Кто же знал? Но кому я это говорю? Себе? Зачем? Зато теперь понял, зачем пингвина привёз. Не его наказывать, а себя. Он здесь, в моей питерской квартире, для того, чтобы я всё время помнил. И про бег, и про лёд, и про то, как вправо повернул, чтобы Григорий в запале на этот лёд выскочил.

Что я сегодня в лаборатории делал? Даже не сообразить что. Рутину, в голове не задерживающуюся. И каждый день так же будет: в руках образцы льда из холодильника, на экране таблицы данных, а в голове пингвин и Григорий. А если отвлекусь, то пингвин и напомнит. Рыбы потребует или коржиками хрустеть станет. Или, может быть, так и скажет:

— Что-то ты, Игнатий, давно про Григория не думал. Зря я, что ли, здесь сижу, вдалеке от родных торосов, если тебя совестью мучиться заставить не могу.

Не зря сидит. И дома у меня и в мыслях. Не пингвин, а муки совести в чёрно-белом варианте.

Вернулся с работы, а на кухне Григорий. Я даже не удивился. Совесть из пингвина превратилась в погибшего друга. Дело обычное, таких, как я, длинная очередь в Кашенко на лечение. Я пельмени на плиту поставил, Григорий с пингвином общался, друг другу не мешали.

Хотел извиниться, но побоялся, не решился вклиниться в разговор. Григорий будто и не видел меня, грустный — наверное, не нравится быть мёртвым, — а пингвин косился на меня злорадно, стучал крылом по плечу друга. Ухмылялся.

Даже задумываться не стал, как у него ухмыляться получается, мне страдать надо, винить себя за смерть Григория. Ушёл с кухни — пусть хоть сгорят эти пельмени, будь они неладны, — нырнул в колесо однообразных дней: трамвай, потрескавшееся сиденье перед глазами, лаборатория и вечерние беседы на кухне без меня. По кругу, как у Данте, только в моей квартире.

Когда я сам с Григорием вместе сидел, разговаривал? Не на станции, здесь — в Питере? Давно, да и разговором назвать странно. Зашёл в выходной по делу, а он предложил домашнюю наливку попробовать. Сладкая, ароматная, но с неожиданным эффектом. Сидели после неё на диване рядом, вроде бы общались, руками размахивали. Вот только уселись ровно на расстоянии вытянутой руки и жестами своими широкими друг другу по физиономии время от времени попадали. Случайно, конечно. Я уж точно, Григорий, думаю, тоже.

Утром проснулся — в зеркале мама не горюй, голова — колокол, ещё и на работе отчитываться как раз в этот день. Не доброе утро, мерзкое, как и привкус во рту. Пошёл к соседу, у него дочь в последнем классе. Наврал, что на улице поскользнулся, она мои синяки быстренько закрасила. Коллеги косились и ухмылялись, но ничего не спросили, очень уж постно я, наверное, выглядел.

Будем считать, что поскользнулся. Но под лёд не ушёл, а надо было ещё тогда. Только лёд на улице есть, а воды под ним нет. Не то что в Антарктиде.

Сколько дней с того, как Григорий появился, я не считал, но важно ли? Он ни разу мне ни слова не сказал. Правильно, не замечать сильнее действует, чем любые претензии. Не я придумал, что лучше уж вбитое в зубы кулаком облегчение, чем смотреть на друга и думать, что погиб-то он из-за тебя.

Да и я хорош, за всё время ни разу не попытался заговорить, даже не подошёл, не решился извиниться. Хотя что ему извинения — как мёртвому припарка. Мёртвому, ага. Трус я, одним словом.

В тот день они опять на кухне сидели, пили, мне не предлагали, а я, как гость, хотя вроде и дома, крался вдоль стеночки, чтобы не мешать.

— Ну не знал я, не знал! — Глаза у Григория красные, невыспавшиеся. — Не знал, что Игнатий так всё воспринимает. Знал бы — поддавался иногда.

— Не знал. — Пингвин отодвинул стакан с водкой, её, видимо, Григорий принёс. — Но должен был чувствовать. Друзья ведь, вдвоём в третьей экспедиции уже.

— Ну да, должен был, — уронил голову на руки Григорий. — Я же не думал, что так получится.

— Не думал. — Пингвин вернул стакан на прежнее место, засунул в него клюв. — Не знал, не думал, сплошные «не». Ещё и бережно не относился.

— Не относился, — прошептал Григорий в стол. — Но он же опытный полярник, должен был видеть, что там лёд.

— Должен. — Пингвин занюхал коржиком и привычно захрустел. — Только бежал быстро, кровь долбила, в глазах зайчики, наверное. Не заметил, поскользнулся, съехал в воду под лёд. А ты сам-то что должен был? А помнишь, как по лицу ему бил, когда налибочку пили? Он-то случайно, а ты издевался, специально да посильнее. Такой ты друг, Григорий, подленький.

— Ну это же шутки, чего ты начинаешь? Да и синяки у меня тоже долго не проходили.

— «Шутки», говоришь? Всё лицо в синяках, а ему шутки. Твои шутки вон чем закончились, пошёл на корм рыбам товарищ, а ты водку пьёшь.

— Да не напоминай ты! — Григорий вскочил. — Я и сам всё время вижу, как Игнатий катится, а ты прямо за ним, только что ногами своими не подталкиваешь!

Пингвин пожал плечами — оказалось, он не только в мой адрес пожимать умеет, но вот и в адрес Григория — и забрался под тумбочку. Григорий опять уронил голову на руки, стакан его так и стоял налитый до краёв. Сам не выпил, хоть бы мне предложил.

Почему они разговаривают? Я с пингином за две недели столько не говорил, сколько они за десять минут. Хотя понятно — Григорий

всегда поболтать любил, это я интроверт, ко мне с разговорами не приставайте.

Пингвин — это совесть, он понимает, что меня болтовнёй донимать — только злить, слушать не буду. Мне надо на глаза показываться, чтобы вину забыть не мог. С Григорием иначе, с ним без беседы не обойтись. Такая вот совесть, к каждому со своим подходом, а суть всё та же — спать не можешь и всё думаешь о том, что сделал.

Пингвин шлёпает по насту, я за ним, но ближе к торосам, Григорий — к морю. Бежим по дуге — у него путь короче. Григорий на меня поглядывает и прибавляет, прибавляет. Видит, что с моей стороны торос, и нажимает на все свои мускулы. Торос перепрыгиваю, но дыхание сбивается. Раз за разом. Быстрее, ещё быстрее, кровь долбит, в глазах зайчики, не вижу ничего. Скольжу, заваливаюсь назад. Не замечаю наезженное место, где пингвины в море отправляются, скольжу в воду под лёд.

Откуда у меня это? Знаю, почему-то знаю, что это Григория мысли. Он меня тогда в море загнал, а пингвин теперь его совестью мучает. Пингвин и есть его совесть. А кто тогда я?

— Как же я от вас устал, — вздыхает пингвин. — Мне на льдине сидеть положено — самки, яйца, рыба, а не шпроты твои прогорклые. А тут вы оба.

— Сам виноват, — укоряю я.

— Не надо было... — начинает Григорий.

Пингвин не даёт договорить, шипит на друга, загоняет в шкаф.

— Мы твоя совесть, — заканчиваю за Григория.

Подробности можно не повторять — тысячу раз сказано, у пингвина вон даже глаз дёргается.

— Ну утонули вы из-за меня, и что? — огрызается он. — Я же не знал тогда, что в море вы нормально катитесь, а из моря не умеете.

— Не знал, не думал, сплошные «не», — соглашаюсь я и добавляю: — Незнание законов природы не освобождает от ответственности.

Пингвин и меня загоняет в шкаф. Внутри всё искрится инеем, белые ледяные стенки, белый пол и потолок. Нормально, в общем, что ещё ожидать в шкафу у пингвина? Сидеть, мёрзнуть и вспоминать девушку, у которой потрясающая температура тела. Жаль, тогда всё упустил.

Пингвин закрывает дверцу, и мы с Григорием с трудом слышим его слова:

— Посидите там до утра. Утро в этом году в октябре наступит.

Игорь Книга

Феодосия

ВТОРАЯ ХВАТА

Свет потрескивавшего на стене факела тёплым покрывалом окутывал стол с аккуратно разложенными пинцетами, иглами, ножами и пипетками. От лёгкого сквозняка пламя дрожало, вместе с ним на стенах плясали причудливые цветные тени.

У рабочего стола возился каплевидный морфоид. Как и все представители вида, он обладал лишь одной конечностью, но это ограничение компенсировалось способностью придавать ей форму любого инструмента. Морфоид мог опукнуть тугую ударницу, вытянуть тонкие щупы или острый тыкальник.

Сформировав черпалку, исследователь подсыпал в колбу серый порошок, взболтнул и поднёс к пламени, наблюдая реакцию. Жидкость вспенилась и приобрела мутно зелёный окрас.

Понюхав колбу, морфоид удовлетворённо причмокнул и перелил часть содержимого в полупрозрачный пузырь. Аккуратно, чтобы не расплескать драгоценную субстанцию, вставил в горловину иглу, накинуд петельку и затянул: получился простейший впрыскиватель. Прodelав операцию трижды, экспериментатор достал коробку с дождевыми червями.

Розовые дождевики, словно почуяв гибель, спешно зарывались в гумус. Учёный ловко подцепил одного, выложил на стеклянный прямоугольник, воткнул в извивающееся тело иглу впрыскивателя и ввёл немного субстанции. Дождевик несколько раз дёрнулся и застыл, словно сосулька на морозе. Теперь исследователю оставалось лишь ждать.

Опыты с червями он проводил в строжайшей тайне. Узнай об этом Совет Пищеплазмы — несдобровать учёному. Закроют в Погреб отступников до конца жизни или отправят на переработку в Общую плазму.

Снаружи сильно постучали.

В такое время вряд ли придёт кто-то из друзей или хороших знакомых, по телу морфоида пробежал холодок страха. Спешно завернув



впрыскиватели в ткань, учёный сунул свёрток под тряпию, и, перекатывая тело из стороны в сторону, направился ко входу.

Едва люк открылся, внутрь, оттолкнув хозяина, ввалились трое ловцов. Страх окончательно овладел учёным — ловцы просто так не являлись. Если уж пришли, то дело закончится арестом хозяина.

Следом за ловцами неспешно явился приплюснутый морфоид — Заседай Совета Пищеплазмы.

— Проводишь запрещённые исследования, Всезнай? — приплюснутый плотнее завернулся в тряпию и поправил золотую заколку в виде змея-удавителя, подчёркивая свою принадлежность к власти.

— Какие исследования?

Всезнай медленно отступал.

— Не мути нам мозги, — прошипел советник, разглядывая лабораторию. Взгляд остановился на столе. — Что у тебя там?

Ловцы шустро добрались до стола, разглядывая инструменты. Неловким движением морфоид перевернул колбу — зелёная жидкость с шипением растеклась по столу.

— Не имеете права! — огрызнулся экспериментатор, упёршись в стену.

— Имеем, — ехидно прожмакал один из ловцов. Поймал пинцетом червяка и поднял, показывая остальным.

— Это оно, — победно отозвался Заседай, разглядывая дивного дождевика. Розовое тело раздваивалось, образуя дополнительный конец.

— Я всего лишь изучаю дождевиков, — проскулил Всезнай. — Разве запрещено?

— Всего лишь?

Советник противно захихикал.

— Эти химеры расползаются по жилищам законопослушных морфоидов, пугая рожениц и трудовиков. Если тебя не остановить, твари наводнят весь город. А потом, если они мутируют, нас всех ждёт гибель!

Заседай указал на исследователя:

— Взять его!

В полумраке три большие фигуры двинулись на учёного. Выбора не осталось: хозяин хибария толкнул стену, открыв потайной люк. Округлое тело вывалилось в темноту и покатило по склону. Учёный из всех сил отталкивался хватой, ускоряя движение. Если повезёт, он успеет добраться до канала раньше ловцов. Но советник не первый раз ловил преступников — у воды беглеца ждала вторая группа ловцов. Прочная сеть накрыла тело Всезная, крепкие верёвки стянулись в узлы, убив по-

следнюю надежду беглеца. Главный ловец достал впрыскиватель с вечным усыпителем:

— Попрощайся с луной, умник!

От бессилия учёный взвыл. Но тут в его мозгу сгенерировалась новая мысль, придавшая сил. Хрипя от напряжения, он вытащил из-под тряпики свёрток и швырнул в темноту. За мгновение до того, как впрыскиватель вонзился в тело. Ядовитая жидкость соединилась с кровью и мысли Всезная накрыла тьма.

Разглядывая лежащее тело, Заседай обратил внимание на застывшую улыбку. Он никогда не видел, чтобы при аресте кто-нибудь улыбался. Тем более, такой хилый и немощный умник. Что-то здесь не так.

— Он ничего не выбрасывал? — поинтересовался советник.

— Вроде что-то швырнул, — прохихикал ловец со впрыскивателем. — Но это же неважно?

— Растяпы! — заорал советник, размахивая хватой. — Обыщите всё вокруг, найдите и принесите мне это!

Что такое «это» ловцы не совсем поняли, но страх перед Заседаем не позволил задавать вопросы. Фиолетовые фигуры расползлись по склону, внимательно разглядывая каждый кустик, каждую травинку.

— Может, оно упало в канал? — сообразил один из морфоидов.

— Может? Ищите, бездельники! Ищите, даже если оно зарылось в дно! — пробрюзжал Заседай, перекачивая тело.

Никто из ловцов не заметил, как в свете выглянувшей из-за туч зелёной луны на поверхности канала мелькнул большой чёрный плавник...

2

Распластав каплевидное тело на спине перевозчика, старый Жов предавался сладким воспоминаниям. Под тихое плёскание плавников старик прокручивал в памяти картинки былого могущества, когда он возглавлял Совет Пищеплазмы.

Тогда на него молились тысячи рожениц и трудювиков, почитая советника словно живого бога. Только он внемлил их голодным стонам. Только он устраивал бесплатные раздачи пищеплазмы каждую седьмую луну. Только благодаря ему каналы сверкали чистой гладью, а в Фантазиум мог попасть любой желающий. И всё это в совокупности позволило Жову восемь раз переизбраться на должность Главы Совета.

Рыб-перевозчик со звучным именем Тягл нервно дёрнулся, заставив пассажира вернуться в настоящее. Яркие картинки былого померкли, уступив место полуночной тьме, приправленной вонью загаженного

канала. Жов поправил блеклозастиранную тряпию, словно это алая тога советника. Но, с момента последнего избрания, он приплывал на Совет лишь как почётный гость и добровольный подсказыватель.

Всесильные члены Совета Пищеплазмы не часто внимали репликам старика, но всё же исправно выдавали семилунный проездник по каналам и одноразовый входник в Фантазиум. Последний, кроме советников, могли позволить себе лишь рыбо-бароны и торговые крепкохваты. А всякий, кто хоть раз побывал в мире грёз Фантазиума, навечно втягивался в зависимость от ароматного дыма и шёпота ласкательниц.

— Муть, в-в-онь, — пробулькал рыб, взмахивая сильными плавниками. — Когда в-в-оду поменяют?

Тягл принадлежал к числу немногих рыб, сносно освоивших речь морфоидов. Большинство булькали что-то невразумительное, хотя сами всё понимали. Но ни один рыб не мог говорить без лёгкого заикания, веселившего экс-советника.

Жов отёр хватой закисшие зыры и плотнее завернулся в тряпию:

— Раньше, когда моё слово в Совете Пищеплазмы имело силу закона, канальную воду меняли раз в два семилуния.

Тягл дёрнулся, словно в спину воткнули впрыскиватель.

— Раньше и я не в-в-в-кальвал на рыбо-барона и не в-в-в-озил на спине в-в-в-онючих трудовиков, — огрызнулся перевозчик.

Старик не ответил на иронию, понимая, что рыб сегодня не в настроении. Да и сам Жов не испытывал восторга от работы нынешнего Совета, больше радеющего о личных выгодах, и совершенно позабывшего о простом народе.

— Не хочу в-в-в-возить морфожоров по этой грязи, опротивело! — рыб взмахнул хвостом, окатив брызгами пассажира. — Хочу чистый канал, хочу чистую в-в-в-оду!

На это у старика ответа не было. Отставной советник никак не повлиял на чистку каналов, благоустройство улиц и размер пищепайка.

— За всё в этой жизни нужно платить, — вспомнил старинную поговорку Жов. — И за чистую воду тоже.

Перевозчик остановился, словно путь перегородили плотиной.

— Платить — могу.

Старик беззвучно рассмеялся:

— Чем? У тебя вечно не хватает искромётов, ты постоянно в долгах у своего барона.

— Этим! — фыркнул перевозчик.

Тягл изогнул передний плавник и подал Жову почерневший от ила перевязанный верёвкой свёрток. Экс-советник осторожно развязал узел и раскрыл ткань — впрыскиватель с мутно-зелёной жидкостью и тонкой иглой.

— Что будет, если воткнуть в твою спину? — ехидно поинтересовался Жов.

— Откуда я знаю? Это бросил в канал какой-то придурок, которого отправили на закате луны в Общую пищевлазму.

— Всезнай, — машинально пробормотал Жов.

На последнем заседании Совета Пищевлазмы старик краем слуха выловил реплику о чуде, выращивающем червям дополнительную хвату. Совет быстро принял постановление о немедленной изоляции преступника, мотивировав угрозой жителям.

Старик сожалел, что такого умного морфоида упрятали в Погреб отступников, даже не выяснив толком, чего он добился. И вот теперь, ему предоставляется шанс воспользоваться открытием Всезная. Но как он им воспользуется? Ответа у Жова не было — сейчас не было. Но если поразмышлять, то ...

— Он удирал от твоих друзей-советников, но не получилось, — продолжал булькать рыб. — А я как раз ждал пассажира напротив его хибария, когда в в-в-оду в-в-валилось это. Подумал, что «это» может быть тебе полезно, а ты потом можешь быть полезен мне. Да?

— Наверное, — прочавкал экс-советник, аккуратно завернув пузырь в ткань и спрятав под тряпию.

— Это платить? — рыб взмахнул хвостом и продолжил путь.

— Это платить, — подтвердил Жов. — Это очень даже платить.

Зыры экс-советника заискрились, в мозгу активировались мириады нейронов, формируя гениальный план. Судьба, рыб, гениальный учёный и бестолковые советники подарили ему шанс. И не воспользоваться им он никак не может.

Перевозчик остановился у входного жёлоба.

— Приплыли. И помни — мне нужна чистая в-в-вода. В следующий раз, когда будешь на Совете, спроси у них там, — проворчал Тягл и скрылся в темноте, выдав напоследок фейерверк брызг, рассыпавшийся зелёными искрами в свете луны.

— Спрошу, — ответил вдогонку старик, перекатывая тело к входу в мир грёз. — В следующий раз...

Нет ничего труднее, чем смотреть на радость и упоение других, оставаясь в тени скуки и раболепного презрения. Фантщик Бро служил в храме наслаждений с первого взросления каждые две луны через две. Множество именитых морфоидов прокатывались перед зырами Бро, метая уничтожающие взгляды при входе и сверкая безумством по возвращении из эйфории. Рыбо-бароны вели себя проще: молча вплывали и так же молча удалялись, иногда бросая фантщику за молчание пару звонких искромётов.

Бро никогда никому не рассказывал, что видел в Фантазиуме. А видел он всякое: обкуренные посетители несли фантачушь, приправляя историями из реальности. Выкладывая тайны, за которыми спрятано грязи больше, чем на дне нечищенных каналов. Бро ни перед кем не хвастался и не скулил, как хибарские гавкалы. И не удивлялся появлению именитых морфоидов настоящего и прошлого. Поэтому, когда из входного жёлоба вывалилось тело экс-советника, фантщик равнодушно замер, ожидая изъяснения воли.

— Ароматный с полуотключем, — Жов окинул зырами свою линияю тряпию, оттолкнулся хватой и забросил тело на ложе. Сделал это легко, словно и не было позади прожитых лун, тяжких переживаний и бессонных времён.

Ароматный с полуотключем дым в последнее время приносил одни расстройства. Каждый старался вкусить за свои искромёты побольше эйфории, но не все выдерживали. Часто впадали в долгое забвение, и фантщику приходилось приводить их в чувство. Иногда ледяной водой, иногда шлепками или вонь травой. А экс-советник, несмотря на возраст, ни разу не терял рассудок и даже умудрялся вести философские беседы с фантщиком.

Бро шустро подкатил к ложу красный пузатый дымохлоп и протянул Жову гибкую трубку. Крепко сжав трубку, экс-советник выпустил воздух и втянул дым. Поток эйфоров ринулся в кровь, золотистыми шариками пронзая рыхлое тело старика. Кожа сморщилась и вновь распрямилась. Мозг заработал в бешеном темпе — вдвое, втрое, вдесятеро быстрее.

— Легко, — сладостно причмокнул экс-советник. — Летать!

С неожиданным для грузного тела проворством, старик поднялся с ложа и прошарил курильню взором.

— Вам хорошо, советник? — раболепно поинтересовался фантщик, нагоняя свежий воздух большим веером.

— Лучше, чем тебе, — голос Жова приобрел уверенность, зазвучав твёрдыми нотками, как в былые времена.

Бро хотел тихонько удалиться, оставив курильщика наедине с эйфорией, но посетитель крепко стиснул тряпию фантщика.

— Скажи, о чём мечтаешь, пока тебя не отправили в Общую плазму?

Бро от страха сжался. Полупрозрачное тело фантщика затряслось, словно от ледяной воды.

— Я ... я ... я не знаю. А зачем в плазму? Сейчас в плазму? Мне ещё рано, я ещё должен завести роженицу и воспитать отпрысков. Не хочу в плазму!

Жов беззвучно затрясся от хохота, давая понять, что лишь пошутил, но фантщика не выпустил.

— Приблизься, что-то скажу, — прошипел старик, позыркав по сторонам, хотя Фантазиум в этот вечер пустовал.

Бро придвинулся, ожидая новой шутки-издевательства.

— Ты хотел бы иметь не одну, а много рожениц? Чтобы они ласкали твоё тело, когда возникнет желание. Чтобы рожали отпрысков, а те росли и с благоговением произносили твоё имя. Хотел бы? — хитро спросил старик.

Зыры экс-советника сверлили слабый разум простофили, непривычного к таким каверзным вопросам и не помышлявшего о собственном благе. Никогда не знавшего роскоши и сладких утех.

Бро всхлипнул — скорее от испуга, чем по разумению. А старик вновь рассмеялся. На этот раз во весь голос.

— Что ж, — Жов ещё крепче сжал тряпию фантщика, — будь по-твоему.

Экс-советник проворно выхватил из-под тряпики пузырь с иголкой и воткнул в тело Бро.

Ужас сковал фантщика — пришёл его черёд влиться в Общую плазму. Вся жизнь, словно молния, пронеслась перед туманным взором. Сейчас он перестанет видеть, слышать и чувствовать. Вечная тьма опустится и поглотит жалкое тело — старик убил его!

— За что? — прошептал Бро.

Жов отпустил фантщика, вдохнул ещё дыма, продолжая внимательно следить за подопытным.

Бро прополз по гладкому полу, шумно выдохнул и замер. Словно испустил последний дух.

— Не может быть, — пробормотал Жов. — Не может быть, чтобы Тягл обманул. Или это не оно?

Будто в ответ, под тряпией Бро что-то зашевелилось, ткань вздулась, хрустнула и наружу вылезла вторая хватата. Короткая, нежно-розовая, словно у младенца.

— Поднимайся! — приказал экс-советник. — Эй, ты, фантщик, поднимайся!

Старик вновь затянулся дымом. Сполз с ложа и, раскачиваясь из стороны в сторону, приблизился к лежащему.

Бро открыл зыры, заморгал и неожиданно резво оттолкнулся от пола обеими конечностями. Результат превзошёл все ожидания: тело подлетело вверх и опустилось на ложе.

— Хорошо! Ты уже начал осваивать своё новое приобретение, — захихикал старец.

— Я, меня... Я урод, — проскулил Бро. — А уродов отправляют в Общую плазму.

— Отправляют, — Жов жестом указал фантзику освободить ложе. — И, если не будешь слушаться меня, тоже разбавишь своим телом великую питательную ванну морфоидного мира.

— Не хочу, не хочу, не хочу! — фантщик вновь оттолкнулся обеими хвататами и шмякнулся на скользкий пол в углу.

— Хорошо, что не хочешь, — старик вернулся на ложе и втянул сладкий дым. — Раз не хочешь, то будешь делать всё в точности, как я скажу. А теперь слушай внимательно. Слушай и запоминай, жалкое многоклеточное ...

4

К Главной трепальне быстро стекались толпы. С одной стороны накатывалась волна рожениц, с другой — не менее плотные ряды трудовиков. У трепальни удобно устроились советники в алых тряпях. Рядом мрачно-фиолетовые ловцы, серые кучки подсказывателей. Чуть позади зеленели тряпии подавальщиков. Рыбо-бароны и крепкохваты в этот раз не явились, сославшись на занятость. И лишь один рыб нетерпеливо рассекал тёмную воду канала — доставивший экс-советника Тягл.

Сам Жов неспешно перекачивал тело к трепальне, взмахом хвататы отвечая на приветствия советников.

— Спасибо, что откликнулись, — Заседай благодарно зыркнул на старика. — Надеюсь, мы найдём взаимопонимание. А чтобы поднять настроение, сообщу приятную новость: Совет выделил вам карточник на дополнительную порцию пищеплазмы.

Старик изо всех сил изобразил радость, удовлетворённо чавкнув.

— Очень благодарен Совету.

Жов взобрался на возвышение и теперь мог обозревать всю площадь. Его зыры просматривали толпу, отыскивая того, кто сегодня должен стать его звёздной фишкой в слишком затянувшейся игре с Советом.

Толпа загудела, зашевелилась. Волны недовольства прокатились вдоль площади, добравшись до слуха советников.

— Когда у нас будут нормальные отпрыски? Почему у нас так мало отпрысков? Что вы делаете для этого? — завывали роженицы.

Следом за роженицами подали голос трудовики. Неразборчиво, хрипло, вперемешку с ругательствами.

Заседай скривился и метнул взгляд на Жова. Но старик, словно забыл обо всём. Уперев взор в трибуну, Жов застыл, будто превратился в статую. Потом вдруг закашлялся и стал растирать хватой тело.

— Помогите, — распорядился советник.

Подавальщики быстро окружили старика, принявшись усердно массировать брэнную плоть.

— Быстрее! — Заседай начал терять терпение, поглядывая на всё сгущающуюся толпу.

Жов перестал кашлять и жестом отогнал ненужную помощь. На этот раз острый взор экс-советника выхватил в толпе маленького морфоида. Невзрачного, завернувшегося в полинявшую серую тряпию, зыркающего по сторонам.

— Слушайте меня! — Жов поднял хвату, и гомон разом стих.

Старик внутренне ухмыльнулся: даже сейчас у него влияния на толпу больше, чем у кучки этих разукрашенных толстых словозвонов, кидающих жалкие подачки.

— У меня есть то, что вам нужно. У меня есть то, что вы хотите! — прокричал бывший советник, и толпа разом взревела.

— Что он несёт? — недоумённо пробурчал Заседай, стоя чуть в стороне.

И тут же сам ответил:

— Впрочем, не важно. Главное, чтобы поверили сладким обещаниям. А потом, чуть позже, подкинем им чего-нибудь вкусенького из пещеплазмы, и всё вернётся на круги своя.

— Жов! Жов! Жов! — скандировала толпа.

Экс-советник махал хватой, не спуская взора с фантщика.

— Мы вместе! — прокричал старик, разом помолодев лун на пятьдесят.

— Жов! Жов! Жов! — крик толпы достиг такой силы, что советники спустились с трепальника чуть ниже, боясь оглохнуть.

— Жов! Жов! Жов! — орала вместе роженицы и трудовики.

— Вот тот, кто решит все ваши проблемы. Тот, кто укажет вам путь в светлое будущее! — экс-советник вытянул хвату, направив на сжавшегося в комок фантщика.

Толпа рожениц обступила Бро.

— Кто это?

— Сорвите с него тряпию, — приказал Жов, искоса метнув взгляд на стоящих чуть поодаль советников.

Роженицы стащили с опирающегося Бро одежду и в ужасе отшатнулись:

— Урод? Это урод!

Бро закрыл зыры хватами.

— Урод! Урод! Урод! — взвизгнули роженицы.

Убить урода! Убить урода! Убить урода! — захрипели трудовики, плотным строем оттесняя рожениц.

— Н-е-е-т! — собрав остатки сил, взревел экс-советник.

— Ваша главная проблема в том, что у вас нет второй хваты! — крикнул Жов, помахав конечностью. — Понимаете? Если их будет две, вы сможете зарабатывать искромётов в два, в четыре раза больше. Вы станете сильнее, быстрее и ваши отпрыски будут такими же. Но Совету Пищеплазмы это не нужно. Они боятся, что у вас появится вторая хватка!

— Взять обоих! — заорал Заседай, указав на Бро и Жова. — Немедленно! Взять и отправить в Общую плазму!

Но было слишком поздно. Толпа рожениц подхватила и бережно подняла фантщика, а трудовики плотным кольцом окружили трепальню.

— Растопчите, раздавите их здесь и сейчас! — бесновался Заседай, хлеща себя конечностью.

Подготовившие сеть ловцы растерялись: они умели догонять и ловить, а давить их никто не учил. Подсказыватели и подавальщики, понимая, что всё в этом мире меняется, и многое меняется прямо сейчас, заметались со стороны в сторону, не решаясь на осознанное действие.

— Вперёд! — захрипели трудовики, вперемешку с роженицами навалившись на святуя святых власти.

Хлипкие борта захрустели, треснули и развалились на куски. Озверевшая толпа ворвалась в трепальню, безжалостно подминала под себя ловцов, подсказывателей, подавальщиков и не успевших удрать со-

ветников. Идущие следом роженицы, прыгали по радужным лужам плазмы, удовлетворённо причмокивая жевальниками. А над всем гудящим, ревушим морфоидным роём возвышался Жов, успевший завернуться в брошенную кем-то из советников алую тряпию.

Старик беззвучно хихикал, предвкушая глобальные перемены в затупевшем обществе. Отныне Он будет направлять толпы. Вместе с властью Он получит Фантазиум в неограниченное пользование. И в любое время у Него будут ласкательницы, сколько пожелает. Теперь Он ...

— Чистая в-в-вода, — пробулькал сзади знакомый голос. — Ты обещал.

Экс-советник обернулся и насмешливо окинул зырами рыба-перевозчика. Расстояние от трепальни до канала слишком велико, чтобы Тягл достал хвостом, а прыгать по суше рыбы так и не научились.

— Сейчас не до тебя: видишь же, что творится?

— Ты меня обманул. В-в-вы в-в-все в-в-врётё. До нас никому нет никакого дела.

Чёрный плавник Тягла при каждом слове вздрагивал. Булькающую речь перевозчика накрыл мрак обиды на экс-советника, на свою жизнь и на так опротивевшую грязную работу.

— Ты прав, — хихикнул Жов. — Нам, морфоидам, на вас глубоко нахаркать!

Экс-советник громко чмокнул жевальником, брезгливо сморщился и отвернулся.

Тягл сочно плюнул:

— Я приберёг на этот случай.

Что-то кольнуло сзади, по телу экс-советника заструился противный холодок, медленно-медленно стала доходить реплика рыба. Жов протянул хвату и, к своему ужасу, нашарил торчащий впрыскиватель.

— Зачем, — хотел закричать экс-советник, но лишь прохрипел. Рыхлое старческое тело сковал паралич, Жов упал. Алая тряпича вздулась, захрустела, и наружу вылезла розовая конечность.

— Ещё один? — роженицы вмиг узрели чудное превращение морфоида.

— Я слишком стар, я не тот, кто вам нужен! — взвыл пришедший в себя Жов, отбиваясь обеими конечностями.

Но толпа не слушала. Толпе не были нужны объяснения и оправдания. Толпа нуждалась в лидере, и Жов подходил как нельзя лучше. Живой поток подхватил, поднял и стремительно понёс экс-советника. А зелёная луна лишь хитро подмигнула из-за туч, провозжая избранника толп.

И когда площадь опустела, когда ветер унёс остатки вони, а надвигающийся ливень приготвился смыть грязь и позор власти, из-под обломков трепальни показалась исцарапанная хватая. Наружу выбрался грязный в изорванной тряпици Заседаи.

— Где чистая в-в-вода? — пробульткал сзади голос из канала.

Морфоид вздрогнул и неуклюже повернулся: его взгляд встретился со жгуче-жёлтыми зырами рыба.

— Я, я, я не знаю. Я не могу. У меня ничего нет! Ты не ...

Сочный плевок прервал жалкий трёп. Мутно-зелёный впрыскиватель вонзился в упитанное тело, распахивая двери в новую эру. Где царит всеобщая радость и равноправие. Где не будет чёрной канальной воды, не будет вони, и не будет места морфоидным созданиям, у которых ещё не выросла вторая хватая.

Рустам Мавлиханов

г.Салават, Башкортостан

АНГЕЛ FM

Пробка начиналась от Мухинской больницы. Хотел сказать: «Эх, что же раньше не выехали!» — но вовремя спохватился. Произнёс:

— Ничего, успеем. Солнце ещё высоко!

Сейчас сверну вправо, на Свободный, оттуда выеду на Носовихинское шоссе и — огородами, огородами — выскочу на бетонку. Пару часов сэкономлю. Успеем. А если припозднимся — погуляем по Нижнему, покочуем по барам на Рождественской, заглянем в гулкие зёвы подворотен, посидим у стен кремля — отель рядом забронировал. А на могилки уже с утра — традиция. Радуница.

— Солнце? — позвал я, озадачившись молчанием: обратиться «луна моя» не поворачивался язык.

Солнце сидело, задумавшись. Тёплый апрельский ветерок залетал в приоткрытое окно, распрямляя локоны, — они у неё кудрявятся после душа. По-восточному зелёные глаза, к ним — обручальное кольцо с изумрудом. Сказали, что натуральный, но кто их знает? Кулон с кошачьим глазом — этот-то точно искусственный: два километра китайского оптоволокна, намотанных в переливающийся шарик, — но других



не водится в магазинах. Она с ним не расставалась: первый подарок, ещё из тех времён, когда было много нужды и много надежд. Тонкие пальцы покоятся на бежевых складках плаща. Наша песня играет: «По весеннему Арбату ты идёшь», — не помню чья, и познакомились мы не на Арбате, а на Никитском. Он тогда ещё не был в брусчатке, воробьи купались в каменной крошке и пыли — такой же ласковый день обещал кончиться дождём.

— Помнишь?

Солнце отсутствующе улыбнулось и переключило волну радио. Белый шум заполнил салон.

**

Конечно, я помнила. В то утро поставила печать на практику. В музее искусства народов Азии. Вышла на бульвар — ура, свобода! Почки распухали, терпко тянуло каким-то запахом... берёз? Прошлогодних лип? Ещё подумала: надо было взять зонтик. Ноги сами понесли — не знаю куда. Догадалась: кажется, сейчас сверну на Малую Бронную. Нравится мне эта узкая улочка — уютная. На узких улочках в этом городе тихо. А она вынесет... ну да, на Патриарший, куда же ещё! И тут, как далёкий гром, услышала банальное: «Девушка!»

На принца он не был похож, ключи от белого коня в руках не крутил. Высокий, в меру нелепый... голос глубокий, парфюм — аккуратный, не назойливый. Я не обернулась бы, но — накатило дежавю. А не доверять этому чувству я уже боялась.

К тому же за его напускной весёлостью читалось одиночество — то, которое нужно искать в больших городах.

*

Мы тогда прогуляли весь день, до вечера. Ели турбинки, мороженое. У меня уже заканчивался запас анекдотов и прибауток, но как нельзя кстати с неба ливануло. Отдал ей куртку — не отстранилась. Нашли открытый дворик у Арбата, грелись джином с тоником. Хоть у неё в тонике почти не было джина, но разговорилась: прям сияла, когда рассказывала о наших путешественниках в Индокитае, о скульптурах Анкер... Ангор... короче, какого-то города то ли в Тае, то ли в Бирме. Даже скинула туфли, забралась на скамейку. Расслабилась...

**

Да, тревога от дежавю отступила: всё хорошо, и вороны тройками не летали. Ноги устали от каблуков, но я держалась. Его голос успокаивает

вал. Говорил глупости, но успокаивал. Правда, один раз удивил. Мы сидели у Спаса на Песках, он показал на Дом Щепочкиной — его колоннада виднелась у сквера. «Вот, посольство несуществующего государства». «Такие бывают?» — не поверила я. Оказалось, сомалийское. Потом начал пересказывать боевик про упавший американский вертолёт. Увлекательно... Осторожно приобнял меня — решился, наконец. Рука была горячей. Захотелось почувствовать её на затылке. Закрыть глаза. Стечь.

Но он коснулся шрама на шее. И меня чуть не охватила паника: как же я забылась, почему развязала кашне?! Отдёрнулась.

Тогда я не понял, что это было. Поторопил события? Ляпнул что-то не то? Только потом узнал — увидел эти шрамы от ожогов: слева на шее — Марина никогда не носила короткую стрижку, — вдоль позвоночника, на рёбрах. Они белели, когда она волновалась. Как сейчас.

— Ты хочешь поехать направо, через Новокосино? — спросила. Ладонь еле заметно дрогнула, зрачки расширились.

— Да. Налево уже не повернём. Что-то случилось?

— Ещё нет... Там же развязка — она как крест, над погостом?

Заглянул в навигатор.

— Да. Перовское кладбище отмечено. Ты что-то услышала?

— Да.

— По своему радио?

— Да.

— Сказать можешь?

— Пасха мёртвых... — промолвила она после паузы. — Они там молятся... Остановись, пожалуйста.

Я послушался жену — научился доверять за неполные двадцать лет... нет, не ей — её предчувствиям; свернул в переулок, припарковался. Вывел, чуть не насильно, из машины:

— Пойдём, тут пруд есть.

Не ахти какой — лужа лужей, в которой отражается кирпичная многоэтажка. Но хоть какая-то вода — та, что гасит огонь. Отвернувшись, чтобы не увидела пламя, закурил.

Через две сигареты к больнице промчались несколько скорых.

— Всё? — спросил я.

— Да. Можем ехать.

Вернулись, настроил радио. «На четвёртом километре МКАД, на пересечении с Носовихинским шоссе, произошла крупная авария, — бод-

ро говорил голос диктора. — По предварительным данным, бензовоз не справился с управлением и упал с путепровода. Имеются пострадавшие».

**

Мне тогда стало неловко за свою реакцию. Даже стыдно. Чтобы загладить вину, чмокнула его в щёку. Стало ещё хуже. Разозлилась — на себя, но больше — на свой стыд.

Он проводил до метро — дальше я не разрешила. А ночью поняла, что, кажется, влюбляюсь.

Так и вышло. День за днём, капля за каплей он становился стройнее, надёжнее, умнее. Даже стал отличать Шиву от Вишну и Сунь-цзы от Лао-цзы. И я — Пеле от Марадоны и каре от флеш-рояля. Ездили на пикники, училась играть на гитаре. Через год пела Янку и Бутусова, завалила сессию, ушла на заочку. Я была счастлива. Большинству женщин свойственно жить в тревоге, но тогда — я была свободна. От своих страхов.

Он познакомил меня с друзьями. За острый язык они называли меня язвой. Спрашивали, не Скорпион ли я по гороскопу, отвечала — змея. Шутили: «Кобра или удав на стекловате?» Посчитать годы не пытались. Иначе сообразили бы, что для универа я не вышла возрастом.

Хотя в восемьдесят девятом, в год Змеи, я родилась второй раз.

*

Я увлёкся... Да какой там — втюрился! Чтобы соответствовать ей, засел на форумах, откуда меня послали — спасибо, что не в бан, а в библиотеку. Ребята подкинули тему, извернулся, дела пошли в гору — наверное, чтобы прийти к успеху, и правда нужна женщина за спиной. Конечно, поступи я в МГИМО, был бы богаче... Но встретил бы тогда её? В общем, и так нормально — ветер в кармане не свищет.

На новогодние взял тур — на Пхукет. Пусть, думаю, увидит своих будд, порадует. Уже собрались, упаковали чемоданы, до самолёта три часа, на кухне по радио Земфира тянет «Я и мачо», Марина вышла проверить, всё ли выключено, — и тут с ней случилась истерика. Вернулась в спальню, лица нет:

— Я не поеду. И тебя не пущу.

— Что? Почему?

— Не спрашивай ничего, Олеженька. — В глазах не тревога — ужас. Подбежала, стала торопливо раздевать, отрывая пуговицы: —

Прошу, давай останемся дома, хочешь меня, давай займёмся сексом, будем просто лежать, смотреть киношки, как в июле...

— В каком ещё июле? — Взял её за плечи, встряхнул. — Что с тобой, можешь объяснить нормально?

— Ну в июле, помнишь, мы на «Рок-крылья» не пошли, я тебя в постель уложила. — Заломила руки, губы дрожат. — Пожалуйста, — шепчет.

Принёс воды. Сказал со всей твёрдостью в голосе, чуть не по слогам:

— Всё. Будет. Хорошо. Выпей — и поехали. Опоздаем.

Сверкнула глазами — зло, волчьи, — схватила билеты, порвала. Путёвки с паспортами еле успел вырвать. Тогда кинулась к двери, встала. Смотрит затравленно.

— Хочешь — бей. Но не пущу.

Я опешил. Как ножом саданули в живот.

— Мне? Тебя? Бить?

Психанул. Поехал к пацанам, забухал. Праздники как в тумане: бары, дачи, сауны, девки. Одна из них нашла в кармане рекламу отеля в Тае:

— Ого! Клёвое место!

Игорёк посмотрел:

— А ты везунчик, бро! Туда, что ли, собирался?

— Ну!

— Точно везунчик. Смело твой отель. Начисто.

— Как — смело? — не понял я.

— Цунами там было. Новости совсем не смотришь? А, ну да, ты же в штопоре...

**

Как Новый год встретишь, так и проведёшь? Не знаю. Купила мандаринов, бродила полночи, раздавала встречным детям. Душила слёзы. Январь был удивительно снежным. Весна — с запахом пыли. Лето — жарким и дождливым. Я поехала автостопом. В сторону «дома». Никогда не знала, где он. Но почему-то казалось, что там, за Уралом.

Всю дорогу хотелось поделиться с ним: «Смотри, Хельг, какие красивые холмы. Какой ветер! Какое небо...» Да, всё могло бы сложиться иначе, если б не эти ужасные... но что уж теперь поделать — я приехала на «Ильменку», достала гитару и стала петь. Там и познакомилась с Женькой. Поляну накрыл ливень — не такой, как девять лет спустя, в четырнадцатом, но всё же. Под соснами прятаться было бесполезно —

с них лило ручьями. Согнулась, спасала гитару. И тут услышала из па-латки:

— Эй, гирла! Нырйяй сюда!

Потом сушили спальные, выжимали вещи. Смеясь, отшивали по-мощников.

— Женя, — представилась она. — Женя Брр.

— Брр? — переспросила я. — Это ник такой?

— Ага! Тебе разве не брр? Сейчас согреемся! — подмигнула она и махнула дредами. Крикнула на весь бор: — Эй, пипл! Где манюня ходит?

Нас позвали к костру. Кружка шла по кругу, я подбирала аккорды на слух, Женька подыгрывала на маракасах. К утру в моём блокнотике была куча вписок — от Новосиба до Минска.

Потом мы двинули на «Грушу», оттуда — на «Радугу». По дороге заскочили в Златоуст, погуляли по трамвайным рельсам. Под Ашой уго-ворила подругу свернуть на Змеиную горку. Трасса была пустая, мо-рось шелестела по дождевикам. Пришли на место. Пахло креазотом.

— И что тут? — оглянулась она в недоумении.

— Мой дом. Меня тут нашли.

— Где — тут? В лесу? На шпалах?

— Где-то тут. Здесь два поезда взорвались в восемьдесят девятом. Меня спасли. Родители не нашлись. Наверное, сгорели. А может, я бы-ла с бабушкой. Или уже была сиротой. Не помню. Только то, как люди вспыхивали. Как зажигалки. Вот бежит и — синее пламя. И всё. Потом — больница. Боль. Оживать — это больно. Детдом. Когда получала паспорт, воспитательница сказала, что мы, возможно, ехали без биле-тов, что в списках пассажиров никого, похожей на меня, не было, а по-тому год рождения мне поставили на глазок — восемьдесят шестой. А день рожденья — вон, — я кивнула на памятник.

— Ну, блин... Ну ты даёшь, Марин! — Женя скинула рюкзак и села на рельс.

— Сима. Меня записали Серафимой. Нянечка была набожной, на-стояла на этом имени. А Мариной я стала потом, в паспорте.

— Почему?

— Потому что серафим — огнекрылый. А Марина — это море.

Я спустилась с насыпи, нарвала одуванчиков. Разложила по паре.

— Пойдём. Больше мне делать тут нечего.

— Ты нормально?

— Я? Я никак.

Перед Колокшей стоял стопщик, весь в оранжевом и с фликерами, активно делал пассы руками. Марина в ответ подняла два пальца вверх — на их языке то ли «победа», то ли «мир».

— Взять? — спросил я.

— Не надо. Ему направо, он хочет обойти Владимир по новой объездной. Там и безопасней будет.

— Ты это всё поняла из жестов за десять секунд?!

— Ну да, — пожала она плечами: очевидно же. — Да и слишком навороченный он. Весь на шарнирах.

— Но ты пожелала ему удачи...

— Мне не трудно, а ему — надежда: его видят, ему отвечают.

Пообедали во Владимире, на Суздальском перекрёстке. По телевизору — неприятные новости. Паршивые новости. Кто-то громко попросил переключить. Буфетчица стала щёлкать — несколько каналов попались пустые, с серым шумом. Наконец, нашёлся музыкальный.

Я взглянул на жену. Она сидела бледнее своих шрамов, не поднимая глаз от тарелки и насилуя вилкой рыбу в остатках макарон. Такой я её ещё не видел. За двадцать лет.

Чёрт, как я устал от этих её предчувствий!

— Заедем к Покрову? — попросила. Глухо, как из-под груза вины просят прощения.

Я взглянул на часы:

— Хорошо.

**

Под Уфой мы заночевали в мотеле — вписал один дядька. Рассказывал, как в девяностые ушёл пешком, бросив всё, из Казахстана. Утром никуда не отпускал, пока не посадил сам на фуру, идущую до Самары. На «Груше» нас чуть-чуть обокрали. Стащили мой пояс и новый спальник. На выезде с поляны застопили местных журналистов. Пока поднимались по серпантину, Женька им пожаловалась — они отсыпали продуктов: не хотим, сказали, чтобы у вас плохие впечатления о нашем крае остались. Под Нижним Ломово взял мужик. Кормил всю дорогу сникерсами и спрайтом, топил под сто восемьдесят и через каждые километры сто пропускал по стопке: ночью получил телеграмму, что в Брянске скончалась мать. Где-то под Рязанью спросил дорогу у гаишников — те даже не пытались его остановить.

— Видишь: бог дорог хранит своих, — прокомментировала Женя. Сжала мне руку, протянула полупросительно: — Бояться не ну-ужно.

Я ответила ей под Яжелбицами, за Валдаем. Вечерело, машины текли рекой, спешить было некуда.

— Знаешь, Бог, я верю, что ты в том КамАЗе, за горой. Ты летишь за мной, вдавив педаль в пол. Я тут. Я живу. Среди живых. Я — часть всего, что есть.

Подруга странно посмотрела на меня:

— Слушай, а ты точно человек? Может, тебя феи подкинули или лешие? Там, на перегоне...

— Не знаю, — улыбнулась я.

После «Эльбы» зависли в Питере, в деревне художников на Озерках. У Марии — она шила накидки из лоскутков. С мужем. Своего Олега я почти не вспоминала. Хозяйка как-то спросила:

— Ты что на завтрак будешь? Булгур или макароны?

— Макароны. Я к ним привыкла в детстве.

— Точно? Ну, макароны так макароны.

Днём аскали у Казанского: Женя пела «Аргентину — Ямайку», я — ходила с шляпой по слушателям. Потом менялись. Однажды ассистировали бомжу, бывшему хирургу: он вырезал фурункулы у панка. С анестезией из стакана водки. Вечером гуляли с собакой — до Шуваловского кладбища. Весело было. Непросто, но... правильно.

Небо становилось всё более звёздным — август. Подруга звала перезимовать к себе, в Киев — я отказалась: учёба. Киев никуда не убежит, сказала, увижу ещё. Проводила её до Орши и повернула на Москву.

Женька погибла через три года, в две тысячи восьмом. Поехала на Алтай и пропала без вести. Но о таком по радио не говорят.

Похоронили её только в двенадцатом.

*

Выйдя из штопора, я оказался в ненавистном городе: в груди саднило от одних названий наших с Мариной мест — Арбат, Варшавка, Никитский, Страстной. Даже от Сомали и искусства Востока. Чтобы забыть, нашёл вакансию подальше от Москвы и стал работать как вол, по пятнадцать часов в день. Спустя пару зим меня отпустило.

Я вернулся, снял номер в «Балчуге», позвонил ей. Думал, откажется, но нет — встретились. Девушка на ресепшене «понимающе» стрельнула глазами: богатый клиент привёл какую-то хиппушку — разноцветные пряди волос, выбритые виски. Оставляю без чаевых.

После — лежали, курили. Красное вино таяло в красном свете торшера.

— Мы высоко от земли, — сказала она, глядя в черноту за окном. — И ещё дальше от неба.

— Поехали со мной, — предложил я.

— Я тигрица. Тебе нельзя со мной.

Затушил сигарету, измочалив её до фильтра.

— Почему? Дорога — твой дом, и для любви это не место?!

— Нет, всё проще. Окини-сан у Пикуля говорила: женщина-тора — рождённая в год Тигра — приносит несчастья своим мужчинам. — Марина коротко улыбнулась: вот так, и с этим ничего не поделаешь.

— Ты не могла успеть принести несчастья многим. А счастье...

Она нырнула в кровать плавным, кошачьим движением — и куда делась та храбрящаяся девчонка с вечно испуганными глазами? Накрыла губы поцелуем:

— Тсс!

— Если ты крадущийся тигр, то я — дракон. Летящий.

— Затаившийся. Летящие — это кинжалы.

— М?

— Не думай!

**

Я бы не приехала. Но в тот год сняла комнату на Симферопольском бульваре. И однажды в обычной пластине-двенадцатиэтажке обнаружила сомалийское посольство. Стала ждать. Через полгода он написал на почту: «Если этот ящик ещё живой, ответь». Днём съездила в отель, оставила администратору телефон на купюре. Вечером он позвонил.

В номере пахло табаком и розами, сквозь которые пробивался тот, забытый запах апрельского — его — парфюма. Тогда я поняла: сдамся. Поиграю немного в обиду — и сдамся.

А под утро мы стояли у окна — тени расползались по своим углам, внизу шелестели «поливайки» — и я ему всё рассказала. И про то, как меня нашли, и как слышу выпуски новостей в белом шуме — за несколько минут до того, как они прозвучат в эфире, или за несколько часов, если жертв под сотню и больше. И про июль, когда не пустила его на «Рок-крылья».

— Может, мне следует сообщать? Я устала от этого... «дара».

— Кому?! Не сходи с ума! Тебе не поверят и закроют — будешь доказывать, что не верблюд. А если поверят — тем более закроют: радио круглые сутки слушать.

У меня всё оборвалось: значит, так и нести это до конца. Неделимое, неотвратимое. Я умирала. Я ответила:

— Хорошо...

Он словно услышал меня — ту, которая глубоко внутри, которая безмолвно вопит от ужаса.

— Я всегда буду рядом.

*

Она ответила «да», принимая кольцо. В апреле, в сквере за Арбатом — и свидетелем был памятник Пушкину. На медовый месяц мы полетели в Гоа — на этот раз благополучно: самолёт падать не собирался, больших взрывов не предвиделось. Я не знаю, оставил ли её страх, но, выйдя из пещер Аджанты, она сияла — задумчиво и загадочно.

Сделал ли я её счастливой? Не знаю. Но, в отличие от соседей, у нас был один телевизор на двоих — и не было по собаке на каждого. И встречались мы не только за ужином.

**

Сделала ли я его счастливым? Нет, не думаю. Может, мудрее... Он хотел ребёнка, но я слышала — где-то вдали, в будущем, в затаившейся тишине — сирены. Много сирен и бесконечный колокольный звон. По нам.

Стала ли счастлива я? Пожалуй. Если джин своего одиночества можно растворить в тонике близкого человека — это ли не счастье?

Она вышла из церкви, обошла её по кругу, не отрывая ладони от стены, на Нерли покормила уток. Всю обратную дорогу через луг оглядывалась, словно прощаясь, задержалась на переходе через железную дорогу, долго смотрела. Сроду не крестилась на людях, но тут — переборола стыдливость. Спустилась к пруду, в котором отражался монастырь, присела под ивой, погладила воду. Слезы, которые она смахивала с ресниц, были бы похожи на слёзы радости, если бы не...

— Там есть башня с лестницей, под которой убили Андрея Боголюбского, — сказала она, умываясь. — Его последними словами были: «В руки Твои предаю...» Впрочем, это уже не важно.

— Малыш... Мы столько раз разминулись со смертью... Всё будет хорошо, — произнёс я. Не по слогам, одной фразой, понизив тон в конце — до выдоха.

— Я знаю, — Марина вложила ладони в мои. — Поедем. У нас ещё достаточно времени.

До Нижнего долетели стрелой. Взяли коньяк, поднялись на гору, бросили машину на верхнем ярусе набережной и пошли на пешеходный мост.

Навий день догорает — багровое солнце садится, утопая в дыму ранних лесных пожаров. С Волги дует пронизывающий, холодный ветер.

Делают по глотку. Олег разламывает шоколад.

— Не спрашиваешь. Спасибо. Мне нечего сказать. — Не оборачивается: впитывает кожей последние лучи. — Я ничего не слышала. Со всем ничего. Чистый белый шум. Только... я не уверена... как будто гудел большой колокол — вот как этот ветер, но с медным призвуком... и на мгновение прорвался далёкий голос. Или мне показалось.

— Что он говорил?

— «Есть кто живой? Кто-нибудь, отзовитесь»...

Он ставит бутылку на перила. Осторожно отнимает руку.

— Их будут сотни?

Усмехается.

— Тысячи?

Порыв ветра.

— Больше?

Молчит.

— Все?!

— Не знаю. Наверное. И я никогда ничего не услышу.

— Ты так безразлично об этом говоришь...

Короткий взгляд на мужа: желваки играют, кулаки сжаты. С трудом сдерживает бешенство — на них. За двадцать лет она познала его. И себя — его глазами.

— Милый... Бояться не ну-ужно. И злиться надо было раньше. А теперь — время ждать. Другого нам не оставили.

Он глядит за реку: жёлтый собор на Стрелке, огни города, мглистые сумерки...

— Прилетит вон туда. Там самые «вкусные» заводы. А мы стоим к ним лицом... Гореть — больно?

— Очень больно. Когда до тебя доходит, что ты горишь.

— Но если сразу вспыхнуть зажигалкой — можно не успеть ничего почувствовать...

— Я очень на это надеюсь.

— А ты отчаянная...

— С кем поведёшься... Кто в бунгало в Камбодже скорпионов голыми руками ловил?

— Вспомнила же!.. Успеем допить? Хороший коньячок, жаль, если пропадёт зря. Хотя о чём я? И так пропадёт.

Разливает по металлическим рюмочкам. Чокаются.

— Прости меня за всё.

— Давно простил. «Всегда» — простил.

Выдыхают. Она поворачивается к нему. Глаза озорные.

Он смотрит вопросительно. Ждёт.

— Мужчина! Вы меня хотите?

— Сейчас? Здесь?

— Всегда. Ты только что сказал: «всегда».

— И везде. До края света.

— Сколько раз ты слышал от меня «я тебя люблю»?

— Ну... пару десятков. А что? — он подхватывает игру.

— Я только сейчас поняла: я всегда тебя любила. И всюду.

— Я знаю.

Доволен ли ты, Бог? Вот они, два праведника — Ты их ждал? Они закроют собой смерть этого города. И они не умрут — никогда, никогда, — пока им — в плеске реки, в гудках пароходов, в беге ветра по оврагу, в колыхании трав, в шелесте шин по мосту — слышится: «Жизнь. Жизнь».

СТИХИ

Дмитрий Аникин

Москва

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОД

1

Ах, педрилья-камарилья,
ели-пили изобилье,
всё дожрали до конца,
нет на острове мясца,



лязгает костями Россия,
ждет, чтоб, раж и пьян, мессия,
недр жилец, надежд стервец,
положил стране конец.

Долго ждать его не надо,
он приходит, мрака чадо,
страховиден и велик;
заплетается язык.
Что ж он делает? Врачует
язвы, он на воду дует,
чтобы мертвая живой
стала, нас омыв собой!

2

«Друг» нужен был. Не он, так кто другой
нашелся бы династию позорить,
скандал ходячий.

Но свои резоны
у Господа — вернуть себе Россию.

И грязный шут, похабник получает
дар исцеленья, учится предвидеть,
готовится на смертную борьбу
с самой землей и временем...

А кто

еще за дело правое?

Лукав
дух времени! Страшна земля! Война
бессмысленна — как прекратить ее!

3

Распутин

Время разбрасывать камни. Время настало России
прочь разбросаться по миру людьми, кто успеет — спасется.
Бездны откроются тут. Синеватым холодным сияньем
трупы подернутся, в беглом увидимся трепетном свете!

Время разбрасывать камни. Я, пальцы кровава, таскаю
камни обратно и так составляю непрочно, недолго,

что Бог, взирая на это, приходит, бок о бок со мною
двигает глыбы, и вновь создается здание храма!

Время сильнее меня. И — сказать стыдно, страшно — сильнее
Бога. Строительство наше на сером песке, мертвом, зыбком!
Низок навис потолок над молящимся, давит, грозящий
рухнуть, — и лучше не строить нам дальше, нам выше, до неба!

4

Из тьмы лесов, болот трясины
пришел он с видом исполина;
крестьянской правды наглый вид
людей в салонах веселит,
а не язвит и не тревожит.
«В новейшем времени не может
еще сказаться наш народ —
без политических свобод!»

5

Он говорит, рассказывает им,
великосветским щеголям, их судьбы
недальние. Смешно, ей-богу! Списки
расстрельный, да утопленный, да беглый,
голодный...

6

Распутин

В час расстрельный
крест нательный
что есть сил к губам прижмешь,
веру темную поймешь!

Долгим голодом измучен,
уму-разуму научен,
проклянешь свою судьбу —
с самовластием борьбу!

Путь далекий, нищий путь,
из Царьграда в вовсе жуть-

глушь парижскую тугую;
труд погубит мысль живую!

Годы долгие терпеть
много худшую, чем смерть,
жизнь советскую. Сгубивший
душу, кукиш получивший!

7

Бредни русского Казота
людям слушать неохота,
хоть бы музыкой какой
заглушить! И — «Милый мой,

не томи меня, не мучай,
долго ль нам счастливый случай?..» —
слезно, томно тенорок,
но и в нем ведь тоже Рок

подло, пошло раздается,
словно музыка смеется,
вместо чтобы смертный страх
принимал недалний прах!

8

А никому не надо. Все уже
заранее, за гибель свою, смотрят,
в прекрасный новый мир... «Вот упраздним
Россию! Заживем на чистом месте!»

Земля устала: сколько ж мы на ней
построили... Ей тяжело дышать.
И реки ее в камень заковали.
Встряхнуться бы российским подлым бунтом.

9

Ходил по старой Руси,
святость свою носил

тот, кого, Господи, не спаси, —
столько у самого сил.

Скитался века Святогор,
дело себе искал,
с кем бы последний спор;
встречных стращал.

Только одна ему
ты ровень, сыра земля,
сил тьмущую тьму
хранишь, шевеля;

тянет в утробу твой
голод леса, поля;
весь русский род людской
готова сглотать земля.

10
Тягу земную
тянет-потянет,
если такую
бросить — не станет
власти и света,
русских и прочих:
мертвые лЕта,
почва лопочет,
голодом ноет,
с бременем плачет,
нас упокоит
взяв, не иначе!

Хочется людям
в землю родную,
в ней и остудим
зlobу лихую —
станет нам пухом,
станем в ней прахом!
Русским ли духом

веять над страхом!
Наша свобода —
долгое тленье,
чтобы народу
смерть в поколенья!

11

Как злобна и глупа. Как невозможна
и непотребна власть. Не подпускает
к себе тех, кто помочь, кто поддержать.
Коснешься ее — рук не ототрешь,
но только на нее одну надежда.
И ходишь такой в дегте, в правде весь...

12

Правит, лукавит, как лиса английская,
императрица всероссийская!

Хищет да рыщет, как псыня немецкая,
роженица полумертвецкая!

Рада, заходится смехом Хлыстовская
идолица протобесовская!

Шепчет, нашептывает шпионская
блудница-мать вавилонская!

13

Ты погляди, почти седая
царица наша, потрудилась
над ней Россия — полыхая,
казня, кляня, кладя немилость.
Трудясь, молясь, глаз не смыкая,
мать как-то смертно умудрилась.

14

Императрица

Опять всю ночь мне мертвые являлись.
Распутин
Как снятся они?

Императрица

На январский снег
всё валяются, всё валяются — пехота,
пошедшая на залп...

И смертный страх
от них идет.

И вижу я — несут
иконы, да не те, не Спасов лик,
а мальчик мой, а бедный Алексей
изображен.

15

Распутин

А за то тебе, мать, терпеть,
что широко смерть
раскинула крыла,
людей себе прибрала,
кто с верою-иконами
шел, с верностью-поклонами!

Чья тут была вина?
Виновата сама страна:
жандармы и попы,
русские и жида —
от народа разномастного
пострадала б династия!

А правы твои князя —
не стрелять нельзя,
распростер Враг
над толпой красный флаг;
среди плебса бушующего
нет у страны будущего!

16

Хор

Нас за верою
вел посланец сил,
несло серою
от разверстых крыл!

Убедить царя —
невозможное
дело, ухищря
слово Божие!
Убивали нас,
а за что про что?
Только пробил час
заплатить по сто
за убитого,
властью взятого!
Как мир — итога
за распятого!

17

Императрица

Что делать мне? Какие-то молитвы
ты знаешь, чтоб прогнать, чтобы простили
невинноубиенные меня,
невинно осужденную молвой,
и всю мою семью, страну, саму
Христову веру, что их привела
на площадь? Есть такие мне молитвы?
Распутин
Тут не молиться надо — делать дело,
чтоб жертвы не напрасны...

Императрица

Это как?

18

Распутин

Об одном прошу, молю, советую:
прекратите смерть, дуру, разодетую
в кресты, ордена-регалии, гоните!
В малости, трусости, убогости живите!

Сепаратный — ну и пусть, если остальные
тяготятся, неразумные, чтобы быть живые:
дышат газом, окопы роют, умирают;
славу и проклятия на себя сзывают!

19

Позорное спасение России!

Ну пусть и так... От Страшного суда
ушли, нашли лазейку. И теперь
конца не будет свету — теплый, тусклый,
лиётся, облакает нас в сиянье...
Все хорошо, спокойно, навсегда...

20

Хор

Учреди последний рай,
утверди среди земли,
в него русских допускай,
прочих адом опали!

Волга — вещая река
светлый остров обтечет,
на великие века
от тьмы, засухи спасет.

Пусть далекая война
не тревожит дремы, сна!
Мать-Россия не честна,
потому и спасена!

21

Хор

Путь проклинаям,
выбор иудин,
жить продолжаем,
жребий нескуден.

Многим богатством
Родина встретит —
о святотатстве
ей не ответим.

А убелимся —
грех мал, неважный, —

а убедимся
в милости каждый!

Так-то пророчим:
царствие будет
на зависть прочим,
лучше нас людям!

22

Что может власть, когда она боится
своей страны, народа своего?

Как мучилась, металась по дворцу
в бессильной своей ярости, переть ли
против рожна...

Да тут попрешь, пожалуй...

Его убили. Мог ли он не знать,
куда идет, что ждет его? Какие
«конфеты»...

Что никак не мог словами,
то смертью доказал. И Александра
уже не побоялась. Начала!

А там само, под горку, как давно
готово было... Ждало, чтобы повод...

23

Она прекращает войну!
Верещит английская политика,
глухо ворчит русская армия,
недоверчиво ведут себя пруссаки.
В официальной прессе называют случившееся — Победой.

Она прекращает войну!
Оказывается, что этого давно все ждали:
у нас и у них, справа и слева, военные и штатские;
еще удивлялись: «Что-то мы слишком затянули,
этак можно совсем задарма погибнуть».

Она прекращает войну!
Русская революция отменяется,
пломбированный вагон остается на станции.
Счастливая, богатая европейская страна.
Что может быть лучше невзрачной доли?

Она прекращает войну!

24
Год закончился, и новый,
худший, смертный настает —
что основы, что оковы
пали в прах! И прах падет!

Почему ж февральской смуты
время черное пришло?
А была ли та минута,
когда нам не повезло!

Что мешает проявиться
Правде Божьей? Где оно,
зло, случается, как длится,
в чьей судьбе заключено?

Отдал светлую Россию
сатане за так Господь!
Для чего же мы живые —
искореженная плоть!

Тех, кого щадил Всевышний,
он прибрал с собою в путь
в рай далекий, в хор неслышный —
ту, что в красном, помянуть.

Елена Антипычева

Москва



Перечёркнут печалью рассвет,
Новый день не сулит катастрофу,
Но и вестников праздника нет,
И не выжить взлетевшему слову,
Не исполнив отчаянный трюк.
От смущенья неведомым духом
То ли небо крошится вокруг,
То ли почва становится пухом.

Где ты, ангел мой? Или же знак
Твоего пребывания рядом —
Ободряющий утро сквозняк,
Отдающий слегка ароматом?
И цепочка следов не твоя
На тропе параллельно с моею,
Ибо твёрдо уверена я,
Что оттяпаю голову Змею?

Отзовись, и скажи напрямик,
Почему против внутренней мощи
Силы в мышцах господствуют миг
И проверить их всё-таки проще?
Если некто своей головой
Управляет, как время — руиной,

То ему ли тягаться с судьбой,
А тем паче – с башкою змеиной?

Самому-то себе не помочь,
Над чужой слабиной насмехаясь.
Даже ангельским чарам невмочь
Обуздать разыгравшийся хаос,
Что на бурю в стакане похож.
Мысли в прошлом — святые скитальцы,
И в руках извивается дрожь,
Разжимая железные пальцы.

Весеннее

Лучами своды моросят, —
И грусть смолкает томной нотой,
И светел яблоневоый сад,
Опрыскан тёплой позолотой.
Как над собором белый нимб,
Без оглушительного шума
Мерцает облако над ним —
Таким зачин весны придуман
Всевышним, сделавшим наш край
Святой стихией плодородной,
Чтоб райских яблок урожай
Мы собирали ежегодно.

Река, забыв про снег и лёд,
С какой-то страстью безрассудной
Вершит стремительный полёт,
Блестя волною изумрудной.
По обе стороны холмы
В случайных брызгах зеленеют,
Но брызги в свете кутерьмы
Подобно искрам пламенеют.
Душа цветения полна.
И как же тут без уверенья,
Что лишь весною нам она
Рождает лучшие творенья?

Пропитан нежностью простор,
Где солнце грезит над равниной;
Где двое любящих свой спор
Кончают песней соловьиной;
Где всё стремится к новизне;
Где в землю божий дар не спрятан;
Где каждый юноша к весне
Самой природою сосватан.

Пусть коротки цветные сны,
Чей ход, увы, непредсказуем,
Когда мы все поощрены
Весны воздушным поцелуем,
Дни, удлиняясь, мчатся вскачь,
И перемены незаметней
Для тех, кто молод и горяч,
И не готов к весне последней.

Москва

Феерический город Москва на семи холмах,
Если ближе к нему присмотреться, скорей в низине
Человеческих нравов: ни в церкви, ни в снах, ни в домах
Он не радует ангелов присно и ныне.
Город — разврата логово. Что ни подвал,
То есть притон, где ни сущих страстей, ни цензуры;
Это-любовь, как товар, в подземелье провал
Впавшей в великую кому столичной культуры.

Я иду по бульвару, витрина блестит: кафе.
За столом мнёт сигару толстяк беззаботно; дама,
Вероятно, что спутница, но не жена, трофей,
Выпятив декольте, восседает прямо-
пропорционально роскоши; чем скромней
Платье, тем боле манеры тверды и жалки;
Мы, распуская моток родословных корней,
Так же ведём себя: как провинциалки.

Здравствуй, Ваганьково, тихий анклав утрат!
Здесь небожители рядом, застывшие в камне,
В памяти — лучшей из лучших на свете наград-
Увековечены тоже. В ворота-сюда мне.
Веет бомбёжкой, знающей смерть в лицо,
Улицы вымерли в центре: нельзя почтальону
Не попадая впросак, донести письмецо
По позабывшему шум от гуляний району

Не потому что в термометрах ниже нуля,
Мол, беспощадны морозы к московским широтам,
Преобразуя кварталы в пустые поля,
Вычистив снегом их набело, до «никого там».
Если вас здесь и окликнет кто, только лишь глас
Собственной интуиции, ставшей финалом
Вашего одиночества в обществе масс,
Либо, наоборот, возвышенья началом.

Здесь на подмостках Большого театра аншлаг
При баснословной цене за билеты; балета
Не полюбивший, собрав свою волю в кулак,
«Браво!» — вопит и срывает личину эстета.
Чаще, чем музыка речь, оболгавшая слух,
Потчует ум ежесуточно абракадаброй
Из одного предложенья в количестве двух,
В тьме анфилады подпетою вьюгою храброй.

Город — казна. Не просящему — не подадут,
Вечно просящий — изгой в тупике интроверта
Мечется в зимней пустыне, не веря, что тут
Есть указатель, как адрес на фесе конверта.
Здесь держат руку на пульсе; пытаюсь спасти
Жизнь из имущества, вдумчиво слушают ноты
(Что если выстрелы?) Господи, только прости
И не своди, не своди с этим городом счёты!

Демократия

Демократия — пшик, а порядок — муштра,
Если гласность — овца, что пасётся в загоне
И не зная ручья, пьёт взахлёб из ведра
Посреди темноты, несвободы и вони.

Гастролирует где-то по лесам соловей,
Чей божественный голос от ужаса замер
После звуков картечи над смехом лучей
И прицелом поставленных в ряд телекамер.

Что ни новость, то байка: какой-то актёр,
Неизвестный по фильмам заядлый охотник,
Долго целился в воздух и бахнул в упор.
Неожиданно сбив дорогой беспилотник.

Заголовки газет оккупирует зуд
Сообщить населению одну из сенсаций:
С января на бензин цены вверх поползут,
В остальном — всё спокойно и без провокаций.

Наркоманы, диеты, разводы поп-звёзд,
Их неравные браки с хвастливым отчётом
В социальных сетях, так похожих на мост,
Сокращающий путь меж людьми и народом, —

Всё, чем нам засоряют мозги слабаки,
Потерявшие честь, самолюбье и славу
Вундеркиндов-героев судьбе вопреки,
Покрывая зарвавшихся снобов ораву.

Время — деньги. Неважно, о чём репортаж,
Приносящий доходы правителям слова.
Им и так хорошо, да и капает стаж
На страницы-трудяги, престижные снова.

Ну а, впрочем, статьи отвечают вполне
Полноценным запросам уставших от быта

И плевавших на то, что неладно в стране —
Кровожадном куске мирового корыта.

Большинство и живёт бурной жизнью других,
Не имея своей, некрасиво кайфуя
От невысказанной порции будней нагих:
Без надежд, волшебства и огня поцелуя.

Валентина Карпушина

Москва



ФИЛОСОФСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ

Вопросы — ступени к мудрости.
Без критики нет совершенства.
Ошибки незрелой юности —
На деле для опыта средство.
Лишь только бы око видело,
Отчётливо слышали б уши.
Путь к мудрости чётко выделен:
В борьбе совершенствовать душу.

ПРЕСТИЖ

Быть на вершине не за счёт кого-то,
А оттого что сам её достиг.
Пройдя сквозь шторм, и одолев болото,
Шагая вверх, не сдался с полпути.
И правилом топтать из-за престижа,
Других людей, ты сразу пренебрёг.
На чьём-то фоне всем казаться выше
Захочет вряд ли тот, кто сам высок.

ГДЕ МНЕ ТЕБЯ ИСКАТЬ?

Вот и настало то завтра,
И в нём моё «никогда».
Осень, листвы прелый запах,
Иней в бегущих следах.
Где мне искать день вчерашний,
Наш предпоследний закат?
Снова на Спасской бьют башне
В полночь куранты набат.
Где мне тебя отыскать? Где?
Здесь? За смертельной чертой?
И по какой эстакаде
Мчатся мне вслед за тобой?
Нет ниоткуда ответа.
Тьма, словно чёрная шаль.
Музыка из интернета —
Дышит твоя в ней душа.

НЕ ЖЕНЩИНА

Отстань, прошу! Оставь меня!
Я до смерти усталая.
Нет сил с тобой тягаться, с твоею красотой.
Своей харизмы танками
Не надо и атаками
Давить мою свободу, маня пустой мечтой.
Давно в неё не верю я,
Как и в любовь. Потерями
Вся жизнь моя изрыта. Я больше не хочу
В корыте видеть трещины.
Осталась вместо женщины
Внутри пустая кукла без веры и без чувств.

ВЕРНИ МЕНЯ В ТОТ ДЕНЬ

Верни меня в тот день, когда с тобой мы встретились.
Когда ещё душа не млела от любви.

Но вспять не повернуть движение вдоль времени
И чувств, которых нет, теперь не оживить.
Верни меня в ту ночь, когда я в бездну алую,
В объятиях твоих упала, умерев,
Чтоб вновь воскреснуть. А ту осень запоздалую,
Отметить лишь крестом в своём календаре.
Верни меня туда, где я смогла б сказать себе:
«Любить его нельзя. Беги, скорей беги»!
Где я ещё могла спокойно приказать судьбе
Не делать ничего, чтоб отдавать долги.
Верни тот вечер, где мой путь с твоим не сходится.
Чтоб образ твой не стал преследовать меня.
Чтоб в кухне на стене пробить забыли ходики,
Семнадцать раз, и жизнь не стала б я менять.

ПОЗДНО

Мне любить слишком поздно.
Навсегда скрылся поезд
В полумраке ночном.
Вдруг погасли все звёзды.
Грустно кончилась повесть.
Плакать буду потом.
Падший ангел не плачет.
Он свои беды прячет,
Прячет боль под крылом.
Но по капле горячей
Слёзы льются. Истрачен
Дух его. Всё прошло.
Мне любить слишком поздно.
Всё так сложно и просто.
Все разбиты мечты.
Не смогла виртуозно
Роль сыграть. И мы – порознь.
Все сгорели мосты.

КАК УЗНАТЬ?

На твой вопрос: «Как мне узнать,
Есть в сердце или нет, любовь?
И как увидеть тайный знак,
Что послан был самой судьбой?»
Один ответ на это есть:
Коль встретишь ты свою мечту,
По взгляду сможешь ты прочесть,
Всех чувств, возникших, полноту.
Её не спутаешь ни с чем.
И тут не нужно лишних слов.
Вопросов нет. (Да и зачем?)
Когда случается любовь.
Но коль в уме сомнений рой,
И «да» нейтрализует «но»,
А чувство тягостно порой,
То это точно — не оно.

ТЫ МНЕ НУЖЕН

Я лгать не буду, что ты не нужен.
Скажу об этом тебе я прямо
Плести не стану словесных кружев.
К чему лукавить? Жизнь — это драма.
В окне напротив, за занавеской
Тепло, комфортно и так уютно.
И сердце млеет в груди от всплесков
Эмоций разных, сдержаться трудно.
Но горло душит словами сна.
А голос, будто бы мой простужен.
Я так хотела, но не готова,
Тебе признаться, что ты мне нужен.

КАЛЕЙДОСКОП

Лист осиновый и лист кленовый
Как тузы — бубновый и червовый,
Словно для игры азартной код.
Падают на стол земли и снова
Сбрасывать пришла пора оковы.
Жизнь — она сплошной калейдоскоп.
Люди — пассажиры на вокзале.
За грехи кого не наказали,
Могут в жизни что-то изменить.
Радость ли в глазах моих, слеза ли?
Это оттого, что не сказали,
Как хотим друг друга мы любить.

ОСЕННИЙ ДИАГНОЗ

Корни как вены на теле земли,
Тянутся через тропинку от лип.
Пластырем лист залепил ствол ольхи.
Больше не зелен её балдахин.
Болен осенней простудой лес,
Листья на тропке, как будто компресс.
Но не помогут компрессы ему,
Он оттого неприветлив и хмур.
Облако серое смочит дождём
Старый пенёк и опята на нём.
Скоро зима, взяв обыденный старт,
Лес облачит в медицинский халат.

ПРИВЕТ!

Привет! Входи! Открыта дверь.
За дверью комната и стол.
А за окном осенний сквер,
Скамейка и фонарный столб.
Ты долго где-то был. Устал.
Ты хочешь кофе? Я сварю.

Там, в тусклом отблеске зеркал
Моя печаль по сентябрю.
Там перекрёсток гол и пуст,
И светофора красный свет,
Там нет в душе ни грёз, ни чувств
И ничего, по сути, нет.
Я стала строже, может быть,
Пока ты был в своей дали.
Но не смогла тебя забыть —
Ещё горят в душе угли.
Что я могу сказать? Привет!
Вот стул, вот стол. Садись, кури.
Прошло немало зим и лет...
Я дверь закрою изнутри.

ПЛОДЫ САДОВ

Яблоне неведом вкус её плодов,
Ей не наслаждаться соком спелых яблок.
Так заведено. Таков везде порядок —
Людям достаются все дары садов.
Каяться не нужно, если всё отдав,
То, что долго так росло и созревало,
Пользы никакой дать не смогло сначала,
После славой вечной стало навсегда.

ПЕПЕЛ И ПЛОТЬ

Снова мёртвую плоть пожирают черви.
И она истлевает, как поздний октябрь.
И мои чувства с ним так похожи чем-то,
А ещё на разбитый о рифы корабль.
И гниют в море слёз от него останки,
Не сгоревшие в пламени жаркой любви.
Неприглядна новеллы такой изнанка —
Труп любви, утонувший в гниющей крови.
Снова мёртвую плоть пожирают черви,
И октябрь разлагаясь, смердит и горчит.

А в кострах догорают листва и ветви.
Плоть гниёт. Только пепел стерилен и чист.

СЕНТЯБРЬСКИЙ ДОЖДЬ

А сегодня дождь, вновь сентябрь плачет
По ушедшим дням солнечного лета.
Как язык огня лист по лужам скачет,
Сорванный с куста влажным стылым ветром.
Уличный фонарь тусклый и промокший
Смотрит на асфальт круглым, жёлтым оком,
Он укажет путь в этот час проходим,
Бледный свет, сплетя свой со светом окон.
На асфальте дождь правильные кольца
Циркулем небес тщательно рисует.
Память прошлых лет мелкие осколки
Склеить я хочу вновь из наших судеб.

СОЛНЦЕ В НОЯБРЕ

Мы расстались в ноябре.
Был ноябрь и в нашей жизни.
Не цветут, желтеют, вишни,
Если осень на дворе.
Нет на свете ничего,
Что Творец свершить не может.
Только сделать чуть моложе
Он не в силах никого.
Нам осталось лишь вкусить
Счастья жалкие крупички.
То, что Бог своей десницей
Создал, нам не изменить.
Если осень на дворе
Не цвести в саду сирени,
Не вернуть поры весенней.
Хмуро солнце ноябре.

ПУСТОТА

Пусто внутри и звенит пустота
Так запредельно, в неслышимой зоне,
Словно бы некая стёрлась черта
Звуков шкалы в этом давящем звоне.
Вакуум в сердце такой, что душа
Больше не видит, не ждёт и не слышит.
Чёрного неба уродливый шарж
Ржавой иглой там крестиком вышит.
Жажда и голод без грёз и тепла.
Пуст мой сосуд, сотворённый из плоти.
Будто бы я никогда не жила,
Лишь ожидала у двери напротив.
И от звенящей внутри пустоты,
Не убежать никуда и не деться.
И доведя до границ глухоты,
Звук этот делает каменным сердце...
Сила любви, как живая вода,
Может в душе пустоту уничтожить.
Форму, придав бытию и тогда
Смысл обрести в этой жизни, быть может.

СЕЗОН ЛЮБВИ

Пришёл сезон дождей, настала осень.
В лесу витает снова пряный дух.
Пожухлая листва на иглах сосен,
И тихий шорох листьев нежит слух.
Сезон дождей, октябрь и первый холод.
И иней по краям прозрачных луж.
Но есть вразрез всему, серьёзный повод
Не струсить пред лицом грядущих стуж.
Я осень попрошу сшить шлейф из дыма
Костров, в которых дворник жжёт листву.
Надев её наряд, и став любимой,
Вкушу глоток мечты, как наяву.
Сезон дождей и время листьям падать,
Сезон любви и ярких чувств пора.

А дворник, подцепив листву лопатой,
Приносит жертву пламени костра.

ЖИЗНЬ

Баадур Чхатарашвили

Тбилиси

ТИФЛИС. 50-Е. ЛЮДИ...

Эскулап



Вот перед мною больной; он лихорадит и жалуется на боли в боку; я выстукиваю бок: приглушение звука показывает, что в этом месте грудной клетки лёгочный воздух заменён болезненным выделением; но где именно находится это выделение — в лёгком или в полости плевры? Я прикладываю руку к боку больного и заставляю его громко произнести: «Раз, два, три!» Голосовая вибрация грудной клетки на больной стороне оказывается ослабленною; это обстоятельство с такой же верностью, как если б я видел всё собственными глазами, говорит мне, что выпот находится не в лёгких, а в полости плевры. Какая громадная, многовековая подготовительная работа была нужна для того, чтобы выработать такие на вид простые приёмы исследования...

В. В. Вересаев, 1895 год

Илларион Иорданович, или батано Илико, лекарь, как он на старом ладе величал себя сам, — классический чеховский тип состоявшегося доктора: выдавшая виды трость орехового дерева, массивный брегет, пузатый саквояж; зимой — башмаки на пуговках (в дурную погоду обувка пряталась в штучные калоши, трость заменял аглицкого фасона остроносый зонтик), бутылочно-зелёная федора с траурной лентой, пальто бурнастого тяжёлого драпа; в летнюю пору — парусиновые туфли, свободная чесучовая пиджачная пара, золотистой соломки короткополая шляпа; внимательные добрые глаза за стёклами в металлической оправе, щётка усов, седой ёжик по крутлобому черепу, дикий волос

в ноздрях и неторопливый, деликатный говор — этаким старичок-боровичок; однако в войну руководил полевым подвижным госпиталем, дошёл с ним до Потсдама, вперемешку с нашими бойцами лечил там горожан, страдавших после бомбёжек психопатологическими рецидивами, вернулся с фронта в сорок седьмом и незамедлительно был назначен заведующим детским отделением железнодорожной больницы.

В пятьдесят пятом Иллариона с почестями проводили на пенсию, и он, проживавший в самом сердце нашего околотка, принял его обитателей под свою опеку.

Илларион безошибочно ставил диагноз. У вдовой прокурорши, которой в городской онкологичке намеревались удалить опухоль кишечника, определил вульгарный протозойный колит и в трёхнедельный срок избавил от него страдальцу при помощи копеечного энтеросептола вкупе с травяными клистирами. Был старомоден, но неизменно добивался успеха во врачевании даже самых запущенных больных. Призванный к страждущему, прежде чем приступить, тщательно мыл руки, после извлекал из саквояжа архаичную слуховую трубку, выслушивал сердце и лёгкие; заслышав приглушённый тон, выстукивал сомнительное место; завершив аскультацию с перкуссией, вставлял в уши оливы фонендоскопа и измерял кровяное давление трофейным тонометром (предмет вожделения завистливых коллег). После манипуляций на некоторое время впадал в задумчивость, далее, пальпировав утробу больного, рассмотрев его язык, садился к столу выписывать рецепт, что означало — можно задавать вопросы.

На протяжении долгих лет Илларион брал под заботливое крыло всех новорождённых в пределах досягаемости и принимал последний вздох покидавших этот мир праведников. Даже врачи обеих наших поликлиник, а надо сказать, в те времена представители низового медперсонала отличались весьма высокой квалификацией, нет-нет да и консультировались с ветераном...

Илларион без усталости вправлял вывихи, вскрывал нарывы, залечивал незаживающие раны, сбивал жар у горячечных, ставил на ноги анемичных, умирал тяжкие приливы у климактеричек. Его приглашали консультировать особо тяжёлых в городской тубдиспансер, он незамедлительно возвращался в строй при вспышках детских инфекций.

С утра и до позднего вечера, в любую погоду, наш целитель передвигался от дома к дому, от парадного к парадному, названивая от очередного больного на домашний номер — справиться, не поступало ли новых вызовов. И ещё — во многих семьях наставлял день, когда Илларион переставал брать деньги. «Хватит», — коротко говорил он при

очередном визите, что означало: дальнейшая опека будет продолжена на безвозмездной основе.

Особые отношения сложились у Иллариона с матушкой, ибо давно уже они приятельствовали, — матушке даже дозволялось вступать в полемику с непререкаемым обычно лекарем. К примеру, облопавшись добытой в набеге на верийские сады незрелой черешней, валяюсь я с желудочной коликой. Илларион слушает мою урчащую утробу:

— Тамар, давай попробуем норсульфазол...

— Ой, батону Илико, может, не надо норсульфазол? Слишком уж сильный препарат...

— Ну, тогда назначим сульгин...

— Ой, батону Илико, у сульгина столько побочных...

— Хорошо, не будем сульгин, — кротко отвечает Илларион, присаживается к столу, свинчивает колпачок с вечного пера и, посапывая мохнатыми ноздрями, принимается за составление прописи: «*Flores Chamomillae officinalis — 30...*»

Отпустив меня в Большую жизнь, Илларион занялся моими дочурками, явление которых миру стало возможным опять-таки благодаря сметливости доброго доктора.

А дело было так. За неделю до собственной свадьбы я вдруг опух. Вернее — опухла моя шея, спереди, до чудовищных размеров. Вечор отошёл ко сну вполне себе симпатичным юношей без признаков какой-либо хвори, а пробудился оттого, что не мог ворочать головой — мешал тугой лиловый зоб размером с небольшой арбуз. В доме сделалась тихая паника: батюшка помчался по городу собирать консилиум, матушка свалилась с давлением, без толку суетились соседи... Заглянула возвращавшаяся с примерки невеста — сообщить, что свадебный наряд почти готов, осталось чуть укоротить подол и подогнать вытачки... её увели в лоджию отпаивать валерьянкой...

Батюшка привёз троицу именитых профессоров, расселись полукругом у одра, рассматривали, крайний справа потыкал пальцем.

— Гландула тиреоидеа, бесспорно, и фолликулярная карцинома при ней. Что скажете, коллеги? — изрёк первый.

— Учитывая некоторый сдвиг влево — подчелюстная саливаре гландем, и, судя по тому, что опухоль плотная, — плоскоклеточная форма, — возразил второй.

— Саркома! — отрезал третий. — Синюшность, характерный отблеск эпителия...

— Ошибаетесь, коллега, прощупываются железистоподобные структуры...

Хоть и окончательно смущённый разумом, но различил я сквозь их речения знакомое посапывание — появился Илларион, чуть склонив голову в сторону почтенной троицы, приподнял шляпу, придвинулся к кровати, глянул пристально:

— Чем бреешься, безопаской? Переходи на электробритву...

Подсел к ночному столику, достал вечное перо. Помахивая рецептом, дабы просохли чернила, обратился к именитым:

— При всём уважении, коллеги, смею заверить: за полувековую практику я ещё не имел случая, чтобы саркома величиной с дыню выросла за одну ночь. Тамар, — повернулся к матушке, — в аптеку: димедрол по ноль ноль-пять утром и вечером, кальций хлоратий и аскорбинку — отёк Квинке это, порезался, когда брился, и инфекцию в желёзки вогнал, через день-другой спадёт. Так что готовьтесь к свадьбе — и счастья молодым!..

Мир праху твоему, добрый доктор Илико!

Письмоноша

Бежан, он же Бенжамен Г., — правнук гидроинженера-бельгийца, приглашённого князем Барятинским для исследования русла Риони на предмет пригодности реки к судоходству (начиналось строительство Потийского глубоководного порта). Проживал с супругой — французской из местных — в «итальянском» дворе на Белинского.

В первые дни войны, как квалифицированный спец (с младых когтей трудился автомехаником в гараже НКВД), был призван в автомобильные войска. Под Киевом попал в плен и был этапирован в апокалиптический Заксенхаузен. В 1942-м инженер Порше предложил использовать узников концлагерей на автомобильной фабрике в Фаллерслебене (современный Вольфсбург), где для этого близ города обустроили лагерь Арбайтсдорф. В апреле того же года в лагерь прибыла группа отобранных в Заксенхаузене военнопленных, в числе которых пребывал и Бежан-Бенжамен.

В сентябре, за месяц до закрытия лагеря, Бежан сбежал, благодаря безупречному немецкому — бабка нашего героя была из тифлиских немок-колонистов — и европеоидной внешности — белобрысый, голубоглазый, нос флюгером, тонок в кости, — снабжённый адресами надёжных явок — подпольщики из рабочих фабрики расстарались, — умудрился без документов добраться до Франции и выйти на один из организованных русской группой Сопротивления «встречных пунктов». Был переправлен в партизанский отряд под Тулузой, где специализи-

ровался в порче линий связи и высоковольтных подстанций. Участвовал в освобождении древней столицы Лангедока, был ранен, отлежался у доминиканцев, после вновь отправился в путь, на смычку со своими.

Добрался до Штирии. В Мариборе попал под ковровую бомбардировку Британских ВВС, выжил, но оглох на одно ухо. В Птуйских горах нашёл партизан Карделя. Освоил взрывное дело. Практиковался, подрывая железнодорожные мосты. Схлопотал тяжёлую контузию. Наконец в мае сорок пятого вышел в расположение занявших Подравску советских войск. Далее, как и было заведено, поступил в распоряжение контрразведки, однако долго с ним не канителились, отправили к месту приписки, то есть в переформированный родной автобат, который уже квартировался в саксонском Веферлингене, откуда до бывшего узилища Бежана (Арбайтсдорф) можно было прогуляться пешком...

В автобате Бежана из-за глухоты и прочих увечий комиссовали подчистую и спровадили в родной Тифлис. В Тифлисе его слегка придержало НКВД — по-видимому, проверяли некоторые эпизоды одиссеи, а тут подоспели из Франции наградной лист и медаль Сопrotивления (Medaille de la Resistance)...

Исходивший вдоль и поперёк всю Европу, Бежан ощущал себя непригодным к длительному нахождению в состоянии статического покоя, посему подался в почталёны. Как и заведено исстари, отчаянный франтирёр прихватил с мест разрушительной своей деятельности поживу: из Саксонии — фарфоровую курительную трубку с длиннющим чубуком, из Окситании — жандармское кепи (чёрный околыш, малиновый верх), несносимые альпийские башмаки жёлтой кожи с Триглава да штирийский диалект словенского языка. Добавим к трофейному добру непромокаемую плащ-накидку чёртовой кожи и вместительную почтовую сумку — долго ещё, до конца шестидесятых, можно было наблюдать, как, попыхивая трубкой, карабкался старый партизан по крутым улочкам в верхах нашего околотка, разнося по дворам газеты, телеграммы, письма...

Анархический Хромец

Виссарион: просторная блуза синей саржи, томик Кропоткина в кармане, орденские планки, негнущаяся нога — размашисто ступал на каблук, пронзительный взгляд, дикие кустистые брови, встрёпанные вокруг обширной лысины седые космы, бугристая ринофима (винный нос по-народному) — сопатка гаера походила на лежалую еловую шиш-

ку, однако, вопреки, употреблял всего раз в год — фронтовые сто грамм на День Победы. Презирал право, государство, собственность, в ожидании скорого прихода анархо-коммунизма скрепя сердце подчинялся общепринятым нормам поведения.

Заведовал околотошной библиотекой. Обязанностями своими манировал — отпускала книги, принимала почту, отвечала на входящие письма и тянула прочую рутину тощая желчная библиотекарша, — сам же, сколько я его помню, исписывая фиолетовыми чернилами ученические тетрадки в линейку, трудился над кодексом городского самоуправления — по параграфу на тетрадь. Набрал с десяток, составлял сопроводительную записку и сдавал рукопись в канцелярию горисполкома. Из-за предсказуемого отсутствия ответной реакции властей был угрюм, раздражителен, проявлял своё недовольство тем, что многотомные труды идеологов диктатуры пролетариата сваливал в самом пыльном и тёмном углу абонементов.

Над рабочим столом держал портреты Кропоткина, Бакунина, старейшины грузинских анархистов Варлаама Черкезишвили и... Сталина — это по прошествии двадцатого съезда, прошу отметить. Партийные органы закрывали глаза на чудачества Хромца, и тому была веская причина — его фронтовое прошлое.

Как и его кумир Кропоткин, Хромец был географом. В довоенные годы истово увлекался альпинизмом. Сочетая увлечение с профессиональными обязанностями, облазил глухие ущелья Абхазии, Сванетии, Кабарды — составлял тематические карты малоизученных уголков Большого Кавказа.

Пришла война — Гитлер рвался к хлебу Кубани, к бакинской и грозненской нефти, к вольфраму Тырнауза, марганцу Чиатуры, а анархист истово рвался на фронт, но, увы, «козья ладонь» — в давней экспедиции отморозил на склоне Ушбы и потерял средние пальцы на правой руке — сделала его непригодным к строевой, вот и поставили гаера собирать гранаты в одном из цехов полностью перепрофилированного на нужды фронта Кировского станкостроительного. Долгий первый год войны набивал он тротилом «консервные банки» РГ-41, засыпая одновременно письмами с требованием направить автора в действующую армию все мыслимые инстанции, но — тщетно.

21 августа 1942 года пластуны горно-стрелковой дивизии вермахта установили флаг рейха на вершине Эльбруса. Сердце честного анархиста не смогло выдержать подобного надругательства над седыми вершинами *его* гор, и он предпринял попытку прорваться в кабинет коман-

дующего Закавказским фронтом Тюленева, был нейтрализован и препровождён во второй отдел известного здания на Дзержинского. Суровые чекисты приступили было к разработке вероятного диверсанта, но, опознав в нём автора бесчисленных эпистол с угрозами приступить в частном порядке к террору в расположении противника, передали его под опеку особиста родного предприятия. Однако — начальство предполагает, а Пишущие судьбу располагают: ровно через неделю после неудавшейся диверсии на завод нагрянул с инспекцией замкомандарма оборонявшей перевалы 46-й армии, гроза тыловиков генерал Ищенко. Наш анархист, и так пребывавший в смутном состоянии, воспринял появление на своём жизненном пути фронтового начальника как знак судьбы, спарив, обмотал изолентой только что собранные «изделия», и стал дожидаться появления обходившего цеха высокого гостя. Далее разыгралось короткое, но очень насыщенное действо: сопровождаемый охраной и заводским начальством генерал вступил в дверь, анархист вышел из-за рабочего стола, выставил перед собой связку и сунул палец в кольцо одной из гранат. Гости смешались, охрана наставила на протестанта стволы, назревала тяжкая развязка, не смутился только повидавший виды — двадцать пять лет в строю: Гражданская, отлов гайдамаков и петлюровцев, борьба с бандитизмом на Харьковщине, отсидка в Харьковском центральном, реабилитация, комдив на турецкой границе, с сентября сорок первого на Кавказе, на передовой, — Ищенко, с большим интересом разглядывавший трагикомичную фигуру.

— Кто таков? — обратился Яков Андреевич к особисту.

— Местный псих, — раздул ноздри вертухай, — альпинист отбракованный, на фронт рвётся...

— Альпинист? — генерал ступил к Виссариону, хлопнул по плечу. — Так ты мне и нужен! Бросай жестянки. За дурака меня держишь? — во избежание несчастных случаев гранаты и запалы к ним доставлялись в подразделения раздельно. — Бегом к моему автомобилю. Я у вас его забираю, — обернулся к заводским. — Сообщите в военкомат: отбыл в распоряжение сорок шестой армии...

В августе немцы прорвались к перевалам. 1-я горнопехотная дивизия захватила седловину Марухского, но у входа в ущелье противника остановили части 810-го стрелкового и лишили тем самым возможности проникнуть в долину Чхалты, на Кодори и Сухуми.

7 сентября к бойцам 810-го полка подошло подкрепление — несколько батальонов 107-й стрелковой бригады с батальоном 2-го Тби-

лисского пехотного училища, к которому и был приписан инструктором по альпинизму наш смутьян.

К тому времени война здесь затеялась миномётно-пулемётная, без продвижения сторон: наши готовились к контрнаступлению — служба тыла с ног сбилась; немецкие пластуны отлёживались после тяжёлого рылка к вершинам.

От щедрот интендантской команды экипировку для Бесо подобрали наилучшего качества: куртка «канадка» цвета первой травы, штаны «гольф» того же колора и так называемые «студебеккеры» — ленд-лизовские ботинки с квадратными носами, — однако появляться в подобном наряде на линии огня днём было чревато, ибо на снегу движущееся ярко-зелёное пятно являлось отличной мишенью, вот и наладился новобранец лазать в блиндаж разведроты, проситься к стереотрубе: мол, присмотрюсь к ландшафту, намечу будущие колонные тропы, запомню места вероятных камнепадов — как инструктору, при наступлении пригодится. Торчал он там дня три, а на четвёртый пришёл в ночь, опять приник к трубе — разведчики уже привыкли к визитам частого гостя, не обратили внимания, что на сей раз тот явился с полным под-сумком. Бесо посопел у трубы, выкурил с бойцами сигарку, ступил за бруствер и ушёл в темноту, к котловине. Образовалась паника: послали за смершевцами, те сунулись было вслед, но быстро вернулись — забоялись мин, которыми была нашпигована пустошь. Примчался комбат, орал на ротного:

— На передовую сошлю!

Тот огрызнулся:

— Вот она, передовая, в бинокль видна...

Пока суетились, седловину осветила вспышка, негромкий хлопок в ночной тиши раздался.

— П...ц перебежчику, — сплюнул старший особист, — на мину на-рвался...

Сели писать рапорт. Пока спорили — никак сговориться не могли, явился сам «перебежчик» — весь в снегу, замёрзший, сунулся к печи обогреться. Его сгребли — и в штрафную землянку, в вязки. А утром разведчики высмотрели на противоположном склоне свежую воронку и остатки размётанного взрывом пулемётного гнезда.

Тут уже полковое начальство зашевелилось, Прибыл прознавший о случившемся Ищенко, объявил подопечному благодарность от имени командования, велел впредь инициативу пластуна не зажимать и предоставил ему недельный отпуск с отправкой в Сухуми, в реабилитационный санбат. Бесо от отпуска отказался, двое суток отсыпался, после

явился к разведчикам, набил подсумок гранатами и снова ушёл в ночь. Через час-полтора — вспышка, хлопок, к утру усталый, но довольный донельзя, отогревался чаем со сгущёнкой у жаркой печи. На пятую ходку вернулся с трофеем — пригнал сильно побитого оберста-«эдельвейса», который на ломаном русском умолял защитить его от «этого дикого горца». «Горца» с языком отконвоировали на вторую линию, в штаб полка, где герою устроили триумф. Поглядеть на Бесо прибыл сам командарм Леселидзе, обнял, расцеловал в обмороженные щёки, наколол на лацкан «канадки» медаль «За отвагу», велел штабным оформить наградной лист, усадил в свой «виллис» и увёз в неизвестном направлении. Вернули опухшего от злоупотребления генеральским коньяком анархиста через сутки. Не нарушая заведённого им самим распорядка, Бесо отоспался, дождался ночи и опять ушёл в седловину...

В декабре Ищенко направили в Тамбов, «поднимать» службу тыла сформированной для усиления Сталинградского фронта 2-й гвардейской армии. Яков Андреевич забрал с собой полюбившегося анархиста — ординарцем и, по совместительству, личным шофёром. По прибытии, на ходу доукомплектовывая армию, пошли на соединение с войсками Ерёменко. Встали на пути поспешавшей на выручку к Паулюсу группировки Манштейна, после с боями шли к Ростову, освобождали Новочеркасск. Всё это время Ищенко с верным водилой провели «на колёсах», в бесконечной гонке: боеприпасы, горючее, продовольствие, медикаменты, эвакуация больных и раненых — бесконечные эшелоны с передовой и на передовую, перешивка разорённых путей, зачастую под бомбами всё ещё сильного врага. Снаряды, снаряды, снаряды: плотность артиллерии — двести пятьдесят — триста стволов на километр фронта, это колонны грузовиков со снарядами... В этой кутерьме Бесо нагнала медаль в пару к первой: перед убитием с перевала неугомонный пластун разыскал и грохнул потайной склад «эдельвейсов» с внушительным боезапасом — сутки полыхало и рвалось.

На подступах к Донбассу встали в резерве у Миусского укрепрайона противника, стояли до июля сорок третьего. Деятельный анархист затосковал, впал в хандру, вот тогда-то и пришёл к Ищенко командир 13-го гвардейского корпуса Чанчибадзе:

— Наслышан, Яков Ильич, про художества твоего ординарца. Отдай мне земляка (Бесо, как и Порфирий Георгиевич, родом был из Озургет) — по нему разведка плачет.

Так анархист попал в разведроту только что вышедшей из окружения 3-й гвардейской дивизии.

Комроты, жёсткий старлей-сибиряк, сразу же загнал Бесо на гауптвахту, ибо тот заявил, что привык «работать» в одиночку и не приемлет коллективные походы в расположение врага.

После отсидки оппоненты вновь сцепились, чуть до драки не дошло — запахло штрафбатом. Пришлось самому Чанчибадзе разруливать, гасить конфликт. В результате обстоятельной профилактической беседы — а генерал мастерски умел укрощать строптивцев — сговорились: анархист прекращает какую бы то ни было самодеятельность, строжайшим образом подчиняется действующему боевому уставу, после завершения испытательного срока без провинностей, в виде поощрения, будет допущен и к персональным заданиям.

Стреножили неистового, на неделю отправили к сапёрам — ознакомиться с премудростями подрывного дела, привели к гвардейской присяге и зачислили в группу ночного поиска — сплошь матёрые, прошедшие Сталинград сибиряки-тихоокеанцы, которым фанатичный новичок пришёлся по душе за холодное бесстрашие и за необъяснимую способность чують на расстоянии мины и ловушки.

После были бои за Донбасс, освобождение Молочанска, Каховки, Херсона, Евпатории, Севастополя — здесь и нарвался Бесо на «свою» мину: негромкий хлопок и вспышка в ночи. Вынесли товарищи, ползком, через «колючки», в обход вражеских дзотов, — разведка своих не бросала, ни живых, ни мёртвых. А Бесо на удивление всем оказался жив, хоть и беспамятен. Эвакуировали, приложив медали и документы (на задание разведчики уходили пустыми — ни бумаг, ни наград, ни знаков различия), после череды полевых лазаретов попал в родной Тифлис, в эвакогоспиталь № 1434 на Калинина: Пишущие судьбу вернули Бесо к самому порогу его дома — проживал он сызмальства на Кирочной...

Чинили анархиста долго, до осенних дождей, а в ноябре — гора с горой не сходится — прибыл в госпиталь на лечение (сказалось тяжкое переутомление первых дней войны) успевший дослужиться до звания бригадного генерала Войска Польского (помогал Рокоссовскому обустроить Главную интендантскую службу) Ищенко, можно сказать — крёстный Бесо. Встреча была трогательной и хмельной — с соизволения главврача раздавили бутылку-другую кахетинского.

— Порфирий знает, что ты здесь? — поинтересовался Яков Андреевич.

Анархист пожал плечами:

— От комкора до рядового, да ещё и списанного...

— Разберёмся! — подмигнул дважды генерал, указал на две сиротливые медали, припиленные к больничной пижаме. — Что, за все твои художества всего-то пара бирюлек? Разберёмся! — подозвал госпитального сексота: — Слышь, чека, организуй-ка мне прямой провод с командармом-два. Тебя, Бесо, когда покорёжило, в мае? Значит, не знаешь, что Георгиевич нынче нашей гвардейской командует...

В феврале сорок пятого похорошевший Ищенко укатил командовать тылом Белорусского округа, а Бесо вернулся на родной станко-строительный — командовать цехом, в котором раньше собирал «изделия». В марте пришли наградной лист и третья «Отвага», а в середине июня Бесо вызвали в штаб округа, вручили орден Славы I степени, нарушив при этом обязательную очерёдность степеней, парадную форму нового образца и велели в ночь на двадцать третье число быть готовым лететь в Москву:

— За вами заедут.

Летели разномастной компанией: обвешенный орденами суровый танкист, капитан артиллерии с деревянной рукой, троица весёлых военморков, ну и сам Бесо — в новенькой гимнастёрке и с негнущейся ногой. Приземлились на Ходынском поле, ночевали в Лефортовских казармах, где им раздали пропуска на парад Победы. К девяти часам утра Бесо уже протискивался сквозь толпу высокопоставленных гостей к гранитному парапету трибуны у Кремлёвской стены...

Откуда мне известны подробности жизненного пути анархиста? Несмотря на существенную разницу в возрасте — мне двенадцать, ему под пятьдесят, — были мы закадычными друзьями, вплоть до того, что Бесо позволял мне просматривать его дневники фронтового периода, а пристрастный к мемуаристике и педант при этом, практиковал он их тогда исправно. Мало того, допустил он меня в «закрытый» абонемент библиотеки — специальную комнату с подшивками периодики тридцатых годов, так что я, любопытствующий запретной темой, подавляя зевоту, изучал стенограммы обвинительных заключений по троцкистско-зиновьевскому, пятаковскому, бухаринскому делам. Когда патетический слог Андрея Январьевича утомлял мои юные извилины, я откладывал в сторону подшивку «Известий» и отдыхал душой, просматривая самые интересные книжки «Огонька» с захватывающими описаниями полёта в стратосферу Константина Годунова, дрейфа папанинцев, перелёта Чкалова — Беляева — Байдукова... Вот такая была у нас дружба, на доверии, ибо ляпни я где-нибудь про посещения запретной комнаты, схлопотал бы мой старший товарищ серьёзные неприятности — стояли последние, мрачные дни хрущёвщины.

Лето шестьдесят четвёртого я отбалбесил в деревне у родни, а когда к началу учебного года вернулся в город, ждало меня горькое известие: Бесо умер, без мучений, заснул и не проснулся. Жил он бобылём, сбережений ввиду скудного жалования не оставил, похоронила его, как фронтовика-орденоносца, военная комендатура города, награды, за неимением наследников, сдали властям...

Светлейшая княжна

Образцовых воспитанниц Смольного называли парфетками (от французского *parfait* — совершенная), непослушных отроковиц — мовёшками (*mouvaïse* — дурная). Юная Софья Александровна относилась ко второй группе, и многим позже, вопрекор пережитым невзгодам, нрав сохранила озорной и весёлый.

С матушкой сдружилась в буйнолесье целительного Чатахи, куда в войну вывозили анемичных детей. Позже дружбу скрепили соседские отношения — княжна получила двухкомнатную квартирку в новострое наискосок от нашего двора. Трудилась бывшая воспитанница Смольного на нашей мебельной, полировщицей. Порой после смены навевывалась к нам — посплетничать. Усевшись в массивное кресло — стулья её породистое тулово не выдерживали, — заправляла в серебряный мундштук с богатым орнаментом (последняя оставшаяся после лихолетья семейная реликвия) папиросу, закуривала, выпускала колечко дыма, и жаловалась матушке:

— На фабрике полный бардак! Как Циклоп свою лавчонку прикрыл, так политура, считай, без шеллака сделалась, один спирт, марганцовкой подкрашенный...

Сико

Частенько, заехав домой на перерыв и отобедав, отлавливал меня во дворе, сажал в министерский ЗИМ и забирал на службу. В Главном кабинете мне предоставлялось место за совещательным столом, неограниченное количество бумаги и карандаши. Сико снимал стружку с аппаратчиков, а я старательно разрисовывал предоставленный папир. Было мне тогда лет пять-шесть. Времена были безмятежные, да и министры тогда были неправильные: государственных средств не расхищали, ездили без охраны, простых смертных за равных держали...

Эрих фон Нефф

Сан-Франциско

Из книги

«Отражения в осколках стекла»

(Images on Shattered Glass)



Грейси Аллен жила по соседству*

Тут, по соседству, жила Грейси Аллен. Вы ведь не знали, правда? Я тоже не знал, пока мне не рассказала продавщица из бакалейного на углу. Она была знакома с Грейси с самого детства. Но теперь, когда той продавщицы больше нет, я единственный из округа, кто знает про Грейси. Единственный, кому до этого есть дело. Сомневаюсь, что в квартале найдется хотя бы один человек, кто вообще знает, кто такая Грейси Аллен. Прежние соседи отсюда съехали. Приехали новые.

На заднем дворе, где Грейси порой играла, сидят на короткой цепи два пса: чау-чау и миниатюрный пудель. Уже три года они завывают, сидя на цепи и дождливой зимой и душным вонючим летом. Буквально все в квартале звонили и в Общество по защите животных, и в полицию. Никакого толку.

Теперь эти псы только скулят. Ты слышишь их, Грейси? Господи, как же они загадили твой дворик! По соседству не слышать больше смеха с тех пор, как тебя не стало.

Боже! Вот и нынешний хозяин возвращается домой. Неужели он не слышит, как скулят собаки? Или он слишком замотался, работая день и ночь, чтобы платить ипотеку? Соседи уже давно смирились и махнули рукой.

Я просто не понимаю, как выживают те псы. Раз в день, по утрам им кидают объедки, больше ничего. И господа, эти мухи! Знаешь, Грейси, твоя слива засохла ко всем чертям. А как красиво она цела весной...

Грейси, думаю, ты порой заходила к нам во двор. В заборе, разделяющем участки, есть калитка. Она закрыта давным-давно.

Я жил на этой улице раньше, еще в сороковых. В ту пору там были слышны отзвуки смеха Грейси Аллен.

А теперь — только каменное молчание и жалобный скулеж этих проклятых собак.

^{*} Сан-Франциско, 4-я авеню, 668 — в 1940-х по этому адресу размещалась танцевальная студия Грейси Аллен, известной актрисы 1930-1950-х.

Койот

(Сан-Франциско, 1979)

У Койота не было одной ноги. Он передвигался на костылях, раскачиваясь между ними, словно на качелях.

Зимой Койот обретался под мостом, что на пересечении бульвара Сансет и шоссе Линкольна. В остальное время года Койот путешествовал. Разъезжал на товарняках по всей стране.

Один из приятелей Койота, Стив, однажды рассказал мне, что Койот лишился ноги во Вьетнаме. Сам Койот никогда не обсуждал ни потертую ногу, ни войну во Вьетнаме.

Койот пил пиво, Койот пил виски, Койот пил всё, что горит...

Зимой, в день зарплаты, если я встречал Койота, то брал для него шестибаночную упаковку пива. Если я не встречал Койота, то шёл под мост и кричал там: «Койот». Иногда он откликнулся, и тогда мы вместе пили пиво. Чаще всего «Рейнер эль».

Накануне я увидел Койота впервые за этот год. Он стоял, опираясь на костыли.

— Койот, давненько тебя не было видно.

— Ага. Я был на Аляске.

— Собираешься здесь зимовать?

— Может быть.

В долгие объяснения Койот не пускался. Ну, был на Аляске. Сколько сменил товарняков? Было ли что-нибудь примечательное по пути? Встречал ли он интересных попутчиков? Где собирается зимовать?

Такие мысли занимали меня. Но занимали ли они Койота?

Я дал ему доллар. Койот спрятал деньги в карман. Кажется, он был мне благодарен, но вслух не сказал ничего.

Так мы и шли бок о бок. В молчании. По направлению к мосту.

Под самым мостом в склоне холма имелось небольшое углубление. Как есть, логово Койота.

Я там уже бывал. Приходил пошлой зимой, чтобы поднять Койота с его лежбища, предупредить, что скоро нагрянет полиция. Увидел грязный спальный мешок, из которого торчала голова со спутанными волосами и черная борода.

Койот выполз из спальника полностью одетый, быстро скатал мешок, схватил костыли и был таков до появления полицейских. Меня он так и не поблагодарил.

Я прошел между двух кипарисов. Койот остановился на минуту, достал бутылку виски «Джек Дэниэлс», отхлебнул, спрятал бутылку обратно в карман.

Мимо пробежала женщина в спортивном костюме; ее грудь соблазнительно колыхалась на каждом шагу. Койот не обратил на бегунью никакого внимания. Следом за женщиной трусила немецкая овчарка. Койот нехорошо прищурился. Овчарка обежала Койота стороной.

Койот терпеть не мог собак. Он мне сам об этом говорил. Собаки чувствовали его неприязнь и старались держаться подальше.

Мы наконец доплелись до моста. Он был размалеван граффити. «Свободу Палестине!», «Мото-мамки», «Валите нахрен, пидоры!» — и прочее в том же духе. Еще, конечно же, символы стиснутых кулаков, томагавков, нацистской свастики.

Койот снова остановился, отхлебнул виски. Затем мы пошли дальше.

Спустились под мост. Здесь надписей было еще больше. «Белая сила», «Вива Куба», «Молись!» Койот допил виски и шваркнул бутылкой о стену.

Мы добрались до противоположного конца моста. Койот принялся взбираться вверх по склону. Вот так — на одной ноге и двух костылях. Не удосужившись попроситься, он скрылся в своем логове.

Я не набивался к нему в гости, просто ушел прочь.

Может, мы выпили бы пива, перекинулись едва парой слов. Койот так бы ничего мне и не сказал.

Соломенная панама среди роз*

До вчерашнего дня мы не разговаривали ни разу. Даже словечком не перемолвились, хоть и были соседями уже пять лет. Обменивались взглядами, обменивались улыбками, но ни разу — словами.

Иногда по утрам я видел, как она ухаживает за розами в своем садике. Ее движения были такими грациозными, такими плавными. Мой взгляд не выделал отдельных жестов и поз.

Она была японкой, и я порой задумывался: через что ей довелось пройти во время Второй Мировой войны? Через какой лагерь для интернированных? Но я никогда не спрашивал ее об этом.

Работая в саду, она носила соломенную панаму, белую рубашу и серые слаксы. Иногда она надевала кимоно.

До того, как я заговорил с ней, до того, как услышал ее голос — я смотрел на нее, но как будто не видел. По каким-то причинам ее образ не задерживался в моей памяти. Порой я даже думал, а видел ли ее вообще или просто воспринимал как своеобразную часть ландшафта. Вот так с ходу мне и не припомнить, в какие дни недели, в котором часу она занималась розами. Хотя, разумеется, у нее был свой распорядок. Я его не замечал. Чтобы заметить, нужно обратить внимание, отвлечься на постороннее. Я этого не делал, никогда.

В конце концов, когда мы все-таки заговорили друг с другом, это было как разговор давних знакомых. Я взял шланг, открыл воду, и принялся поливать траву на своем дворе. За изгородью, в своем садике, она лелеяла розы. Потом повернулась ко мне и сказала:

— Три дня назад, в Японии, умерла моя мама. Ей было девяносто два года. Она ничем не болела, пока не почувствовала недомогание три недели назад.

Ее голос звучал негромко, напевно. Голос, к которому поневоле начинаешь прислушиваться. Словно к тихой мелодии арфы.

Возможно, кто-то посчитал бы странным, что она заговорила со мной. Мы же были соседями пять лет, и до сих пор не разговаривали ни разу. Но нет, музыка ее голоса прозвучала совершенно естественно для меня. Услышав ее голос, я стал припоминать наши прежние встречи, как будто она своими словами разблокировала мою память. Не заговори она со мной, я уверен, что так ничего и не вспомнил бы.

Я встречал ее в дендрарии парка Золотые Ворота; она нежно касалась цветков рододендрона.

Я встречал ее в заповеднике Мюир; она заглядывалась на тамошние секвойи.

Я встречал ее в парке Сатро-Хайтс; она смотрела на океан.

И пока она говорила со мной, я, как бы ни старался, уже не мог отделиться от нахлынувших воспоминаний, не мог полностью сосредоточиться на беседе.

А когда она замолчала, у меня появилось чувство, будто она больше никогда со мной не заговорит. И это казалось вполне естественным. Никакой неловкости, как между случайными людьми, открывшими друг другу душу, а затем разбежавшимися в разные стороны.

Пускай она говорила со мной совсем недолго, я чувствовал, что она открыла мне сокровенные мысли. Она открыла мне свою скорбь по матери.

— Я вам соболезную, — сказал я формальным тоном. Я был уверен, что она ни за что не стала бы искать сочувствия или жалости, но приняла бы формальные соболезнования.

Она улыбнулась, словно именно этого от меня и ждала. Затем склонила голову, отгородившись от меня широкими полями соломенной панамы, и продолжила заниматься своими розами.

Я не считал это за грубость. Мы исполнили необходимую церемонию и теперь были вольны идти дальше собственными дорогами.

Потом я еще не раз видел, как она ухаживает за розами в саду, отгородившись от меня полями соломенной панамы. Порой я только панаму и видел.

Соломенную панаму среди цветущих роз.

* Мити Сода и ее муж Кадзуити жили в доме 658 по 4-й авеню, Сан-Франциско, 1971.

Перевод с английского: Олег Кустов

ТЕАТР

Вячеслав Кушнир

Инта, респ.Коми



УБИТЬ ТАИРОВА

драма

время действия: 1914-49 гг.

место действия: Франция, Россия

персоны:

ТАИРОВ Александр Яковлевич, 38 лет, театральный режиссёр,

КООНЕН Алиса Георгиевна, 36 лет, актриса

ЦЕРЕТЕЛЛИ Николай Михайлович, 31 год, актёр

ЗОРЬКИНА Клара Феофистовна, 22 года, театральный костюмер

ГОРОШЕК Семён Львович, 27 лет, машинист сцены

РАССТЕГАЕВ Всеволод Сергеевич, 27 лет, эмигрант, казак, вахмистр

в отставке

БЕРТРАН Жюль, 29 лет, фермер, армейский сержант в отставке

АРАБЕЛЬ, 24 года, жена Бертрама

ГЕРЕН Гаспар, 33 года, армейский капитан в отставке

ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич, 48 лет, нарком просвещения

ЛИТВИНОВ Максим Максимович, 45 лет, зам наркома по иностранным делам

ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эдмундович, 46 лет, председатель ГПУ при НКВД

1914 год. Июль. День. Сен-Люнер, приморский курорт в Бретани. Номер в отеле «Мои бижу». Здесь Коонен. Стук в дверь.

КООНЕН. Да-да!

Входит Таиров.

ТАИРОВ. Прошу простить за вторжение, Алиса Георгиевна, но ситуация изменилась. Пришла телеграмма от Зонова: «Для разрешения

неотложных вопросов необходим ваш срочный приезд».

КООНЕН. О, нет. А как же цирк!

ТАИРОВ. Знали бы вы, как я огорчён. Но вызов касается лишь меня, оставайтесь.

КООНЕН. Нет-нет, что вы, мне так неловко.

ТАИРОВ. Домашние знают, что вы должны приехать позднее, волноваться не станут, у вас полная возможность задержаться на несколько дней.

КООНЕН. Александр Яковлевич, миленький, поймите меня правильно и простите.

ТАИРОВ. Ещё как понимаю. «Обезьяны Джульетта и Мак показывают семейную ссору! Египетская танцовщица Лия Ней исполняет танец живота с ядовитой змеей».

КООНЕН. «Собака Мажиго - профессор математики. Любимец публики Джон Хозе - непревзойденный король цепей и замков». И ещё ряд замечательных аттракционов.

ТАИРОВ. А ведь так правы были Станиславский и Качалов, когда настоятельно рекомендовали вам этот уютный курорт.

КООНЕН. Я признавалась, что Бретань очень напоминает родину моих предков, Бельгию? То же холодное море, то же бледное, но сияющее солнце, такой же широко раскинувшийся светлый пляж. И вы такой неожиданно страстный любитель моря!

ТАИРОВ. И ко всему стоят чудесные дни. Если бы не театр, я стал бы моряком. Тоскливо будет в дороге одному, но что делать. Пропустить такое сенсационное зрелище казалось мне просто непростительным. Пойду, соберу чемодан.

КООНЕН. Через шесть дней встречайте меня в Москве! Ой, простите, вы не обязаны, меня встретят родные.

ТАИРОВ. Непременно встречу. И поверьте, я встречу вас словами: театр будет! Отдохните, Алиса Георгиевна, набирайтесь сил. Нас, с вами, ждёт наш театр и прекрасное будущее. (Уходит.)

КООНЕН. Ждёт-ждёт, и дождётся!

Затемнение. Гул колоколов.

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Объявлена война! Объявлена война!

1918 год. Тамань. Ночь. Передовая. Здесь Герен, в маскировочной одежде. Через бруствер переползают Расстегаев и раненый Бертран.

ГЕРЕН. Позывной!

БЕРТРАН. Кабан.

РАССТЕГАЕВ. Сокол.

ГЕРЕН. Тунец.

РАССТЕГАЕВ. Ваш ранен, принимайте. А я – к своим.

ГЕРЕН. Как ты? Перевязка нужна? Чем помочь?

РАССТЕГАЕВ. Не надо, всё путём, где надо смазано, где надо связано.

БЕРТРАН. Задание выполнено, объект ликвидирован. На обратном пути я попал в засаду, германцы пленили. Сокол освободил, всех перебил, молодец.

РАССТЕГАЕВ. Фигня – война, главное манёвры, господа французы.

БЕРТРАН. А мог бы уйти один.

РАССТЕГАЕВ. Не, одному скучно. Да ведь и с заданием управились раньше срока, как-то надо было время занять. Ну, Тунец, я пошёл?

ГЕРЕН. Благодарю, Сокол.

БЕРТРАН. Адрес запомнил?

РАССТЕГАЕВ. Не переживай, я злопамятный. Бывай, Кабан, держись нашего роду, как говорится: бог не без милости, казак – не без счастья. (Уходит.)

БЕРТРАН. Счастья, друг!

ГЕРЕН. Откуда русский простолюдин французский так знает? Пословицы свои по-нашему, как на родном!

БЕРТРАН. Говорит, предок был из наших, что-то из наполеоновских времён.

ГЕРЕН. Время.

БЕРТРАН. Идти готов.

ГЕРЕН. Помочь?

БЕРТРАН. Покуда сам, а там посмотрим. Ох, господин капитан, знали бы вы, как я полюбил жить.

ГЕРЕН. Пора в отставку. Мы ещё на задании, Кабан, и я – Тунец. За мной. (Уходит.)

БЕРТРАН. С богом. (Уходит.)

1921 год. Весна. Москва. Тверской бульвар. Таиров наблюдает, как на фасаде здания через дорогу от него, Горошек обновляет вывеску «Камерный театр». От театра идёт Коонен.

КООНЕН. Таиров, тебя убить мало!

ТАИРОВ. Ба-ба-ба-ба.

КООНЕН. Прости, но я же жду. Я жду, жду, жду, а он тарашится на обыкновенную вывеску, как на чудо из чудес.

ТАИРОВ. Чудо, чудо.

КООНЕН. Мне надо показать тебе Джульетту! Я нашла, похоже, важную добавку в сцене смерти.

ТАИРОВ. Ты чудо, Алиса, чудо.

КООНЕН. Как эта вывеска?

ТАИРОВ. Сегодня диспут в Доме Печати, ждут обоих.

КООНЕН. Но я-то им зачем!

ТАИРОВ. Живая Алиса Коонен.

От театра идёт Церетелли.

КООНЕН. Коля, мог бы и в зале дожждаться, в конце концов, супруга находит супруга, полагаешь им не о чем перемолвиться?

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Мне нравится идея Алисы Георгиевны. Единственно, конструкция мешает, длину жеста, заметно для глаза, приходится укорачивать. Я – о себе. Я был уверен, что ты побежала за режиссёром, как актриса, а не как супруга. Прими извинения.

КООНЕН. Извело, господин режиссёр, идёте уже пробовать.

ТАИРОВ. Пойдите, подышите природой, отдохните от театральной пыли.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Александр Яковлевич, я вам правда помешал?

ТАИРОВ. Я вас умоляю, Николай, уж кто-кто, но не вы.

КООНЕН. Горошек катится.

Дорогу, в рабочей спецодежде, с молотком, перебегает Горошек.

ГОРОШЕК. Александр Яковлевич, как оно?

ТАИРОВ. По мне, Семён Львович, встало, как надо. Господа актёры, как вам?

КООНЕН. Ой, да висит и висит, на то она и вывеска, нам-то что, спросите у прохожих.

ГОРОШЕК. А нет-нет, правый угол провисает. Исправим. (Убегает.)

КООНЕН. Машинист сцены занимается чёрт-те чем, молотком на фасаде гвозди вколачивает. Нет, разве, для этого специалистов попроще? Вдруг сверзится, а он ведёт Шекспира, между прочим.

ТАИРОВ. А вот и прохожий! Анатолий Васильевич!

Из аллеи выходит Луначарский, потрясая книгой в руке.

ЛУНАЧАРСКИЙ. «Для меня и небольшой группы лиц, художественно спаянных со мною, было все же ясно, что работа, начатая нами, прекратиться не может, что те новые планы Театра, которые зародились в ее процессе, должны найти почву для своего воплощения, а мы должны продолжать наши искания до той поры, пока в волшебных струях чудесного озера Урдар мы не увидим, наконец, отражения поразившей нас истины».

ТАИРОВ. Книжками балуетесь, Анатолий Васильевич? Добрый день.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Здравствуйте, товарищи.

КООНЕН. Наизусть, прямо очень даже впечатляюще. Рада видеть.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Приветствую.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Такие книжки – не баловство. «Записки режиссёра». Простенько так, парам-парам, а на самом деле – грандиозная вещь!

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Я тоже помню наизусть.

КООНЕН. Ну, ты-то актёр да ещё под руководством автора текста, быть зубрить.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. В тот год меня с вами не было. И всё же, я был. «Было ясно: ни в одном из существовавших театров мы работать не можем. Нам необходим свой театр. Свой театр!.. Кто сосчитает бессонные ночи, полные надежд и отчаяния дни, совершенно неожиданные по невыполнимости проекты, почти бредовые построения, которые, как фантастические замки в воздухе, возникали и рушились в весеннем дурмане безучастного города!

ЛУНАЧАРСКИЙ. «Для театра нужны были: помещение, деньги и труппа. У нас не было ни того, ни другого, ни третьего. И все же — Камерный театр возник. Как?

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Как возникает утро? Как возникает весна?

ЛУНАЧАРСКИЙ. Как возникает человеческое творчество?

КООНЕН. Так возник и Камерный театр — со всей непостижимостью и всей стихийной логичностью подобного возникновения. Он должен был возникнуть — так было начертано в книге театральных судеб.

ТАИРОВ. Ибо иначе как могло случиться, что во всей огромной путаной Москве отыскался дом номер 23 по Тверскому бульвару, в котором домовладельцы уже и сами подумывали о постройке театра, как могло случиться, что Воинское присутствие, солидно разместившееся в залах старинного особняка, как раз доживало последние месяцы своего

контракта, как могло случиться, что мы, категорически отказавшись от меценатств, вдруг, почти уже отчаявшись, в последнюю минуту, обрели двух пайщиков и внесли десять тысяч домовладельцам, подписав с ними договор на пять лет на общую сумму в сто семьдесят пять тысяч! Как могло случиться, что мы в двадцатом веке, не давая никому никаких денежных гарантий, собрали все же вокруг себя нужную группу молодых, талантливых актеров, готовых работать с нами при любых условиях, как могло случиться... Но нет, все равно я не сумею ни передать, ни объяснить всех «как».

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Вы хотите знать историю возникновения Камерного театра? Прочтите «Тысячу и одну ночь», прочтите фантастические рассказы Гофмана, перелистайте страницы Жюль Верна, Майн Рида, Уэллса — и тогда вы, быть может, получите некоторое представление о том, как возник Камерный театр, или, вернее, о том, как до последнего момента мы сами не знали, действительно ли возник он или это только горячечный бред, «каприччио» нашего театрального воображения.

КООНЕН. В фантазмагории возникновения Камерного театра у нас настолько спутались границы воображаемого и реального, так часто казалось нам, что все погибло и таким неожиданным образом все вдруг облеклось снова в плоть и кровь, что когда на улицах Москвы появились наконец первые афиши с заголовками «Камерный театр», то мы просили прохожих читать нам их вслух, чтобы с непреложностью убедиться, что это действительно было, а не мираж, не бред нашего разгоряченного воображения.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Итак, Камерный театр есть факт. Почему Камерный?

ТАИРОВ. Этот вопрос не раз задавали нам и тогда и впоследствии. Мне и моим друзьям по работе это название казалось очень ясным и естественным. Ничто новое в искусстве не находит сразу доступа к художественному восприятию рядового зрителя. Недаром Оскар Уайльд пишет, что публика больше всего на свете боится «новшеств» и что для защиты от них она построила баррикады из классиков и создала особый кадр критиков.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Пример Свободного театра подтвердил это.

ТАИРОВ. Ничто новое не находит сразу доступа к восприятию рядового зрителя. Мы хотим работать вне зависимости от обывателя, крепко засевшего сейчас в театральных залах, хотим иметь небольшую аудиторию своих зрителей, таких же ищущих, неудовлетворенных, как и мы. Поэтому мы и называем наш театр Камерным. Но, конечно, эта вывеска ни одной минуты не будет нас связывать. Ни к камерному репер-

туару, ни к камерным методам постановок мы не стремимся. Напротив, по самому своему существу камерность чужда нашим замыслам и нашим исканиям. Теперь это название театра во многом уже утратило свой первоначальный смысл, но мы сохраняем его, как сохраняет человек имя, данное ему от рождения». И так далее, и так далее.

КООНЕН. И так, каков же наш театр? Александр Яковлевич, помните что вы говорили на первом собрании среди ремонта и строительства, тогда в четырнадцатом? Я не собираюсь сейчас объявлять какую-нибудь точную платформу, — сказал Таиров. — Наша платформа заключается в том, чтобы искать новые пути в театре, экспериментировать. Нашей программой будет борьба. Борьба с теми язвами, которые сейчас искалечили театр и завели его в тупик. В первую очередь борьба с мещанской идеологией и пошлостью, с натурализмом, который расцвел махровым цветом.

ТАИРОВ. В Петербурге, в театре Яворской, в какой-то мелодраме, роскошный ужин, который устраивает героиня в своих апартаментах. Его привозили в театр из дорогого ресторана. Актеры на глазах у зрителей глотали устриц, на стол подавались куропатки, пылающие в вине, а после ужина в зал несло благоухание сигар. Публика кинулась на эту приманку. И спектакль шел с аншлагами.

КООНЕН. Предстоит нам борьба, — продолжал Александр Яковлевич, — и с условным театром. Он тоже объявил войну натурализму, но не может оказать ему должного противодействия, так как отрицает живую эмоцию актёра и превращает его в мертвую маску. Надо вернуть театру театр, вернуть ему его первородное начало, его могущество. Надо раскрепостить актера, раскрыть все средства его сценической выразительности - эмоцию, жест, голос. Актёр должен стать подлинным хозяином сцены!

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Аминь.

ТАИРОВ. Дорогие мои... родные... замечательные...

ЛУНАЧАРСКИЙ. Я подхожу, смотрю, они вывеску поновляют. А у меня книжка в портфеле очень кстати.

ТАИРОВ. Какими судьбами, Анатолий Васильевич?

КООНЕН. И почему пешком, без охраны? На вас могут сделать покушение.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Решил лично выступить на открытии диспута о вашем спектакле, потому и заглянул к вам на полчаса, обсудить несколько тезисов.

ТАИРОВ. Что-то не так, вы же не планировали... А, понял. Будет Мейерхольд?

ЛУНАЧАРСКИЙ. Да. Причём, Всеволод Эмильевич намеревается прибыть с внушительным десантом.

КООНЕН. Неужели он опять спровоцирует примитивную драку. Стенка на стенку. Причём, с обеих сторон культурная молодёжь.

ТАИРОВ. Он, похоже, совсем перестал понимать, что происходит. Революция – не игрушка.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Охрана, Алиса Георгиевна, наркому просвещения не положена. Да Бог с вами, товарищи, кому я нужен, чай, не Ленин.

ТАИРОВ. Нельзя недооценивать значение просвещения, особенно сейчас, в первые годы строительства новой страны.

ЛУНАЧАРСКИЙ. С оценкой всё в порядке, Александр, не сомневайся, и с самооценкой тоже.

ТАИРОВ. Мне ли не знать. По-настоящему крупные личности меняются только в истории, а не в быту.

ЛУНАЧАРСКИЙ. А пройтись пешком по Тверскому, мамочка моя, это же невероятное счастье, Алиса Георгиевна, обыкновенная человеческая радость.

ТАИРОВ. Тем более для кремлёвского квартиранта. Извини, Анатолий Васильевич.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Вот-вот! Ты как всегда точен в формулировках. Что – я, у нас принцы пешком по Москве гуляют. Верно, Ваше Высочество?

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Наше высочество, господин нарком, попало в Камерный театр, и теперь все прогулки ограничиваются очерченной территорией.

КООНЕН. О, свет наших очей, Саид Мир Худояр Хан, тебе что-то не нравится в границах территории?

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Лиса! Ты выучила моё имя! О, я счастливейший из земных червей, меня знает сама Императрица русского театра.

КООНЕН. Сейчас как дам подзатыльник.

ТАИРОВ. В новом сезоне ставлю «Федру».

КООНЕН. О, да!

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Да?

КООНЕН. Да!

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Да...

ЛУНАЧАРСКИЙ. Александр! Я понимаю: Шекспир, «Ромео и Джульетта», известный всем текст, сотни, тысячи интерпретаций. Безобидная история. Каждый человек в душе Ромео или Джульетта, как минимум посочувствуют. Но «Федра»! Мачеха безнадежно влюблена в пасынка. Караул! Разномастная публика. Сейчас двадцать первый год, война на войне, смерть на смерти...

ТАИРОВ. Жизнь на жизни.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Голод, разруха.

ТАИРОВ. Радость, согласись, не убиваема.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Ну, так и делай комедию, оперетту, в чём ты великий мастер.

ТАИРОВ. Трагедия, нужна трагедия. По форме, понятно. Во время гражданской войны семейная трагедия есть самый, что ни на есть, необходимый жанр. Для зрителя. Для человека, зашедшего в театр на огонёк из самого горнила гражданской войны. Не говоря уже об актёрах нашего театра. Таких, как Коонен, Церетелли.

ЛУНАЧАРСКИЙ. У меня нет слов.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Позвольте ремарку, Александр Яковлевич. Предлагаю вернуть первоначальное название, что дал сам автор.

ТАИРОВ. Удивительный народ – актёры, просто сказка. Церетелли уже знает, что будет вести Ипполита. Верно, Николай, вы – Ипполит. Но ставить будем Расина. Переведёт Брюсов, договорились. Уйдём от Расиновского осовременивания, вернёмся к чистой трагедии. Художником попрошу Веснина. Мне видится образ палубы корабля, терпящего крушение. Впрочем, мои соавторы спектакля сами с усами, могут такое предложить, что только ахнешь. «Федра» станет первым нашим спектаклем, в котором эмоциональной стороне будет как бы отдано преимущество. Будет откинуто много подсобных элементов, вроде музыки, сложной декорации. Актёр предстанет перед публикой во всеоружии своего мимического, пластического и декламационного искусства, направленного на раскрытие глубокого и многозначительного трагического замысла.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Таиров неизменен. Риск, риск и риск. Ради красоты. Но Алиса Георгиевна! Вы же так юны для этой роли. Федру во всём мире играют зрелые, опытные актрисы. Да и то лишь величайшие!

ТАИРОВ. Алиса Георгиевна справится.

КООНЕН. Знаете, что означает имя Федра? Светлая! Можете представить, что сделал бы с пьесой мой обожаемый Мейерхольд? Назвал бы Светланой, сделал бы её крестьянкой, пасынка – фабричным рабочим и перенёс бы действие в трактир.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Ничего, Алиса, не переживай, нас туда не позвали бы. В интерьер общепита не вписываемся. А без нас на Москве никакой «Федры» быть не может.

КООНЕН. Ну, Ипполит, скажем, нашёлся бы и не один.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Поставить на сцену можно хоть кого, первую попавшуюся корову и озвучить из-под хвоста монологом Федры, но сыграть

Ипполита могу только я.

КООНЕН. То есть он – Ипполит, а я – случайная корова?

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Нет, не случайная.

ТАИРОВ. Господин Церетелли!

ЛУНАЧАРСКИЙ. Товарищ.

ТАИРОВ. Что?

ЛУНАЧАРСКИЙ. Господ больше нет, теперь все товарищи.

ТАИРОВ. Товарищ... Николай, Алиса, идёте в театр, покажете, что там надумали. Анатолий Васильевич, завтракали?

ЛУНАЧАРСКИЙ. По-моему, да.

Входит Зорькина.

ЗОРЬКИНА. Эй, постойте! Погодите! Мне на вахте сказали, где-то тут Таиров на бульваре. Ой, товарищ народный комиссар, здрастье. Вы у нас лекцию рассказывали, хорошо так, складно.

Дорогу перебегает Горошек.

ГОРОШЕК. Александр Яковлевич, похоже, теперь полный порядок. Приветствую, Анатолий Васильевич.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Здравствуй, Семён. Хорошо выглядишь.

ГОРОШЕК. Так ведь лето, отпуск...

ЗОРЬКИНА. Эй, я тут раньше пришла.

ГОРОШЕК. Чего?

ЗОРЬКИНА. Чего-чего, в очередь, чего.

ТАИРОВ. Я – Таиров.

ЗОРЬКИНА. Правда?

ТАИРОВ. Правда. Какой есть.

ЗОРЬКИНА. Ну, да. Я хочу в артистки записаться. Мне подсказали, я выучила стих из пьесы, могу танцевать, причём, запросто, петь у нас в родне все голосят, закачаешься.

ТАИРОВ. Как вас звать?

ЗОРЬКИНА. Зорькина.

ТАИРОВ. Александр Яковлевич.

ЗОРЬКИНА. Кто?

ТАИРОВ. Так меня звать.

ЗОРЬКИНА. А! Извините, волнуюсь ведь. Клара. Феоктистовна. Из Тарусы мы, Зорькины.

ТАИРОВ. Замечательно. Сезон в театре кончился. Принять в основ-

ную труппу, к сожалению, не можем, просто нет вакансий. Вам надо поступать в нашу школу, но они сейчас тоже выходят на летние каникулы. Приходите в августе, когда будет проводиться конкурсный набор на курс. А сейчас, простите великодушно, нам надо идти.

ЗОРЬКИНА. Вопрос! Точно в августе?

ТАИРОВ. Абсолютно.

ЗОРЬКИНА. Меня будут ждать?

ТАИРОВ. Школа при нашем театре всегда ждёт новых соискателей.

ЗОРЬКИНА. Я не искатель, я уже нашла. Камерный театр и – точка. Так что, берите прямо сейчас, чего ждать. И мне так удобней, чтоб дома сейчас объявить. Им же время надо, чтоб уяснить.

ЛУНАЧАРСКИЙ. К сожалению, сейчас невозможно, есть порядок поступления, утверждённый в наркомпросе. Нарушения неприемлимы. Время, товарищи, идёте.

ГОРОШЕК. Нарком знает, что говорит.

ЗОРЬКИНА. Вот тебя спросить забыли! Лезет тут. Хорошо, последний вопрос, товарищ Таиров.

ТАИРОВ. Да, слушаю вас, Клара Феокистовна.

ЗОРЬКИНА. Точно. Наизусть, ишь ты.

КООНЕН. Вопрос, девушка.

ЗОРЬКИНА. Извините, женщина, не с вами разговаривают. Товарищ Таиров, вы точно знаете, что меня ждать будут в августе?

ТАИРОВ. Точно.

ЗОРЬКИНА. Значит, я смело и ответственно могу оповестить, что поступила в Камерный театр?

КООНЕН. Всё, хватит. У вас ворох последних вопросов. Делайте, как знаете. Прощайте, до августа.

ЗОРЬКИНА. А она кто?

ГОРОШЕК. Дитя Тарусы, это же Алиса Коонен.

ЗОРЬКИНА. Да ладно... Сама? Ох, точно она. Сама! (Визжит.) Алиса!!!

ЛУНАЧАРСКИЙ. Какой голос, восторг.

ГОРОШЕК. Кончай визжать, девушка, уши вянут.

ЗОРЬКИНА. Тронуть! Дайте тронуть! Алиса Коонен, дайте мне вас тронуть или я умру!

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Пойду, извините. Я – на сцене. (Уходит.)

ТАИРОВ. Алиса, и нам пора. Идёмте, Анатолий Васильевич.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Для диспута мне необходимы точные сведения о постановочной группе, поимённо... (Уходит с Таировым.)

КООНЕН. Трогайте уже, товарищ, да я пойду. Ну же.

ЗОРЬКИНА (трогает Коонен). Ой. Тёплая.
КООНЕН. Теплюсь-теплюсь, не сомневайтесь. Всего хорошего. (Уходит.)

ЗОРЬКИНА. Я такая чумная.

ГОРОШЕК. Ага.

ЗОРЬКИНА. Чего «ага»!

ГОРОШЕК. Взволнованная, очаровательная.

ЗОРЬКИНА. Ну, да. Какие люди! Не то, что мы. А кто был тот мужчина, красивый такой, азиатский?

ГОРОШЕК. А, Николай Михайлович.

ЗОРЬКИНА. Напоминает кого-то, сообразить не могу.

ГОРОШЕК. Может быть, себя и напоминает.

ЗОРЬКИНА. Спектакли все видела, всю массовку опознаю, а этот – директор, что ли, что не знаю.

ГОРОШЕК. Это был Церетелли.

ЗОРЬКИНА. Николай?

ГОРОШЕК. Николай.

ЗОРЬКИНА. Николай Церетелли?

ГОРОШЕК. Да.

ЗОРЬКИНА. Вот здесь стоял Николай Церетелли!? Рядом со мной!?

ГОРОШЕК. Да успокойтесь, вас трясёт.

ЗОРЬКИНА. Николай Церетелли... бог мой. (Падает в обморок.)

ГОРОШЕК (подхватывает Зорькину.) Ох, ты чёрт! Доктора! А? Что делать!? Помогите! Девушка, девушка! И – никого нигде. Не ожидал, такая, вроде, крепкая. Ох, придётся грубо взять и отнести! Эй! Эй, не умирай! (Уносит Зорькину через дорогу, в театр.)

Лето. Парижская улочка. Вечер. Входит Бертран, с поклажей. За ним, поодаль, идёт Расстегаев. Бертран резко останавливается, обернувшись к Расстегаеву.

РАССТЕГАЕВ. Ох! Виноват. Господин Бертран...

Со спины к Расстегаеву подходит Арабель, с револьвером.

АРАБЕЛЬ. Не двигаться, пристрелю.

РАССТЕГАЕВ. О, нет, я не грабитель! Сержант! Я русский казак, помните? Вахмистр Расстегаев – я. Мы вместе в Крыму выполняли задания наших командований, в восемнадцатом! Когда германцы десант

на Тамань бросили.

БЕРТРАН. Твой позывной?

РАССТЕГАЕВ. Сокол. Я – Сокол, а ты – Кабан!

БЕРТРАН. Верно. Тебя не узнать.

РАССТЕГАЕВ. Увидел тебя на рынке, постеснялся окликнуть. Прости, что напугал, не хотел. Я в затруднении. А ты даже в гости пригласил, у меня есть твой адрес в Дижоне.

БЕРТРАН. Трудно узнать.

АРАБЕЛЬ. Почему же не приехал в гости?

РАССТЕГАЕВ. Бургундия для меня не ближний свет. Да и неловко. Надеялся своими силами.

АРАБЕЛЬ. Побираешься?

РАССТЕГАЕВ. Да.

БЕРТРАН. Здравствуй, Всеволод.

РАССТЕГАЕВ. Здравствуй, Жюль.

БЕРТРАН. Арабель, это тот самый русский, кто вытащил меня из большевистского плена.

РАССТЕГАЕВ. Да ладно, союзник, ты меня тоже выручал.

БЕРТРАН. Верно. И не раз. Шоколадом на закуску! Поехали. У нас, с Арабель, под Дижоном замечательный виноградник.

АРАБЕЛЬ. Арабель.

РАССТЕГАЕВ. Всеволод Расстегаев. Просто Сева.

АРАБЕЛЬ. Добро пожаловать, дорогой гость.

РАССТЕГАЕВ. Благодарю.

БЕРТРАН. Арабель, возьми тюк.

РАССТЕГАЕВ. Я помогу нести!

БЕРТРАН. У меня возьми, тюк лёгкий, а вот мои руки уже отрываются. Пойдём уже, нам ещё добираться.

АРАБЕЛЬ. Не ближний свет. (Уходит с Бертраном и Расстегаевым.)

Осень. Ночь. Театр. Подсобное помещение, оборудованное для отдыха Таирова и Коонен. Коонен дремлет на диване, с книгой. Входит Таиров.

КООНЕН. Не осторожничай.

ТАИРОВ. Спи-спи, малыш.

КООНЕН. Ложишься?

ТАИРОВ. Неловко признаться, но да. Ура.

КООНЕН. Ура-ура-ура.

ТАИРОВ. Веснин доволен, я счастлив, наконец-то макет готов, можно строить.

КООНЕН. Саша, я боюсь.

ТАИРОВ. Тебе-то чего бояться, ты-то как раз в порядке. А вот Коля, конечно, мучается. Его восточная внешность куда сильнее римского воина.

КООНЕН. Справится?

ТАИРОВ. Должен. Другого Ипполита у нас нет. И не надо. Справится и будет, как всегда, гениален. Алиса, тебе не следует оставаться на ночь в театре, спи дома.

КООНЕН. Я с тобой.

ТАИРОВ. Физическое здоровье дороже. Но главное, малыш, что ты остаёшься здесь не из-за нас, а из-за Федры. Не можешь расстаться.

КООНЕН. Разве дурно?

ТАИРОВ. Не знаю. Не знаю, дорогая. Трагедию мы ставим впервые, кто знает, чем чревата близость с образом. Не знаю.

КООНЕН. Сделаю Федру, а там хоть потоп.

ТАИРОВ. Но-но! Театр важнее одного спектакля, даже такого.

Стук в дверь.

КООНЕН. Не может быть! Слышишь?

ТАИРОВ. Нет.

КООНЕН. Кто-то стучит к нам.

ТАИРОВ. Веснин, конечно. Я уже спал. (Идёт к двери.)

КООНЕН. Завтра точно уйду домой, не могу смотреть, как ты себя не бережешь. И никто не бережёт.

В дверях – Церетелли.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Мне надо пойти на кладбище.

КООНЕН. Что? Четыре ночи!

ТАИРОВ. Ну, ничего, значит, Коле так нужно. Да, оденусь только. (Уходит в смежную комнату.)

ЦЕРЕТЕЛЛИ. На улице дождь! Оденьтесь теплее.

КООНЕН. Коля, ты с ума сошёл?

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Вот как раз этим и занят. Делаю всё, чтобы остаться.

КООНЕН. Где?

ЦЕРЕТЕЛЛИ. В уме.

КООНЕН. Зачем же Александра Яковлевича тянуть за собой?

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Больше некого. Я же вас не разбудил.

КООНЕН. Именно, что разбудил!

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Как можно спать с этой замечательной трагедией. С ней, как с прекрасной женщиной, заснуть нельзя.

КООНЕН. Ну, и не спал бы один, Таирова щадить надо!

ЦЕРЕТЕЛЛИ. А ему она нужна, наша пощада? Нет, Алиса Георгиевна, нет. Как сама?

КООНЕН. Ужасно. Как объявили, что выпускаем «Федру», меня просто осадили, замучили заботой. Все мхатовские старики приходили или присылали кого-нибудь, отговорить. Южин отчитывал Таирова, как самого натурального палача.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Ты – великая, Алиса, выдюжишь.

КООНЕН. Я – великая?

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Да. И ты, и Таиров. А главное, наш Камерный. Величественнее Расина и Еврипида. И я. Да, я тоже великий. Надо только ещё лет пять-десять, чтобы это уяснилось всеми, уложилось в сознании критики, и оформилось историческим фактом. Нет, Таиров величественнее нас всех, вместе взятых, он наравне с самим театром. Значит, мы сейчас не великие, а просто выдающиеся. Сейчас. Пока. А уже потом. Но при всём том, без меня ещё можно обойтись, а без тебя уже нет. Не спорь, не возражай, не хвали меня, пожалуйста, ты знаешь, я прав. Меня надо заменить.

КООНЕН. Нет!

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Не спорь. Я слишком бухарский принц, чтобы стать римским воином. Королевская кровь, конечно, кстати, хотя эмират – не империя, но всё же. А вот Бухара... прёт изо всех пор!

КООНЕН. Коля, послушай меня.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Нет! Я же просил, не надо рассказывать, какой я замечательный. Я знаю о себе много, если не всё. И потому уверен, что Ипполит – не я. Набрал студию. И ведь замечательный же набор! Не справляюсь. Зачем было вообще начинать, столько людей смутил. Мо-да, все открывают свои студии, и я туда же.

КООНЕН. Ну, ты же с Женей Вахтанговым вместе учился, семена-то посеяны те же. Могло бы и получиться.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Там есть молодой человек, Юлик Хмельницкий, вот уж кому и бог дал, и сопротивления никакого с Ипполитом. Если не оставит нашего ремесла, выйдет мне замена. Я многое знаю, ещё больше предвосхищаю, но ничего, оказывается, не умею! Ни как педагог, ни как режиссёр. Я только актёр и – всё. С ярко выраженной восточной внешностью. И если бы не доброта Таирова, век бы мне торчать в ми-

мансе, изображать народные массы. Да там и другие ребята очень и очень наши!

КООНЕН. Но кладбище-то тебе сейчас зачем?

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Кладбище? Какое?

КООНЕН. Я не знаю, куда ты собрался с Александром Яковлевичем.

Входит Таиров.

ТАИРОВ. Николай, я правильно оделся?

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Куда?

ТАИРОВ. На кладбище.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. А зачем нам туда? Нет, конечно, если вы считаете, что ночной поход на кладбище необходим для Ипполита, я – с радостью. Вернее, без радости, но пойду. Да.

ТАИРОВ. Думаю, поможет. Уверен.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Правда!? Я готов.

ТАИРОВ. Замечательно. Мы, втроём, по душам редко встречаемся. Впрочем, и сейчас не время. Но хочу признаться, я счастлив, что у нашего театра два таких потрясающих актёрских лидера. Вы оба – мои кумиры. Вспомнил! Мне сегодня пришло письмо. Из Парижа. Не просто письмо, приглашение. Где же оно? Вот! Написал директор Theatre des Champs Elysees, господин Жак Эберто. Пишет, что слышал о Камерном театре самые восторженные отзывы.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Вот так.

ТАИРОВ. Нас приглашают принять участие в интернациональном сезоне, в Париж. А, каково? Соблазнительно показать наши спектакли в Париже?

КООНЕН. Желаем! Все!

ТАИРОВ. Завтра же снесусь с Луначарским.

КООНЕН. Когда?

ТАИРОВ. В феврале двадцать третьего. Через год с лишним, уйма времени. А ещё у меня возникла идея с опереттой, примемся сразу после премьеры «Федры».

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Надеюсь, мы не повезём в Париж «Федру»?

ТАИРОВ. Напротив.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Александр Яковлевич, меня надо срочно заменить. Я не справляюсь с образом. Он сильнее меня!

ТАИРОВ. Так всё, Коля, пошли.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Куда?

ТАИРОВ. На кладбище.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Вы помните? Как хорошо. У меня такая же мысль была, а мотивации найти не мог. Как прекрасно, что я к вам зашёл! Я жду вас на выходе.

ТАИРОВ. Нет уж, теперь вместе, до конца, не расставаясь, до гробовой доски.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Хорошо бы.

ТАИРОВ. Porro! Впрочем, латынь не к месту. De l'avant! Так точнее.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. А по-русски?

ТАИРОВ. Вперёд! Алиса, спи спокойно, мы вернёмся. (Уходит с Церетелли.)

КООНЕН. Спи? Ага, сейчас. Нет уж, Федра так Федра. Репетировать! На сцену, на сцену... (Уходит.)

1922 год. Февраль. Коридор в Кремле. Идёт Луначарский, навстречу – Литвинов.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Ну как?

ЛИТВИНОВ. Грандиозно! Шедевр – не то слово, не передать!

ЛУНАЧАРСКИЙ. А я вам, что говорил.

ЛИТВИНОВ. Ничего подобного в Европе нет. «Федра» - совершенство! У нас есть настоящая трагическая актриса! С ума сойти!

ЛУНАЧАРСКИЙ. А Церетелли?

ЛИТВИНОВ. О, да. И не скажешь, что узбек, утончённый аристократ, настоящий римский солдат, просто невероятный актёр! Актёрище!

ЛУНАЧАРСКИЙ. А какая умопомрачительная красота от режиссёра, а? Гений.

ЛИТВИНОВ. Таиров более, чем гений, он сам – театр. Не Камерный, нет, вообще, как само понятие. Таиров - театр во плоти! Чудо.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Владимир Ильич дал добро на поездку Камерного театра в Париж. Я только что от него.

ЛИТВИНОВ. Не сомневался, Старик прозорлив. Но боязно, нет?

ЛУНАЧАРСКИЙ. Ещё как. Так-то бы я уверен в избранном репертуаре, но «Федра» в Париже!

ЛИТВИНОВ. Таиров решается на такое? Да он с ума сошёл. Сара Бернар ещё жива, прости, товарищ господи, публика не примет. Анатолий Васильевич, надо отговорить.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Потому-то и шёл к вам. Я, хоть и нарком, но старый друг и всё же по линии просвещения. А вы – другое дело.

ЛИТВИНОВ. Хотя и замнаркома, но всё же по иностранным делам.

ЛУНАЧАРСКИЙ. И друг театра. Александр к вам очень прислушается, всё же вы знаете нынешнюю Европу не понаслышке и театральную в частности.

ЛИТВИНОВ. Официальных отношений с Францией мы не имеем. Правая буржуазная пресса шипит о большевистских ужасах. В Париже сосредоточена огромная масса белоэмигрантов. Как видите, ситуация сложная. Театру там придётся хорошо собраться, не отвлекаться впечатлениями, которые, естественно, нахлынут в поездке, и держать спектакли и каждому свою роль на самом высоком уровне. Отношение к Советской России там резко противоречиво: с одной стороны, недоверие ко всему, что исходит из нашей страны, с другой — большое любопытство. Но в передовых кругах художественной интеллигенции будет интерес другого порядка. Они станут ждать от Таирова новых идей, новых мыслей, новых исканий.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Кого вы назвали бы в числе прогрессивных художников, интересующихся нашим искусством?

ЛИТВИНОВ. Не сомневаюсь, что искать дружбы с Таириным станут Жемье, Бати, Дягилев, Пикассо, Леже, Кокто.

Входит Дзержинский.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Приветствую, товарищи.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Доброе утро, Феликс Эдмундович.

ЛИТВИНОВ. Здравствуйте.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Все мы, Максим Максимович, положили линию жизнь на алтарь революции, просто ваше служение заключается в том, чтобы всё было по правилам и красиво, а моё — следить за тем, чтобы алтарь не был пуст.

ЛИТВИНОВ. Всему есть пределы, товарищ Дзержинский.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Ни вы, ни я пределов не устанавливаем, на всё есть линия партии. Террор, товарищ Литвинов, пока никто не отменял.

ЛИТВИНОВ. Я подал записку в Центральный Комитет.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Знаю, читал.

ЛИТВИНОВ. Только наладишь деловые контакты с фирмой, а её представители уже расстреляны. И ведь не раз, не два. Государство нуждается не только в сиюминутных денежных вливаниях, но и в долгосрочных контрактах. Надо же это понимать.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. А я понимаю. Потому и нет у меня к вам никаких претензий. Просто у каждого свой участок работы и своя ответственность. Мы оба правы. Вчера ночью говорили с Лениным. Ильич отдал

распоряжение наркомату юстиции ввести законодательные рамки, не отменяя террора. Враг ещё силен. Нет у нас другого пути, товарищи. Покуда нет. Товарищ Луначарский, нам, с вами, очень надо встретиться, обсудить комплекс мероприятий по линии наркомата просвещения в отношении улучшения жизни детей.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Да-да, беспризорность – страшный бич республики. По самым приблизительным подсчётам пять миллионов бесхозных детей.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Уже меньше. Так вот, насчёт этого самого «меньше» нам и надо поговорить. Детские дома, городки, коммуны нуждаются во внимании не только педагогов, но и деятелей профессионального искусства.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Понимаю.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. А я не понимаю, зачем нам буржуазные «Федры» и прочие Таировские игрушки с бирюльками. Нужны детские спектакли, концертные выступления, с репертуаром целенаправленно относящимся к детству, особенно неблагополучному. По данному вопросу, товарищ Луначарский, готов к общению в любое время суток.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Согласен. Горячо «за». Немедленно займусь.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Детство – это святое, потому что есть оно будущее нашего государства, а сиротство – его опора.

ЛИТВИНОВ. Щит и меч?

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Именно! И щит, и меч. Аминь! Государство должно стать сиротам мамами-папами, чтобы не сомневались, кому они обязаны жизнью. И воспитывать, воспитывать, воспитывать.

ЛИТВИНОВ. В целом, верно.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Простите, помешал вашей беседе. Товарищ Литвинов, честное партийное слово, ни обиды, ни зла за вашу рабочую записку на вас не держу. Вы правы. Всего доброго. (Уходит.)

ЛУНАЧАРСКИЙ. Поразительный человек. Какие крайности уживаются в одной душе. Вот уж воистину персонаж для современной трагедии. Слышали его афоризм? «Если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка».

ЛИТВИНОВ. Озорно. «Hell is full of good meaning and wishings».

ЛУНАЧАРСКИЙ. «Ад полон добрыми намерениями и желаниями».

ЛИТВИНОВ. Точно. Английский богослов XVII столетия Джордж Герберт написал это в книге «Jacula prudentium».

ЛУНАЧАРСКИЙ. Неужели нельзя по-другому.

ЛИТВИНОВ. Можно. Но Таиров один, им одним всю страну красотой не охватишь.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Будут, будут Таиловы, Вахтанговы будут. Радость и красота – единственное, что нужно человечеству, да другого и не надо.

ЛИТВИНОВ. Вахтангов умирает. Почему он с Таиловым не поладил. Может, и к лучшему, нам неизвестно.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Значит, богословие утверждает, что райская дорога ведёт в ад. Ну, мы – атеисты, у нас свой путь: в рай – по адской дороге. Как-то так.

ЛИТВИНОВ. Если откровенно, я уверен в «Федре», но рисковать в первой зарубежной гастроли театра из Советской России мне кажется неразумным.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Вот попробуем, с обеих сторон, уговорить. Хотя успех русской «Федры» на родине Расина – это было бы больше, чем успех.

ЛИТВИНОВ. Это был бы триумф. Причём, поверьте старому дипломату, не только театральный. Но и политический, что гораздо важнее.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Да-да, государство нуждается в прорыве на интеллектуальном уровне. И что всего существеннее, в прорыве душевной блокады России остального мира. Прощайте, Максим Максимович. (Уходит.)

ЛИТВИНОВ. Прощайте. Чёрт знает, может, и не вмешиваться. Таиров до сих пор не проиграл ни одной битвы. Он что-то знает про этот мир такое... может, и не знает, но чувствует его зерно. Дай ему товарищ бог всего хорошего... и нас не забывай.

Входит Дзержинский.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Максим Максимович, Таиров – это же псевдоним?

ЛИТВИНОВ. Да.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Но он же не был подпольщиком.

ЛИТВИНОВ. Искусство и революция, во многом, как близнецы или, скорее, двойняшки.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Его настоящая фамилия Корнблит?

ЛИТВИНОВ. Да.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Начальник милиции Московско-Балтийской железной дороги приходится ему братом?

ЛИТВИНОВ. Родным и младшим.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Говорят, что на один квадратный метр советского искусства приходится слишком много евреев.

ЛИТВИНОВ. Что поделаешь, талантливый народ.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. А вы, товарищ Литвинов, уверены, что ваш Таиров

вернётся? Товарищ Луначарский ушёл, жаль. Они старые друзья, с него спросить бы. Что, если он останется в Европе? Коонен – подданная Бельгии.

ЛИТВИНОВ. Она москвичка с рождения, подданство – дань уважения к отцу.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Церетелли тоже не местный, возможно, не наш. Здесь голод, холод, разруха, Дзержинский. Вот так, со всем скарбом, на всеобщее мировое обозрение, ба-бах и – в дамки. А?

ЛИТВИНОВ. Таиров вернётся. Он живёт ради театра, а Камерный театр возможен только при стабильной государственной поддержке, без подлых капиталистических уловок, которых Александр Яковлевич хлебнул сполна. Советское государство вернуло ему прежнее здание, присвоило звание Академический, со всеми соответствующими материальными подпорками. Таиров вернётся.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Ну, да ведь родственники есть у всех, уж они-то точно ответят на все нами поставленные вопросы. Если, конечно, они возникнут.

ЛИТВИНОВ. Феликс Эдмундович, все мы люди, верьте нам, как себе.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Не верю. Я в детстве мечтал стать ксёндзом. Священник – такое ёмкое слово, такой могущественный смысл. Так верил, так верил!.. и вдруг – хлоп, а бога-то нет. Не надо, ничего не говорите. Думаю, нам ещё предстоит встретиться по поводу гастролей Таировского театра. Наговоримся. (Уходит.)

ЛИТВИНОВ. *C'est la vie, camarades, c'est la vie. Rien n'y fit.* (Уходит.)

1923 год. Февраль. Франция. Дижон. Двор фермы. Бертран плотничает. Входит Арабель, с ведром молока.

АРАБЕЛЬ. Я – на рынок, Жюль. Молоко всё сдадим или как?

ГЕРЕН. Всё, всё.

АРАБЕЛЬ. Кто-то пришёл, кажется, калитка стукнула. (Уходит.)

ГЕРЕН. Не жалею молоко, людям – здоровье, нам – деньги. Не жалей.

Входит Герен.

ГЕРЕН. Честь труду.

БЕРТРАН. Благодарю, присоединяйтесь, на всех трудов хватит. Ка-

питан!? Вот это сюрприз!

ГЕРЕН. Герен. Никаких капитанов, сержант. Ты – Жюль, я – Гаспар. Война кончена. Если такое вообще возможно.

БЕРТРАН. К столу?

ГЕРЕН. Нет, благодарю. Дело к тебе.

БЕРТРАН. Со всем уважением, слушаю. Гаспар?

ГЕРЕН. Точно так, Жюль. Уединиться бы.

БЕРТРАН. Жена уехала на рынок, работники - за пределами двора, мы одни.

ГЕРЕН. Жена, небось, молоденькая, богатенькая бургундочка...

БЕРТРАН. Нет. Фронтовое родство – штука странная, оказывается, прилипчивее мирных отношений. Сам удивляюсь, прибились друг к другу, и нам – хорошо.

ГЕРЕН. И как она?

БЕРТРАН. Коровы, коровы, коровы и всё, что эта скотина даёт, больше никаких, слава тебе, господи, посторонних мыслей.

ГЕРЕН. Хорошо. Появилась возможность и ссуду погасить, и все кредиты закрыть, и остаться с прибылью.

БЕРТРАН. Быть не может, ты тоже стал фермером?

ГЕРЕН. Я – о тебе.

БЕРТРАН. Прости, Гаспар, я никогда особенно не задумывался, а теперь и вовсе отказался от этой нагрузки.

ГЕРЕН. Нужно ликвидировать проблему. Человеческую проблему.

БЕРТРАН. А говорили, господин капитан, что в отставке.

ГЕРЕН. Армия не при чём, Жюль. Чисто гражданский бизнес. Я в нём тоже новичок. Ну, не совсем, но всё же.

БЕРТРАН. Гарантии оплаты?

ГЕРЕН. Гонорар сполна и сейчас же. Под расписку, конечно. По выполнении работы, закроем и банковские вопросы, в течение суток.

БЕРТРАН. Мне нравится. Но расписка.

ГЕРЕН. Это для меня. Реальные расчёты ведутся со мной. Ты проходишь, как анонимный помощник.

БЕРТРАН. Аноним и кредиты?

ГЕРЕН. Во всяких хлопотах есть издержки. Скажем, что аноним тебе задолжал.

БЕРТРАН. Детский лепет на лужайке, Гаспар.

ГЕРЕН. Отказываешься?

БЕРТРАН. Предположим.

ГЕРЕН. Придётся в кратчайшие сроки выплатить и ссуду, и кредиты. То есть остаться без кола и двора.

БЕРТРАН. Но-но!

ГЕРЕН. В чём загвоздка?

БЕРТРАН. Как-то очень складно.

ГЕРЕН. Проблема международная, потому всё просто и без обиняков. Как мировая война. Великая война. Политики и газетчики так теперь называют эту мясорубку.

БЕРТРАН. Человек для меня давно не проблема. А вот благосостояние фермы и виноградников – это серьёзно. Я согласен. Если меня иногда будут и впредь привлекать, время от времени, к подобным паке-там, возражать не стану.

ГЕРЕН. Отлично. (Достаёт пакеты из сумки.) Вот деньги.

БЕРТРАН. Ого! Увесисто.

ГЕРЕН. Прочти бумагу и распишись. Вот самописка. (Подает ручку.)

БЕРТРАН. Германская.

ГЕРЕН. Да? Мне всё равно.

БЕРТРАН. Солидарен. Отличный документ, всего десяток слов и никаких комиссий. (Подписывает.) Вот расписка, вот самописка.

ГЕРЕН. В этом пакете все исходные данные для работы. Оружие, по необходимости, доставлю. У тебя месяц на подготовку, но с планом лучше уложиться пораньше. Тем более, что гастролы начинаются уже на следующей неделе.

БЕРТРАН. Гастроли?

ГЕРЕН. Объект – театральный режиссёр из России.

БЕРТРАН. То есть лопух.

ГЕРЕН. Совершенно верно. Без специальной охраны. Есть там кто-то, но несерьёзно. Хотя разберись. С ним супруга, ведущая актриса. По ней никаких ограничений и никаких целей.

БЕРТРАН. Может жить. Режиссёр-то чем заслужил честь быть убитым наёмным убийцей?

ГЕРЕН. Ты стал любопытен?

БЕРТРАН. Нет-нет, земля ему пухом.

ГЕРЕН. Объект – фигура чрезвычайно общественная, спрос на него огромный, поэтому будет постоянно в окружении наших звёзд. С ними аккуратно, не задень.

БЕРТРАН. Например?

ГЕРЕН. Жан Кокто, Пабло Пикассо.

БЕРТРАН. Не знаю.

ГЕРЕН. А Сару Бернар знаешь?

БЕРТРАН. Что-то слышал на фронте, ребята трепались. Певичка?

ГЕРЕН. Великая трагическая актриса Франции мирового значения!

БЕРТРАН. Вот ведь какая великая, аж не разглядеть. Так бывает. Это плохо?

ГЕРЕН. Это замечательно. Ну, а Таирова ты точно не знаешь. На то и расчёт. Нужен исполнитель без сантиментов и квасного патриотизма.

БЕРТРАН. Патриотизм придуман для дебилов, как и брак. Если любишь, не трепись, просто тихо и мирно учись любить вечно.

ГЕРЕН. Люблю тебя, Жюль. В этом пакете есть всё, что касалось объекта.

БЕРТРАН. Без особенных проблем, похоже?

ГЕРЕН. Есть ещё две вещи. Первое. Дату и место исполнения выберу я из твоих вариантов. Второе. Убийцей должен стать русский эмигрант. Желательно бывший военный. Его должны обнаружить мёртвым, с оружием. Среди твоих работников, может быть, кандидатуры найдутся?

БЕРТРАН. Нет, капитан, русских в работники ни один вменяемый хозяин не возьмёт.

ГЕРЕН. Бойтесь бунта?

БЕРТРАН. Нам, с Арабель, давно никто не страшен. Просто русские не умеют и не хотят работать на земле, вот и вся заморочка.

Мимо проходит Расстегаев.

РАССТЕГАЕВ. Жюль, я – за лопатами, как ты просил, и сразу обратно. (Уходит.)

ГЕРЕН. Это - Сокол!?

БЕРТРАН. Он.

ГЕРЕН. А говорил русских нет.

БЕРТРАН. Да какой он русский, он – казак. Совсем другая порода, руки выросли из нужного места, работа спорится.

ГЕРЕН. Ну, так и привлекли его к нашей работе, до определённого момента.

БЕРТРАН. Теперь обязательно, чтобы он?

ГЕРЕН. Нет. Просто у вас спайка, проверенная делом. Кроме того, он может существенно облегчить подготовительную работу. Потолкается среди своих, пообщается, может, к самой Таировской трупке найдёт подход, сблизится. Хоть и казак, а язык у них один – русский. Сам решай.

БЕРТРАН. Решу.

ГЕРЕН. В любом случае, придётся перебраться в Париж. Помочь?

БЕРТРАН. Нет.

ГЕРЕН. Всё, бывай, сержант Бертран Жюль. Связь односторонняя. Телефон на ферме есть. Через недельку время пересечёмся,ознакомишь с идеями. А-то и с окончательным планом. Рад за тебя. (Уходит.)

Входит Арабель.

АРАБЕЛЬ. Я слышала Герена.

БЕРТРАН. Кто бы сомневался, лазутчица ты моя.

АРАБЕЛЬ. Прослежу за ним, сколько смогу. От подобных неожиданностей, по уму, нужно гаситься, но очень уж хорош куш, хотя бы подстрахуемся, сколько возможно.

БЕРТРАН. А молоко?

АРАБЕЛЬ. Скажи своему казаку, пусть снесёт. Прибери пакеты с глаз. Вернусь, проверим купюры. Привлеку его, Жюль.

БЕРТРАН. Так-то бы он мне жизнь спас.

АРАБЕЛЬ. А теперь пусть спасёт ферму. Мы в честь него будущего сына назовём, если соберёмся. Или любимую собаку. (Уходит.)

БЕРТРАН. Придётся. Проще, когда всё под рукой.

Мимо проходит Расстегаев, со связкой лопат на плече.

РАССТЕГАЕВ. Что-то ещё, кроме ямы, надо там делать?

БЕРТРАН. Нет, Сева, иди.

РАССТЕГАЕВ. Ох, дорогой мой боевой товарищ, знал бы ты, как я опять полюбил жить. (Уходит.)

БЕРТРАН. И в этом мы, с тобой, как братья. (Уходит в дом с пакетами.)

1923 год. Конец февраля. Утро. Париж. Номер в отеле «Гровенор». Входит Зорькина.

ЗОРЬКИНА. Алиса Георгиевна? Эй! Эй-е-ей! О-го-го, я пришла!

Из спальни выходит Коонен.

КООНЕН. Слушаю?

ЗОРЬКИНА. Я стучала-стучала. Меня прислали помочь вам устроиться. Не узнали? Я – Зорькина, Клара я. Из народных масс.

КООНЕН. А репетиция?

ЗОРЬКИНА. Вы не знаете? Меня ещё в Москве перевели в костюмеры. А сегодня я там всем только мешаю. Вот, прислали к вам. Не помещаю?

КООНЕН. Нисколько. Открываем окна, Клара Зорькина. Сегодня ясный, солнечный день и Париж! Ура! Осторожнее, не сорвите шторы.

ЗОРЬКИНА. Сорву – почию, я умею. А чего «ура»-то? Какой-то обыкновенный город, наша Москва – вот город, один Кремль чего стоит. А тут всё как-то.

КООНЕН. Как тогда, на углу стоят толстые краснощекие женщины возле корзин с нарциссами, фиалками, тюльпанами. Весёлые какие. Париж, Клара Зорькина? Когда я впервые приехала сюда, летом четырнадцатого года, Париж поразил меня тем, что ничем не поразил. Париж! Давняя мечта стала явью. В этом прекрасном городе ничто меня не поражало, ничто не бросалось в глаза. Париж сразу показался мне издавна близким, милым и встречал нас, как радушный хозяин старых друзей. Красивые витрины, расставленные на тротуарах столики кафе с сидящей публикой, постукивали каблочки идущих женщин. Бросилось в глаза то, что все они были элегантно, но скромно одеты, их костюмы и летние платья никак не были похожи на «парижские туалеты» богатых московских дам. Когда я сказала об этом Киму Маршаку, он рассмеялся и сказал: Это только в представлении русских парижанки - необыкновенно шикарные женщины и все до одной пожирательницы мужских сердец. На самом деле они добродетельны, прекрасные жены и великолепные хозяйки, хорошо знающие цену каждому сантиметру. Кима Маршак – друг детства Александра Яковлевича. Он и сегодня нас встречал.

ЗОРЬКИНА. В четырнадцатом же, летом, война началась. И театра же ещё не было, нам в школе рассказывали.

КООНЕН. Да, я тут попала как кур в ощи́п.

ЗОРЬКИНА. Расскажите, пожалуйста!

Из спальни выходит Таиров.

ТАИРОВ. Клара Феоктистовна?

КООНЕН. Её направили помочь мне обустроиться, я не просила.

ТАИРОВ. Спасибо, Клара Феоктистовна, но как только Алиса Георгиевна вспомнит, что она вполне может справиться и сама, а для помощи в парижских отелях имеются соответствующие работники, то немедленно отправляйтесь в театр. Там сейчас каждая пара рук на вес золота.

КООНЕН. Александр Яковлевич, я прекрасно справлюсь одна, мо-

жете взять с собой Клару.

ТАИРОВ. Не сердись, малыш, если показался груб, я просто в направлении. Мой первый поход к журналистам. Там уже и Дягилев, и Жене.

ЗОРЬКИНА. Александр Яковлевич, меня прогнали сюда из театра, потому что руки золотые. Золото же тяжёлое, с трудом ворочаю. Всё ломаю, крушу, рву.

ТАИРОВ. А, ну, тогда, конечно, лучше орудуйте здесь.

ЗОРЬКИНА. Мне так и сказали, в гостинице есть кому делать ремонт после тебя, Клара.

КООНЕН. Александр, я выйду в город, вспомнила сейчас август четырнадцатого. Хочу отблагодарить ту хозяйку отеля, что приютила меня тогда.

ТАИРОВ. Да, замечательно. Ты умница. Предложи ей билеты, лучше на «Федру». Чтоб видела, кого, по доброте сердечной, буквально спасла!

ЗОРЬКИНА. Алиса Георгиевна, вы попали в плен к французам?

ТАИРОВ. Клара Феоктистовна, мы, с французами, были союзниками. Но ситуация лично для Алисы Георгиевны сложилась очень и очень. Всё, заболтался. Если что, я – в холле. Малыш, будь осторожна, мы сейчас приехали не из Николаевской империи, а из Советской России. Дураков и психов, врагов и завистников здесь для нас припасено немало. То же касается и вас, товарищ Зорькина. (Уходит.)

ЗОРЬКИНА (вослед). Я помню, вы предупреждали всех на собрании! Он такой грандиозный! Знает всех по имени-отчеству, даже меня, никчёмную.

КООНЕН. Во-первых, никчёмных людей в Камерном театре нет, их у нас не задерживают. Во-вторых, Камерный – это только название, на самом деле это Таировский театр.

ЗОРЬКИНА. Ну, да все так и говорят. А что, что случилось тогда с вами в Париже?

КООНЕН. Надо разобрать чемоданы, после поговорим.

ЗОРЬКИНА. Жалко вам, что ли! Я же в жизни нигде не была, ничего не видела! Одни сплошные сплети всю жизнь! Надоело! А про правду ни слова никто! Вы же живая пока ещё, что я потом детям с внуками расскажу, как я молча чемоданы ваши разбираю? Они же мне скажут: мало, что таланта нет для сцены, так ещё и дура.

КООНЕН. Ну-ну, не плачьте...

ЗОРЬКИНА. Ни дара, ни ума, чем же жить. Что, и поплакать нельзя...

КООНЕН. Можно, можно...

ЗОРЬКИНА. Я же по вам страдаю. Я же наш Камерный театр вместо церкви обожаю. Я же на Таирова молюсь.

КООНЕН. Зачем же, есть храмы...

ЗОРЬКИНА. Да запретили нам всё религиозное. И Христа, и Богородицу, и даже самого Бога упразднили. А я же человек, мне же надо во что-то верить, надеяться надо, любить. Чего-то я не то хочу, что ли, не так, да?

КООНЕН. Тогда, в июле четырнадцатого года я отдыхала на побережье, в Бретони. И вдруг, однажды, ночью, меня разбудил гул колокола. И потом голос. По городку ехал велосипедист и кричал: «Объявлена война! Объявлена война!» Быстро одевшись, я побежала на улицу. Из всех домов выбегали люди. Человеческий поток стремительно двигался к церкви. На маленькой площади зловещим пламенем горели два факела. Стиснутая толпой, я скоро очутилась в церкви у самую амвона. Местный кюре, принадлежавший к ордену иезуитов, говорил проповедь. Собственно, он не говорил ее, а по-актерски разыгрывал: воздевая руки к небу и закатывая глаза, он просил благословения всевышнего, извиваясь и скрежеща зубами, изображал, как будут мучиться в аду те, кто вздумает уклониться от выполнения своего долга перед родиной. Мне казалось, что я присутствую на каком-то странном театральном представлении. Глядя на кюре, я на минуту вспомнила знаменитого итальянского трагика Грассо, который, обнаружив роковой медальон на шее возлюбленной, с таким неистовым темпераментом катался по полу, что едва не упал в зрительный зал. Но на людей, собравшихся в церкви, проповедь производила сильнейшее впечатление. Женщины исступленно молились, мужчины стояли торжественные, строгие. Отсветы факелов, пробивавшихся сквозь цветные витражи, освещали молящихся каким-то фантастическим светом. Когда проповедь кончилась, люди расходились в сосредоточенном молчании. В церкви осталось только несколько женщин. Сдержанно всхлипывая, они шептали молитвы. Вернувшись в пансион, я села писать письма домашним и Таирову, надеясь утром их отправить. Но утром меня ждала ошеломляющая новость: железнодорожное сообщение с Парижем прервано, линия занята воинскими эшелонами. В голове была одна только мысль: во что бы то ни стало добраться до Парижа. Положение было отчаянное. Денег у меня могло хватить всего на пять-шесть дней жизни в пансионе. А когда еще мне удастся выбраться домой, в Россию, одному богу известно! Что делать?! Каждый день я бегала на вокзал, расспрашивая, не пойдет ли какой-нибудь поезд на Париж. Поезда шли, но ни один не оста-

навливался на нашей станции. Это были воинские эшелоны. А дни уходили, деньги таяли. Я была в отчаянии. Наконец, как-то утром я узнала, что из Сен-Люнера отправляют новобранцев. Быстро уложив чемодан, я побежала на станцию. Как раз подходил поезд. Я кинулась к перрону. Вход был закрыт цепочкой. К счастью, в это время подошла группа новобранцев и мне удалось проскользнуть вместе с ними. Когда поезд остановился, я кинулась к молодому офицеру, стоявшему на площадке одного из вагонов, и стала слезно умолять впустить меня, объясняя, что я иностранка, русская, и что мне необходимо попасть в Париж, чтобы выбраться на родину. Молодой человек явно сочувствовал мне, но пустить не решался. Продолжая убеждать его, я не отходила от вагона, а когда поезд тронулся, на ходу вскочила на подножку. Моя хитрость удалась. Растерявшемуся офицеру не оставалось ничего другого, как схватить меня за руку и втащить на площадку, чтобы я не попала под колеса. Мое появление в битком набитом вагоне вызвало бурный восторг солдат. Узнав, что я русская, они галантно освободили мне место на скамейке, кто-то предложил выпить по кружке пива за мое благополучное возвращение в Россию. Так, распевая с солдатами боевые песни, я въехала в Париж. Когда я вышла на вокзальную площадь, я не узнала Парижа, хотя уехала отсюда всего три недели назад. Город был затоплен бесконечным потоком демонстрантов. Я остановилась в полной растерянности. Какой-то молодой человек протянул мне руку, и я очутилась в шеренге. Разговаривая, мы пошли рядом. Он оказался чехом. Узнав, что я русская, очень посочувствовал: «Я-то пойду воевать, а вот вам будет здесь грустно». Ой, я разговорилась, вы утомились.

ЗОРЬКИНА. Ничего такого, говорите! Если бы вы знали, сколько полезного я уже услышала.

КООНЕН. Полезного? Например?

ЗОРЬКИНА. Как же всё же правильно, знать иностранные языки. Продолжайте, пожалуйста. Один вопрос, а вы же говорили, что были с Александром Яковлевичем, как одна-то оказались, поругались?

КООНЕН. Нет, Таиров вынужден был срочно вернуться в Москву по делам. А что касается того, что вы думаете, так ведь нет, тогда мы были просто друзья. И, конечно, режиссёр и актриса. Таиров же ездил не со мной, а в Англию, за материалами для нового спектакля, которым хотели открыть Камерный театр.

ЗОРЬКИНА. «Сакунтала», что ли?

КООНЕН. Да.

ЗОРЬКИНА. И открыли! 12 декабря 1914 года! Ой, перебила, простите. Просто я так люблю наш театр, так люблю... просто страсть.

КООНЕН. В тот июль мы оказались попутчиками.

ЗОРЬКИНА. Хорошо, когда путь один на двоих, веселее. Так что там, что там с чехом-то!?

КООНЕН. Мы шли бесконечно долго. Между тем уже надвигались сумерки, и я вдруг почувствовала невероятную усталость. Ноги еле двигались. Молодой человек заметил это и посоветовал мне подумать о ночлеге. В одном из переулков мелькнула вывеска отеля. Выйдя вместе со мной из шеренги, мой новый знакомый купил в киоске какую-то брошюрку и, написав на ней свою фамилию, сунул ее мне: «Это вам на память, ведь сегодня исторический день.» Я поблагодарила его и, собрав последние силы, побрела к отелю. Только в холле я вспомнила, что у меня в сумочке всего несколько сантимов. Меня встретила хозяйка: «Мадемуазель нужна комната?», спросила она с некоторым удивлением. Я утвердительно кивнула головой, но тут же, едва ворочая языком от усталости, рассказала о своем отчаянном положении и о том, что заплатить за номер даже за одни сутки мне нечем. Женщина улыбнулась. «Сейчас, мадемуазель, наступают тяжелые дни для всех нас - и для французов и для русских. И мы должны помогать друг другу. Вы можете спокойно прожить здесь день-другой. Гостиница все равно пуста». Горничная проводила меня в номер. Как только она вышла, я повалилась на кровать, подумав, что большего блаженства на свете быть не может. Неожиданно раздался стук в дверь. Вошла хозяйка. «Бедная мадемуазель, как вы устали! - воскликнула она. - И, наверно, целый день ничего не ели. Я пришла пригласить вас поужинать вместе с нами». Я пыталась отказать, но милая женщина настояла на своем. И через несколько минут, спустившись вниз, мы очутились в уютной маленькой столовой, где меня очень любезно встретили муж хозяйки и два их мальчика. От запаха еды у меня закружилась голова. И мне стоило большого труда есть медленно, не показывая виду, что я, кажется, могла бы в одну минуту проглотить все, что стояло на столе. Утром, открыв глаза, я долго не могла прийти в себя. В голове была одна только мысль - война. Это заслонило все остальное. Я быстро оделась и вышла на улицу. В переулке было тихо. По привычке подумала: «Надо позавтракать». Напротив была маленькая «шоколатри». Как-то совершенно забыв, что у меня нет денег, я вошла. В комнате не было ни одного посетителя. Молоденькая официантка подошла ко мне: «Мадемуазель хочет выпить чашку шоколаду?» Я невольно улыбнулась своей оплошности. «Очень хочу выпить шоколад и съесть бриош, - сказала я, — но у меня всего-навсего несколько сантимов». И, объяснив, что я иностранка, русская, застряла в Париже без единой монеты, я направилась к

выходу. Подошла хозяйка. Узнав о моем печальном положении, она пригласила меня сесть за столик и, обратившись к официантке, сказала: «Вместо того чтобы болтать, вы лучше бы угостили мадемуазель шоколадом». Человеческое внимание и доброта оказывают удивительное действие. И я вдруг почувствовала, что я не одинока, что на свете много добрых людей. Выпив шоколад и съев два бриоша, я горячо поблагодарила хозяйку и вышла на улицу. В смятении бродила я по городу. Где Таиров? Успел ли он доехать? Вдруг он застрял в Германии... Что переживают мои домашние, не зная, где я, что со мной... Война!.. Это значит, что жизнь остановилась? Театра не будет?.. И когда может закончиться война? И как я буду жить в Париже без денег? Я знала, что Маршак с семьей уехал на лето в Нормандию. Значит, помощи отсюда ждать нельзя. Прошло несколько мучительных дней. Я беспомощно слонялась по Парижу, ожидая какого-то чуда. Хозяйка отеля по-прежнему была ласкова со мной, почти насильно уводила к себе то обедать, то ужинать. Когда я отказывалась, успокаивала: «Кончится война, вы приедете в Париж, тогда сосчитаемся». И всегда добавляла: «Лишний человек за столом не в тягость». Вот, что, Клара Феоктистовна, немедленно идёте в Париж, в тот самый отель. Хватит расслаживаться. А заодно, надо купить туфли. Возьму деньги и – вперёд.

ЗОРЬКИНА. Точно, здесь все тётки ходят в лодочках, а мы – в наших ботах: дысь-дысь-дысь. А ведь февраль. Вам-то, по-любому, надо, вас фотографируют, на вас люди пялятся, и вообще, вы же лицо нашей Родины, и фигура, и ножки!

КООНЕН. Я готова. Идём.

ЗОРЬКИНА. А как вы добирались до Москвы-то тогда?

КООНЕН. О, это отдельная эпопея. Когда-нибудь, на старости, я напишу книгу воспоминаний. Ох, мне есть, что вспомнить, и даже кое-что рассказать.

ЗОРЬКИНА. Но мне-то расскажете по пути?

КООНЕН. А вы мне о себе?

ЗОРЬКИНА. Легко, там рассказывать нечего.

КООНЕН. Неправда, каждый человек – это роман. Или хотя бы страницы жизни.

ЗОРЬКИНА. Тогда поболтаем. Я-то всегда готова на выход.

КООНЕН. Тогда в Париж! (Уходит.)

ЗОРЬКИНА. С вами хоть на край света. Да хоть за край! (Уходит.)

Около служебного входа театра Champs Elysees. Афиша «Федры»

Камерного театра, наклеенная на дверь. Неподдалёку Горошек копается в мусорном ящике. Входит Расстегаев, с котомкой, изучает афишу.

ГОРОШЕК. Чёртова Франция, ничего путёвого в мусорке не найдёшь.

РАССТЕГАЕВ. Не в этом районе, могу показать золотые горки всякой дряни.

ГОРОШЕК. Наш?

РАССТЕГАЕВ. Вряд ли, если ты из «товарищей».

ГОРОШЕК. А не наш, так и помалкивай, и так нервов не хватает с этим театром.

РАССТЕГАЕВ. Из Камерного театра?

ГОРОШЕК. Тебе-то, амёля.

РАССТЕГАЕВ. Да так-то бы ровно. Казак?

ГОРОШЕК. Вот анчибал, отстань.

РАССТЕГАЕВ. Не хочешь, не признавай. А про что эта «Федра»-то?

ГОРОШЕК. Офранцузился. Не Федра, а ФЕдра.

РАССТЕГАЕВ. Баско рисовано.

ГОРОШЕК. Ты бы спектакль видел, узнал бы, что есть красота. Сарынь на кичку.

РАССТЕГАЕВ. Матерь божья, уж не Горошек ли? Сёма?

ГОРОШЕК. Вот только давайте без провокаций, господин, просто отвянь и всё. Расстегай!? Севка! Ёлы-палы... друже!

РАССТЕГАЕВ. Сёма, дорогой мой человече! (Обнимается с Горошком, запекает.)

Когда мы были на войне,

Когда мы были на войне,

Там каждый думал о своей

Любимой или о жене.

ГОРОШЕК (подхватывает песню).

И я бы тоже думать мог,

И я бы тоже думать мог,

Когда на трубочку глядел,

На голубой её дымок.

РАССТЕГАЕВ и ГОРОШЕК (поют, танцуют).

Но я не думал ни о чём,

Но я не думал ни о чём,

Я только трубочку курил

С турецким горьким табачком.

Как ты когда-то мне лгала,

Как ты когда-то мне лгала,
Но сердце девичье своё
Навек другому отдала.
Я только верной пули жду,
Я только верной пули жду,
Что утолит печаль мою
И пресечёт нашу вражду.
Когда мы будем на войне,
Когда мы будем на войне,
Навстречу пулям полечу

Из театра, выходит Таиров.

ТАИРОВ. Товарища встретил, Семён Львович?

ГОРОШЕК. Да больше, больше! Сосед мой детский, воевали вместе в Карпатах, били австрияков.

РАССТЕГАЕВ. А они – нас. Как могли, так воевали. Товарищ-то товарищ, но не тот «товарищ», как там у вас. Сёмка!

ТАИРОВ. Идеальный враг? Агитирует?

ГОРОШЕК. Да куда там! Просто поинтересовался, про что «Федра», а я гляжу, батюшки, Севка!

РАССТЕГАЕВ. Не ври, я первый тебя узнал.

ТАИРОВ. Так и сказал, с ударением на последний слог?

РАССТЕГАЕВ. Ну, давайте, теперь вдвоём поржите. Я ж читаю французский текст, как ещё сказать, ударение у них всегда на конец слова.

ТАИРОВ. Верно, верно. Если говорить о сюжете «Федры», то коротко его можно было бы определить так: неразделенная любовь мачехи к пасынку. Но это, конечно, очень обеднило бы его содержание. На самом деле сюжет гораздо шире и в каких-то своих частях он даже своеобразно перекликается с нашей современностью.

РАССТЕГАЕВ. Ой, дальше не надо, мне это всё равно не нужно. Семён, надо вспрыснуть встречу, не по-людски разбегаться братьям на чужбине.

ТАИРОВ. В целом, верное замечание. Отпроситесь у Аристархова, Семён Львович, думаю, причина уважительная.

ГОРОШЕК. А как же чекисты?

РАССТЕГАЕВ. Как говорится: почekaют! Ой, виноват.

ТАИРОВ. Смешно.

РАССТЕГАЕВ. И много с вами охранников?

ГОРОШЕК. Да двое.

РАССТЕГАЕВ. Так пусть с нами, небось, из наших молодцы?

ГОРОШЕК. Всё, хватит зубоскалить на эту тему, не смешно.

ТАИРОВ. Погуляйте. Сходите куда-нибудь, посидите.

РАССТЕГАЕВ. Сходить ходим, если Сёмку какой-то Аристархов отпустит.

ТАИРОВ. Аристархов знает, что делать.

РАССТЕГАЕВ. Ну, там как будет, а тут как есть. Можно же прямо сейчас, не отходя от кассы. У меня с собой есть. (Достаёт флягу.) Подлинное бургундское, я там подъедался на ферме. По пять капель, а?

ТАИРОВ. На троих? Посреди культурной столицы мира на глазах изумлённой общественности? Отличная идея. Не откажусь. Наливайте.

РАССТЕГАЕВ. И сыром закусим, реальным, французским! Подержи флягу, Всеволод, истукан, займись делом. (Достаёт сыр.) Только стаканов нет, если что.

ТАИРОВ. Вино из фляги – просто сказка. Я – Александр Яковлевич.

ГОРОШЕК. Всеволод Сергеевич.

ТАИРОВ. А почему Семён Львович не понимает по-французски?

ГОРОШЕК. А него предки из восемнадцатого двенадцатого года.

РАССТЕГАЕВ. Из восьмьсот пятнадцатого. Прадед с атаманом Платовым по парижским мостовым на конях гарцевал после полного облома Наполеона. Ну и прихватил трофей в виде французской прабабушки.

ГОРОШЕК. У них в семье строго все по-французски между собой гутарили. Ну, разговаривали.

Входит Церетелли.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Какой замечательный завтрак. Почему не на траве? Тут рядом.

РАССТЕГАЕВ. Ваш?

ТАИРОВ. Наш. Звать Николаем Михайловичем.

РАССТЕГАЕВ. Николай Михайлович, травка – это потом, отдельным номером программы, а сейчас присоединяйтесь, прошу. Встреча старых друзей.

ТАИРОВ. Нет-нет, Николай, я тоже в гостях, это Всеволод Сергеевич с Семёном Ильичом встретились.

РАССТЕГАЕВ. Ну, хватит болтать, погнали по кругу. Вы тут старший, судя по всему, Александр... как там...

ГОРОШЕК. Яковлевич!

РАССТЕГАЕВ. Вот именно. Прошу.

ТАИРОВ. Ну, за встречу старых и новых друзей. Желаю всем доброго здоровья и счастливого возвращения домой. (Выпивает.)

РАССТЕГАЕВ. Сырчику, сырчику берите, ломайте. Николай?

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Пожалуй. И вот, что я вам скажу.

«Какой тяжелый, тёмный бред!

Как эти выси мутно-лунны!

Касаться скрипки столько лет

И не узнать при свете струны!

Кому ж нас надо? Кто зажжёт

Два желтых лика, два унылых...

И вдруг почувствовал смычок,

Что кто-то взял и кто-то слил их.

"О, как давно! Сквозь эту тьму

Скажи одно: ты та ли, та ли?"

И струны ластились к нему,

Звеня, но, ластясь, трепетали.

"Не правда ль, больше никогда

Мы не расстанемся? довольно?.."

И скрипка отвечала да,

Но сердцу скрипки было больно.

Смычок всё понял, он затих,

А в скрипке эхо все держалось...

И было мукою для них,

Что людям музыкой казалось.

Но человек не погасил

До утра свеч... И струны пели...

Лишь солнце их нашло без сил

На черном бархате постели».

Прошу простить, репетиция. (Уходит в театр.)

ТАИРОВ. «Смычок и струны». Стихотворение Иннокентия Анненского.

РАССТЕГАЕВ. Круто.

ГОРОШЕК. Ты?

РАССТЕГАЕВ. Ты, я стихи перевариваю.

ГОРОШЕК. За наш Камерный театр. Потому что это счастье. Потому что это Париж. И потому что это Севка Расстегаев. И да здравствуем все мы. (Выпивает.) Севка, твой черёд.

РАССТЕГАЕВ. «Но человек не погасил

До утра свеч... И струны пели...

Лишь солнце их нашло без сил

На черном бархате постели»...

ТАИРОВ. Какая замечательная память!

РАССТЕГАЕВ. Я ж разведчик. Могу весь стих повторить.

ГОРОШЕК. Не надо. После Церетелли не надо.

РАССТЕГАЕВ. Церетелли? А, видел имя на афише.

ГОРОШЕК. Лучший мужской актёр в мире.

РАССТЕГАЕВ. Память натренировать можно, а вот как понять стихи? Какие-то слова, сравнения, намёки. Ничего не разобрать, если разобратсья, но так красиво. Молодец ваш товарищ. Здорово. Ну, за встречу.

Вбегает Зорькина.

ЗОРЬКИНА. Александр Яковлевич, Александр Яковлевич, беда! Алиса Георгиевна свалилась, слегла. Вся горит!

ТАИРОВ. О, господи. Да, Семён Львович, если вашему другу захочется, пусть приходит на спектакль. Скажите, что я распорядился. Очень приятно. Простите. (Уходит.)

ЗОРЬКИНА. Вы тут пьянствуете, что ли?

ГОРОШЕК. Что с Коонен?

ЗОРЬКИНА. Простыла, похоже. Жар, температура. Купила туфли-лодочки зимой.

ГОРОШЕК. Познакомься, Сева, это моя невеста Клара. А это – Сева, мой брат.

ЗОРЬКИНА. Ишь как. Ладно, мне в театр. Через три дня премьера «Федры»!!! Коонен уже умирает, а если сорвёт гастроли, умрёт точно.

РАССТЕГАЕВ. Заменить, что ли, некем?

ГОРОШЕК. Так-то бы есть, но не Федру же.

РАССТЕГАЕВ. Далась вам всем эта Федра. Вся эмиграция только об этой наглости и трещит, мол, в Париже да при живой Бернар, или как её там.

ЗОРЬКИНА. Будем знакомы. И хватит пить, Семён, не дома! (Убегает.)

ГОРОШЕК. Вот как.

РАССТЕГАЕВ. Подожди, так если там Коонен, так это был сам Таиров, что ли?

ГОРОШЕК. Ну, да. Ты знаешь, что ли, кто это?

РАССТЕГАЕВ. Слышал. И что, вот так запросто с нами из горла сам Таиров!? И тебя по отчеству величает?

ГОРОШЕК. Он так ко всем обращается. Уважительно, но запросто. Кроме Церетелли, его исключительно по имени, любит очень. Насчёт выпивки, правда, я сам одурел от неожиданности. Но так-то строгий ещё какой, наши отцы-командиры отдыхают по сравнению с его требованиями дисциплины. Притом, все свободны и всё без напряжения. Сказка, не жизнь. Ладно, наговоримся, пойду, отпрошусь.

РАССТЕГАЕВ. Я тебя на лавочке обожду, в аллее.

ГОРОШЕК. Так просить билеты на спектакль?

РАССТЕГАЕВ. Да нет, не надо. Хотя. Давай, два. Тут мой фермер с женой, что пригрел меня, его вино-т с сыром. Пусть прошвырнуться, а я-то не, я - пас, я правильный мужчина, театры и прочую культуру за версту обхожу. Давай, Сёма, жду. (Уходит.)

ГОРОШЕК. Даю, брат. Даю. (Уходит в театр.)

Гостиничный номер. Коонен лежит в кровати под одеялами. Здесь Таиров.

ТАИРОВ. Порядок спектаклей пришлось изменить.

КООНЕН. Я виновата! Прости!

ТАИРОВ. Малыш, не надо разговаривать. Здешний ларинголог - маг и чародей, он Шалыпина лечил! Доктор запретил тебе говорить. И прекрати каяться, есть, что есть.

КООЕЕН. Я вся в горчичной вате, мне так стыдно, я вся горю.

ТАИРОВ. Вместо «Федры» была назначена «Жирофле-Жирофля», в которой тебя заменила Леночка Спендиарова. Она была великолепна. Превосходный приём.

КООНЕН. Александр... не надо...

ТАИРОВ. Как кстати, что она уже несколько раз сыграла в Москве. Нельзя весь репертуар вести одной актрисе, нельзя.

КООНЕН. Такого не повториться!

ТАИРОВ. Молчать. Молчать. Молчать. Эберто устраивает для трупы ужин, на котором я не могу не быть. Оставляю тебя. Какие красивые, однако, туфли ты купила. Любуюсь, глаз не отвести.

Стук в дверь, входит Церетелли.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Я прилетел.

КООНЕН. Сокол.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Кар-кар.

ТАИРОВ. Дети, не ссорьтесь. Николай вызвался прийти и посидеть с тобой до моего возвращения. Пришлю тебе тарты с вишнями, а Николаю бутылку вина. Не позволяй Алисе разговаривать и вставать с постели, Николай. А ты лежи спокойно, не плачь и, главное, не разговаривай. Прощай, малыш. Помни о «Федре». (Уходит.)

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Доктор запретил тебе говорить. Здешний ларинголог - маг и чародей, он Шаляпина лечил! Вместо «Федры» была назначена «Жирофле-Жирофля», в которой тебя заменила Леночка Спендиарова. Как кстати, что она уже несколько раз сыграла в Москве. Она была великолепна. Превосходный приём! Парижские театралы в восторге! Посмотрим завтра в газетах, что напишут. Но, похоже, мы взяли их, Париж пал. Я бросил считать, сколько раз нас вызывали. И ведь так правильно, без ошибок, скандировали мою фамилию. Репетировали, что ли. Какие чудные «лодочки». Те самые туфли, что тебя подкосили?

КООНЕН. Церетелли, будь ты проклят, заткнись! Пошёл вон!

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Эмигрантский союз русских писателей прислал нам приглашение на прием в честь Камерного театра. Приглашение подписано не кем-нибудь, Павлом Николаевичем Милюковым. Лидер кадетов, бывший министр иностранных дел...

КООНЕН. Коля, прости меня, ради бога.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Таиров не знал, как поступить, это могло оказаться провокацией. Он послал молнию Луначарскому. Ответ пришел незамедлительно: «Приглашение принимайте, все остальное зависит от вашего такта». Ты в курсе?

КООНЕН. Церетелли, родненький, я не хотела.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Молчи. Пожалуйста. Помни о «Федре».

КООНЕН. Коля, мне совестно.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Твоё православное проклятие в отношении правоверного мусульманина да ещё венценосных кровей не стоит ничего, отскочило.

КООНЕН. Но ты побледнел. Тебя ударило, я вижу!

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Сам виноват. Спровоцировал.

КООНЕН. Да.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Да? Да. Да-да. Да. И я пойду. Приглашу Клару Феоктистовну, она просилась. Она здесь, в отеле.

КООНЕН. Николай.

ЦЕРЕТЕЛЛИ. Да брось, Алиса. Рано или поздно мне придётся уйти из театра. Не уходить же сегодня. Не говори! Не разговаривай. Будет время сказать. У нас с тобой конфликт давний. Странно, что ты ревнуешь к первенству актёра противоположного пола. Я же не претендую

на твои роли, твой успех – он твой. Ах, да, - успех. Аплодисменты зрительного зала. Овации. Их должны иметь только двое: Камерный театр и Алиса Коонен. Остальным – что останется. И не на авансцене, а на десять шагов позади. Лучше у задника. И совсем отлично, если за кулисами. Прости, что родился актёром и вырос под стать тебе. Так сложилось: меня тоже натаскивали в Художественном, а обучал, не пове-ришь, тоже Таиров. Вернёмся в Москву, доведу сезон и уйду. А за проклятие не волнуйся, не пропаду. Я буду востребован. Просто театра в других театрах нет. Ну, разве что немного. Но Камерный театр твой. Я знаю. Нет, неверно. Театр принадлежит Таирову, потому что он и есть театр. А тебе принадлежат овации. В основном. Частично, конечно, и сам театр, но всего лишь подмости. Подиум. Не больше. Но и не меньше. И мне там места нет. Вернее, в месте отказано. Самое обидное, что Таиров примет твою сторону. Он не станет меня отговаривать от ухода. Пусть не справедливо, пусть неразумно, но будет так. Прощай, Алиса. Выздоровлявай. Помни о «Федре». Искренне ваш Николай Церетелли. (Уходит.)

КООНЕН. Ерунда, не посмеет. А я-то, я-то... я-то! Молчи. Выздоровлявай, пожалуйста, выздоравливай... (Произносит текст Федры.)

...Он другую избрал! Любит он Арикию!..

...Любит Ипполит; в том не сомненья,
Он, этот непреклонный враг любви,
Кого и просьбы женщин оскорбляли,
Он, этот тигр, к кому едва я смела
Приблизиться, - он взят, он приручён,
Он побеждён, он раб для Арикии...

...Но буду всё ж любить!..

...Кого? К кому во мне пылает кровь?
Помыслию, дрожь по членам пробегает.

Я перешла пределы преступлений,
Дышу прелюбодейством и обманом;
Запятнанные руки в жажде мести,
В крови невинной я хочу омыть!
Презренная! И я живу, и видеть
Я смею солнца благородный лик!

Своим отцом его считала мать.

Олимп и небо полны наших предков,
Куда ж мне скрыться? Убегу во тьму,
В подземный ад! Но там ведь мой отец.
Судьба, как говорят, ему вручила

Весы – судить по смерти всех людей.
Как Миноса тень царственная вздрогнет,
Когда пред ним предстанет дочь его,
Не смея дать отчёт в своих проступках,
Неведомых, быть может, и в аду.
Что скажешь ты, отец, при этом виде?
Вот-вот из рук ты уронил весы,
Неслыханного наказания ищешь,
Ты дочери готов стать палачом...
Отец, прости! Разят нас боги властно.
Признай их суд в моей судьбе несчастной!
Увы! Из ужаса грехов моих
Я не вкусила счастья ни на миг;
Гонима до конца, ломая руки,
Прощаюсь с жизнью я в предельной муке.

Парижская квартира. Бертран примеряет одежду для выхода в театр. Входит Арабель.

АРАБЕЛЬ. Хорош.

БЕРТРАН. Ещё не поздно, Арабель, идём со мной.

АРАБЕЛЬ. Хватит, Жюль. Я сказала, что не гожусь для театра, даже на галёрке. Нечего мне там делать. И вам, по уму, не стоило бы.

Входит Расстегаев, одетый в театр.

РАССТЕГАЕВ. Ну, как?

АРАБЕЛЬ. Хорош. Оба хороши. Как быки под седлом. Ничего, зато костюмы не ношенные и то хлеб. Пришла телефонограмма от Герена. Встреча сегодня в полночь, в Булонском лесу.

РАССТЕГАЕВ. Отлично! Сегодня меня этот театр так расписхует, что я буду во всеоружии.

БЕРТРАН. Сева, успокойся.

АРАБЕЛЬ. Сегодня стрелять не надо. Ты понимаешь?

РАССТЕГАЕВ. Конечно.

БЕРТРАН. Арабель сказала, не дёргайся и не суйся, куда не следует.

РАССТЕГАЕВ. Да что вы, как с пацаном, я ветеран войны.

АРАБЕЛЬ. Ты не в форме, казак.

РАССТЕГАЕВ. Сержант Бертран, угомоните жену!

БЕРТРАН. Сева, чтоб ты знал. Арабель такой же военный ветеран, как и мы. И по званию она такой же сержант.

РАССТЕГАЕВ. Да ну!? Чего раньше не сказал. Виноват.

БЕРТРАН. Она служила в разведке, потом в штабе, аналитиком. Так что, не нам её поучать. Ты действительно на взводе, это нехорошо.

АРАБЕЛЬ. Встреча с братом выбила его из колеи.

РАССТЕГАЕВ. Ну, вот что, господа сержанты! Никто и ничто из колеи меня не выбивало. Казака из седла, даже если он на быке, не выбить ничем. И не вздумайте меня задвигать, я, только я и никто другой должен пристрелить эту большевистскую сволочь. Потому что это наше с ним личное дело, гражданская война в России продолжается, и не кончится до тех пор, покуда мы не перестреляем всех краснопузых! Ну, или они нас. Тут как пойдёт. Но стреляться мы будем стопудово. Мы! А не французы или какие прочие нации. Да, я повстречал брата и мне жутко захотелось домой, как никогда, хоть вой. Но лучше я туда пришлою трофей. Жюль, Арабель, зарубите себе на переносице: я и только я должен убить Таирова. И мне плевать, зачем и кому это нужно. Главное, что это нужно мне. Я – на улице, сержант, жду. (Уходит.)

АРАБЕЛЬ. Он сделает это.

БЕРТРАН. Да я и не сомневался. И всё же, зачем и кому это нужно?

АРАБЕЛЬ. Поймём завтра, после твоей беседы с Гереном. Многое зависит от даты. Если акция будет назначена в ближайшие дни, значит, заказчик здесь. Если же ближе к концу гастроли, значит, собака зарыта в Германии.

БЕРТРАН. Ого!

АРАБЕЛЬ. В Германии обстановка ужасная, всеобщая депрессия. Успех советского искусства может привести к непредсказуемым последствиям. Не забывая, это первый официальный выезд советского искусства после большевистского переворота. Германская элита их ждёт. И так-то ждали бы, но успех Таирова в Париже имеет столь серьёзный резонанс, что в их газетах уже началась ожесточённая перепалка. Странно, что до сих пор здесь театру не устроили провал. Клакеры, думаю, и задарма зашикали бы Таирова, а уж за деньги-то и подавно. Неужели Таиров так хорош?

БЕРТРАН. Сегодня узнаем. Однако, как тебе в ум пришла германская тема?

АРАБЕЛЬ. Сам же говорил, что у Герена была германская самописка.

БЕРТРАН. Да... И что... Н-да. Ну, тебе лучше знать. Охотнику пле-

вать, для кого дичь отстреливать, если не для себя, лишь бы платили.

АРАБЕЛЬ. Встретимся после спектакля, в сквере, около театра. Провожу до места встречи. Контролируй Севу.

БЕРТРАН. Отличный мужчина. Надёжный. Жаль терять.

АРАБЕЛЬ. Не думай ни о чём, просто расслабься. После разговора с Гереном расставим все знаки препинания и поставим точку в этой истории. Помни о ферме и деньгах. И будущих детей не забывай. Я хочу.

БЕРТРАН. Вот и славно. Ну, я готов?

АРАБЕЛЬ. Готов.

БЕРТРАН. Пошёл?

АРАБЕЛЬ. Пошёл.

БЕРТРАН. Пока. (Уходит.)

АРАБЕЛЬ. Счастливо.

Вечер. Театр Champs Elysees. У выхода на сцену ходит Таиров. Входит Зорькина.

ЗОРЬКИНА. Александр Яковлевич, Алиса Георгиевна идёт. Она такая волнительная, просто с ума сойти.

ТАИРОВ. Ничего, ничего, Клара Феоктистовна, всё будет хорошо.

ЗОРЬКИНА. Не, ну врач-то у них реально волшебный, Алиса Георгиевна и ходит сама, и не шмыгает даже, а голос как на репетициях звучал! А? О! Просто чудо! Я, говорит, кажется, никогда ни перед одной премьерой за всю мою жизнь, говорит, не волновалась так, как перед премьерой «Федры» в театре Champs Elysees. Набегают, говорит, тревожные мысли: в Москве, мол, перед премьерой было несколько генеральных репетиций и она играла уже разогретая. А здесь всего одна, при пустом зале, да еще после того, как проболела. Зал, говорит, втрое больше нашего, какая будет акустика, когда его наполнит публика, неизвестно. Вспомнила и местную Сару Бернар. А ещё, говорит, думается, о том, как избалован Париж знаменитыми гастролерами со всех концов мира.

ТАИРОВ. Все эти мысли не дают покоя и мне.

ЗОРЬКИНА. Бросьте, у нас лучший театр в мире, самые грандиозные актёры во всём свете, и единственный на планете грамотный режиссёр. В смысле, настоящий. Не надо смеяться, знаю, что говорю. Уж нам-то, москвичам, есть, с кем сравнивать, а мне и подавно. Александр Яковлевич, извините, правда, что французы готовят обструкцию спектаклю?

ТАИРОВ. Рассказали. Да, готовят. Но только не французы вообще, а так называемые «королевские стрелки».

ЗОРЬКИНА. А, ясно. А мне сказали, что клакеры.

ТАИРОВ. Ну, это одно и то же.

ЗОРЬКИНА. Ох, ёшкин свет, да вас ведь самого мантулит!

ТАИРОВ. Ну, да, я же человек, волнуясь.

ЗОРЬКИНА. Вы не человек, вы больше. Так что успокойтесь. Эх, если бы не мой Горошек, я вас сейчас сгребла бы да так согрела, что ох боже ж ты мой. Сама заодно тоже.

ТАИРОВ. Такая вы замечательная, товарищ Зорькина.

ЗОРЬКИНА. А чего эти злодеи на нас взъелись? До этого же было нормально.

ТАИРОВ. Не столько на нас, сколько на нашу «Федру».

ЗОРЬКИНА. Так Алиса Георгиевна же не виновата, она просто написала ихней Саре Бернар, мол, всё путём, предупредила, а та, возьми, и на другой день, скончайся.

ТАИРОВ. Ох, Клара Феоктистовна, конечно, дело не в письме, это всё мистика. Я вас умоляю, обождите в сторонке, хорошо?

ЗОРЬКИНА. Точно! Я же мешаюсь. Если что, только шепните, я здесь, рядом. (Уходит.)

ТАИРОВ. Вам шепни.

Входит Коонен, в костюме Феды.

ТАИРОВ. Солнышко, как?

КООНЕН. Я готова.

ТАИРОВ. Пойду, дам команду на начало.

КООНЕН. Когда обещали скандал?

ТАИРОВ. Сразу по открытии занавеса.

КООНЕН. Бедные Церетелли с Аркадиной.

ТАИРОВ. Пойду, пожму им руки.

КООНЕН. Саша, дверь на сцену не закрывай, хочу слышать начало.

ТАИРОВ (распахнув дверь, шёпотом, в кулису). Занавес пошёл! (Уходит.)

КООНЕН. Впервые на французской сцене текст Расина звучит по-русски. Бедная, бедная Сара Бернар. Началось!

Аплодисменты. Вбегает Зорькина.

ЗОРЬКИНА. Чего? Чего там? О, хлопают.

КООНЕН. Исчезни.
ЗОРЬКИНА. Ага. (Уходит.)

Входит Таиров.

ТАИРОВ. Слышишь? Нас любят. Тебя, Федра моя, ждут. Руки. Сожми руки. Ни пера ни пуха.

КООНЕН. С Богом. (Уходит.)

Овации.

ТАИРОВ. Когда театр истинный, освистать его никто не смеет. Просто не смеет и – всё. Потому что театр. Потому что истина.

Поздний вечер. Сквер у театра Champs Elysees. На скамье сидит Арабель. Входят Бертран и Расстегаев.

АРАБЕЛЬ. Ну, что? Как? Эй, ребята, что за молчок?

РАССТЕГАЕВ. Я всё сказал. (Уходит.)

АРАБЕЛЬ. Жюль! Бог мой, ты плачешь?

Входит Расстегаев.

РАССТЕГАЕВ. Давайте так. Кто-то из вас выстрелит. Потом – меня. Пусть грешат на меня. И вы работу исполните, и мне уже всё равно. Я так, как до сих пор, всё равно дальше жить не хочу.

АРАБЕЛЬ. Что случилось!?

РАССТЕГАЕВ. Да этот... спектакль. (Уходит.)

БЕРТРАН. Арабель. Я тоже не смею.

АРАБЕЛЬ. Что?

БЕРТРАН. Такая красота... Боже ж ты мой, жизнь прекрасна, а я... Он сказал, что не посмеет поднять руку на Таирова. Будь я проклят, но я тоже! (Уходит.)

АРАБЕЛЬ. Да что ж такое творится на свете. Жюль! Постой, Жюль! (Уходит.)

По аллее проходят Зорькина и Горошек.

ЗОРЬКИНА. Сил никаких, Семён. Пойдём, посидим где-то. На речку, а?

ГОРОШЕК. Там ночью промёрзнем. Может, в кабачок?

ЗОРЬКИНА. Не хватает в мире гармонии, тепло только с выпивкой.

ГОРОШЕК. А что там, насчёт скандала на спектакле? Мы все ждём обструкцию, как обещали, а там всё не так!

ЗОРЬКИНА. Жан Кокто Александру Яковлевичу нашему объяснил. Я, говорит, спрашиваю одного из молодчиков, почему они не устроили скандала. А тот ответил: «Мы не посмели. Это было слишком красиво!»

ГОРОШЕК. Ишь, проняло. У нас в театре всегда так... Мы-то призывали. Что тут скажешь, одно слово: Таиров.

Булонский лес. Ночь. На поваленном дереве сидит Герен. Входит Бертран.

ГЕРЕН. Жюль, я здесь. Присаживайся. Мне показалось или ты при параде?

БЕРТРАН. Вот, здесь расписаны три варианта исполнения. При любом раскладе, на месте оставляем Севу.

ГЕРЕН. Сокола?

БЕРТРАН. Да. Со сроком определился?

ГЕРЕН. Да. Перед последним спектаклем. Лучше всего, чтоб зритель узнал о смерти Таирова перед началом спектакля. Я тоже там хочу быть. Думаю, будет потрясающая атмосфера. Актёры будут особенно в ударе.

БЕРТРАН. Да, я при параде. Был сегодня на «Федре».

ГЕРЕН. О, чёрт побери! Как тебя туда занесло!?

БЕРТРАН. Не ори.

ГЕРЕН. Мы в лесу!

БЕРТРАН. Просто не ори.

ГЕРЕН. И что ты решил? Пойдёшь на дело?

БЕРТРАН. Выходит, заказчик кто-то из германцев?

ГЕРЕН. Почему ты так подумал?

БЕРТРАН. Складывается так, что кому-то хочется сорвать гастроли Таировского театра в Германии?

ГЕРЕН. Ты смешной, фермер. Неужели какой-то театрик в состоянии повлиять на планы серьёзных людей? Ты так думаешь?

БЕРТРАН. Теперь да.

ГЕРЕН. Ну, такого просчитать я никак не мог! Чтоб сержант Бертран

пошёл в театр!

БЕРТРАН. У тебя немецкая самописка.

ГЕРЕН. Чёрт бы побрал деревенщину, мыслящего себя Наполеоном.

К Герену подкрадывается Арабель, приставляет пистолет к спине.

АРАБЕЛЬ. Не двигаться. Жюль, вяжи!

БЕРТРАН. Да. (Связывает Герена.)

ГЕРЕН. Ох ты как... Не ожидал.

АРАБЕЛЬ. Кто заказал Таирова?

ГЕРЕН. Зачем вам?

АРАБЕЛЬ. Интересно.

ГЕРЕН. Я так понимаю, что меня вы уже не отпустите.

АРАБЕЛЬ. Ответь на вопрос, капитан, пожалуйста, или будет очень больно.

ГЕРЕН. Да, женщины–палачи – это очень больно, знаю. Отвечу. Но сначала ты скажи: была на спектакле?

АРАБЕЛЬ. Нет.

ГЕРЕН. Значит, шансов у меня нет. Заказчик – я. Да-да, я сам. То же, как Бертран, попал на спектакль. Был как-то в Москве. На задании. Чтобы скоротать время, пошёл в самый знаменитый театр. И попал. Они давали «Адриенну Лекуврер». Наш материал, французский. Услышал монолог Федры. Адриена Лекуврер – это наша актриса, историческая личность, и Таиров вставил монолог Федры. Играла та же Коонен. Могучая актриса. Великая. Я уж не говорю о спектакле вообще. Я не смог выполнить задание. Не посмел убить человека. С тех пор скрываюсь. И тут вдруг узнаю, что Таиров привозит «Федру». Самую, что ни на есть. Не отдельный монолог. И так мне стало горько за себя, за нас... за всё человечество. Да-да, за всё. Мы себе проживаем, как можем, служим, унижаемся, вкалываем, совращаем, предаём – ну, дальше по списку, сами продолжите. И тут вдруг Таиров со своим театром. И ты понимаешь, что жить надо иначе. Не так, как тебе удобно, а так, как велит красота. А в красоту, как вы понимаете, не вписывается ни унижение, ни подчинение, ни бессмыслица. Враньё не входит в понятие красоты, оно не смеет там находиться. Дальше вы знаете. Жюль, ты меня понимаешь?

БЕРТРАН. Да, господин капитан. Казак отказался стрелять в Таирова.

ГЕРЕН. Тоже видел «Федру»?

БЕРТРАН. Да.

ГЕРЕН. А ты? Ты будешь стрелять?

БЕРТРАН. Я постараюсь. Сегодня точно нет, а через несколько дней приведу себя в порядок, войду в форму.

ГЕРЕН. Тогда зачем меня связывать?

АРАБЕЛЬ. Иначе не поговорили бы откровенно. Жюль, проводишь его?

БЕРТРАН. Нет.

АРАБЕЛЬ. Тогда сама. Вперёд, Герен, вперёд.

ГЕРЕН. Жаль, я так и не увижу знаменитой Федры. (Уходит под конвоем Арабель.)

БЕРТРАН. «Я к нему пылала грешной страстью. Боги разожгли то пламя. Остальное свершено Эноной». Или это: «Все клянут! Хоть каплю сожаленья!.. Смерть, скорей! Кончай мои мученья!»

Москва. Лето. Кремль. По коридору идёт Литвинов. Навстречу – Дзержинский.

ЛИТВИНОВ. Добрый день, товарищ Дзержинский.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Сегодня на заседании совнаркома товарищ Чичерин будет? Здравствуйте.

ЛИТВИНОВ. Нет, он в отъезде, буду я.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Значит, Максим Максимович, мне с вами надо оговорить ряд вопросов, включая списки привлечённых к ответственности граждан иностранных держав.

ЛИТВИНОВ. Буду признателен, Феликс Эдмундович. Иду за путёвки в оздоровительный детский лагерь. В котором часу встретимся и где?

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Давайте здесь, в Кремле, на нейтральной территории. Скажем, в двадцать-тридцать.

ЛИТВИНОВ. Договорились.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. А что там с вашими любимцами, Таировцами? Я знаете, почему вспомнил. Вчера знакомился с протоколами допросов некоторых известных лиц. Ну, и речь зашла об алиби главного подозреваемого. Фигурант сослался на пребывание в интересующее следствие время в московском государственном Академическом Камерном театре. Следователь озадачен, как в Камерном? Разве у нас есть тюремный театр. Извините, что я всё о своём. Как говорится, у кого, о чём болит, тот о том и говорит. В газетах тишина. Уехали зимой, уже лето. Они хотя бы вернулись?

ЛИТВИНОВ. Приедут только в сентябре. Уверен, в полном составе. Тишина в наших газетах, но не за рубежом. Количество газетных и журнальных статей просто ошеломляет. Публикации не только в Париже и в Германии, где Таировцы гастролируют, но в Англии, Америке, Чехословакии, Венгрии, Польше, Италии, Испании, Австрии, Турции. Подсчитано, что на сегодняшний день уже появилось пятьсот семьдесят статей на разных языках.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Так почему же они ещё не в Москве?

ЛИТВИНОВ. Гастроли в Германии пролонгированы до семи месяцев. Люди хотят просто видеть, специалисты получать пищу для ума. Они исколесили всю страну вдоль и поперёк, с возвращениями в одни и те же города. Немецкая критика утверждает, что Камерный театр оказал большое влияние на работы передовых немецких режиссеров. Одна из крупных газет Германии пишет, что немецкий театр прикреплен к крепощенному театру Таирова. А господин директор государственных театров Германии Гартунг пишет: «Гастроли Таирова показывают, какое плодотворное влияние может оказать на нашу страну такая передовая художественная сила, какой является Камерный театр. Немецкий актер впервые почувствовал с полной убедительностью, какую великую ценность представляет из себя истинно творческий коллектив. Здесь мы впервые увидели те великие достижения, о которых могли лишь мечтать». Нам, в наркомате иностранных дел, более всего нравится цитата из «Берлинер фольксцайтунг»: «Как Чичерин и его штаб вызвали всеобщее удивление, когда они в прекрасно сидящих фраках вошли в зал заседания в Генуе, так ошарашило нас искусство режиссера Таирова своим мастерством, виртуозным владением сценой». Известный критик Иоганн Матейка пишет, что в Берлине, Кёнигсберге и многих других городах читаются доклады, происходят дебаты о методе Таирова, что гастроли занимают всю прессу, которая внимательно следит за дальнейшей жизнью Камерного театра, что все новаторские театры и спектакли берлинской «Truppe» или мюнхенской «Kammerspiele» идут под знаком Камерного театра и его принципов, что Камерный театр пробил брешь в китайской стене буржуазных предрассудков, и восточные «варвары» победоносно вступили через эту брешь во владения «цивилизованного Запада». Выдающийся немецкий театральный деятель Леопольд Йеснер пишет: «Вы должны знать, что десять лет работы Камерного театра являются достижением не только русского, но и интернационального театра». А Херварт Вальден начинает статью в газете словами: «Надо трубить в трубы. Московский Камерный театр — единственный театр Европы».

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Максим Максимович, а путёвки в оздоровительный летний лагерь именные или просто в очередь?

ЛИТВИНОВ. Простите! Заговорился. Ну, и не менее важный всего лишь предварительный итог в том, что под воздействием гастролей Таировского театра возник реальный и деятельный интерес к торговым и более глубоким экономическим и культурным связям на межгосударственном уровне.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Надо же. Что ж, отлично. Видимо, хороший театр.

ЛИТВИНОВ. Вот вернутся, обязательно сходите. Получите колоссальное впечатление!

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Нет уж, благодарю. Я не повторю ошибки киллера.

ЛИТВИНОВ. Киллера...

ДЗЕРЖИНСКИЙ. На Таирова планировалось покушение ещё в Париже. Но исполнителя или даже исполнителей угораздило пойти на спектакль.

ЛИТВИНОВ. И что!

ДЗЕРЖИНСКИЙ. И ничего. Таиров жив же, вы говорите.

ЛИТВИНОВ. Феликс Эдмундович, простите, я в шоке. Но кому это понадобилось!

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Радует, что сотрудники ОГПУ и добровольные помощники вовремя распознали опасность и готовы были в любую секунду предотвратить готовившееся гнусное преступление против гражданина РСФСР. До встречи в двадцать-тридцать, товарищ Литвинов. У нас много дел. Много. (Уходит.)

ЛИТВИНОВ. В каком прекрасном и яростном мире мы живём. И ведь живём.

Осень. Тверской бульвар напротив Камерного театра. На скамье сидит Луначарский. От театра спешит Таиров.

ТАИРОВ. К нам?

ЛУНАЧАРСКИЙ. Нет, Саша, просто дышу осенью Тверского, обожаю. Остальная жизнь много дальше от Кремля.

ТАИРОВ. Моё любимое место. И тихо, и фасад Камерного напротив.

ЛУНАЧАРСКИЙ. «Показать советский театр в странах, где нас считают варварами, и в результате завоевать публику — это большая победа. Я от души поздравляю вас — это победа не только вашего искусства, но в вашего личного такта. Очень важно, что первый выезд советского театра за границу оказался таким триумфальным».

ТАИРОВ. Литвинов нас любит.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Товарищ Дзержинский напомнил, что в ноябре исполняется 10 лет твоей режиссёрской деятельности.

ТАИРОВ. Железный Феликс!? Ничего себе.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Будем торжественно отмечать.

ТАИРОВ. Умеете вы, товарищи наркомы, ошарашить. Это от «Покрывала Пьеретты» отсчёт. Вообще-то стаж у меня намного больше.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Думаю, имеется ввиду непрерывный стаж. А в следующем году десять лет Камерному театру. Можно сказать, завершится первый акт замечательной театральной пьесы.

ТАИРОВ. С непредсказуемым финалом.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Что ж, так всегда, иначе не интересно. Как ощущения в ранге лидера мирового театра?

ТАИРОВ. Всё бы тебе иронизировать.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Я по-взрослому, Александр.

ТАИРОВ. Да нормально. Надо осмотреться по приезду, вникнуть в московские реалии. И работать.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Чем порадуешь в новом сезоне?

ТАИРОВ. Точно не могу ответить. Думаю о Честертоне. «Человек, который был Четвергом». А весной, скорее всего, Островский. «Гроза».

ЛУНАЧАРСКИЙ. Ого! Ты покруче наркомов удивляешь. Трагедия Федры, оперетта «Жирофля-Жирофля» и наша Катерина. Сильно. Что там в Баварии произошло, за что вас выслали?

ТАИРОВ. В Мюнхене мы имели огромный успех, блестящую прессу и по просьбе дирекции должны были пролонгировать свои спектакли еще на две недели. И вдруг получаем предписание от местных властей в двадцать четыре часа покинуть пределы города. В это же время появилась заметка в одной из реакционных газет: «Над Мюнхеном развеивается большевистский флаг!» Эта статья и предписание о выезде вызвали гневное негодование среди населения Мюнхена и всей немецкой прессы, особенно в Берлине. Выражая сочувствие, одна из газет писала, что Камерный театр может гордиться тем, что вызвал к себе такую ненависть реакционеров. Самым неожиданным образом выразили нам свою симпатию мюнхенские железнодорожники. На вокзал мы приехали под эскортом полиции. Но когда наш администратор стал разыскивать заказанный им вагон третьего класса, его не оказалось. Взволнованный, он обратился к начальнику станции. «Ваш вагон приготовлен, - сказал начальник и повел его к вагону «микст» первого и второго класса с надписью на окнах «reserviert». - Это единственно возможный для нас знак выражения протеста против вашей высылки», улыба-

ясь, сказал начальник станции. Мы были очень тронуты и, поблагодарив, с удовольствием уселись в мягкие кресла, так как, спешно готовясь в дорогу, всю ночь провели без сна.

ЛУНАЧАРСКИЙ. В Альпах-то побывал?

ТАИРОВ. О, да! Поднимались в горы. Да и в самом Мюнхене восхитила необыкновенной красоты молочного цвета река Изар и удивительные окрестности.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Прослышал, ты отпустил Церетелли? По мне так это просто невозможная вещь. Николай – грандиозный актёр, плоть от плоти Камерного театра.

ТАИРОВ. Я совершил роковую ошибку.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Так давай, вернём!

ТАИРОВ. Не когда подписывал заявление Николая об уходе. Когда поставил репертуар в зависимость от одной актрисы.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Не смел заговаривать об этом, но это так.

ТАИРОВ. Видишь ли, Толя, так да не так. Момент, когда можно было пойти по заведённому театральному пути, на основе мер и противовесов, упущен. В четырнадцатом году мы открывались тремя спектаклями, два из которых ставил не я. И что? Вот именно. Коонен не просто замечательная актриса, она ещё и соратник. И работяга, каких театральный мир, возможно, не знал. От пантомимы до трагедии, от травести до героини – ей не просто всё подвластно, но она творит искусство. Вначале театру нужен был коммерческий успех, потом эмоциональный. Коонен его гарантировала.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Прежде всего – ты.

ТАИРОВ. В театре главный человек – актёр. Каков ни был бы режиссёр, художник, композитор. Вспомни гастролёров, хоть братьев Адельгейм, которым никто не был нужен, кроме них самих. А главное, что и зрителям то же. Так вот, до «Федры» я ещё мог исправить ошибку. Это если рассуждать расчётливо и постфактум. Но с «Федрою» Камерный театр вышел на такой уровень театрального искусства, что держать его и, что важнее, повышать, может лишь одна Коонен. После Ермоловой, она одна осталась, во всей России, огромная трагическая актриса.

ЛУНАЧАРСКИЙ. И в Европе.

ТАИРОВ. Возможно.

ЛУНАЧАРСКИЙ. В России за всю историю трагических актрис всего и было-то три-четыре.

ТАИРОВ. Амэн. Да, Церетелли тоже может. Но пришлось выбирать. Для театра важны оба, но для зрителя важнее Коонен. Моя главная за-

бота теперь оберегать её, этот совершенный сосуд искусства. Ну, оставил бы Николая? Сосуд мог бы треснуть. Они сами поставили меня перед выбором. И не знали, что выбора у меня нет.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Ты плакал, когда увольнял...

ТАИРОВ. Никто не видел!

ЛУНАЧАРСКИЙ. А я и не говорю, что кто-то видел, я просто предположил. Пора мне, Саша, грехи наши тяжкие, труды наши праведные. Не припомню, чтобы на Западе часто мелькало название «Камерный театр», но сплошь и рядом «Таировский театр». Твой театр, тебе творить. Как жаль Николая, так жаль.

Входит Коонен.

КООНЕН. Вот вы где! Анатолий, идём кушать чай.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Я не просто рад видеть тебя, Алиса, я просто счастлив, что ты есть. Благодарю, вынужден откланяться. Но приглашение на чай припомню, я чрезвычайно добропамятный человек. До свидания, богиня. Прощай, Саша.

ТАИРОВ. Рад встрече.

ЛУНАЧАРСКИЙ. Нет, не так. До встречи, Таиров-театр. (Уходит.)

КООНЕН. Ты обещал три дня самоизоляции от внешнего мира.

ТАИРОВ. Сколько же мы с тобой не виделись?

КООНЕН. А когда мы сели в поезд до Парижа... с 21 февраля.

ТАИРОВ. Одна тысяча двадцать третьего года.

КООНЕН. Семь месяцев.

ТАИРОВ. Ну, здравствуй.

КООНЕН. Здравствуй, малыш. Здравствуй. (Уходит с Таировым.)

Там же. 1949 год. Июнь. День. Навстречу друг другу идут Расстегаев и Горошек.

ГОРОШЕК. Хо-хо, Всеволод Сергеевич!

РАССТЕГАЕВ. Семён! (Обнимается с Горошком.)

ГОРОШЕК. А ну, закежь?

РАССТЕГАЕВ. Да ладно тебе, люди же, неловко.

ГОРОШЕК. Стесняешься!? Одурел ты, брат!? Ну, расстегнись же, Расстегаев!

РАССТЕГАЕВ. Не ори ты, смущаешь ведь. (Расстёгивает плащ, на пиджаке – Звезда «Героя», рядом с орденом «Почётного Легиона».) Вот.

ГОРОШЕК. Настоящий Герой! Нашего Советского Союза! С ума сойти. А что это за орден?

РАССТЕГАЕВ. Орден офицера Почётного Легиона.

ГОРОШЕК. Две высших награды двух государств! Сам Сталин вручал?

РАССТЕГАЕВ. Нет же, это было бы слишком круто. Как положено, вручал Председатель Президиума Верховного Совета СССР, запомнювал как звать...

ГОРОШЕК. Шверник! Николай Михайлович Шверник.

РАССТЕГАЕВ. Пока при памяти, сделаешь билет в театр?

ГОРОШЕК. В какой?

РАССТЕГАЕВ. Как в какой! В Камерный, конечно, к Таирову!

ГОРОШЕК. Закрыли театр.

РАССТЕГАЕВ. Ах, беда, неужели у вас так рано закрывают сезон. Могли бы сделать исключение, это же великий театр, говорят, все, кто едет к вам, заказывают билеты в Камерный театр...

ГОРОШЕК. Не сезон, Сева, закрыли не сезон. Совсем закрыли.

РАССТЕГАЕВ. Не понимаю.

ГОРОШЕК. Расскажешь моим пацанам про ваше «Сопrotивление»? Они ж тебя как бога ждут. От чёрт, никак не изжить старорежимные привычки с этим театром. Что ж ты там такого накуролесил, что наши бывшему беляку высшее звание присвоили?

РАССТЕГАЕВ. Как закрыли?

ГОРОШЕК. Так расскажешь про свои подвиги под борщец с самогонкой?

РАССТЕГАЕВ. Да не было никаких подвигов, Семён, нормальная военная работа, сам знаешь, что за штука. Про ребят расскажу. Я ведь и Гитлера живьём видел.

ГОРОШЕК. И не убил!?

РАССТЕГАЕВ. Такое горе, я так мечтал увидеть Коонен...

ГОРОШЕК. Обожди с полчаса, мне тут надо одно дело сделать, по работе. Приказ, куда деваться.

РАССТЕГАЕВ. И давно? Театр давно закрыли?

ГОРОШЕК. На днях. Двадцать девятого мая сорок девятого года в последний раз закрыли занавес нашего Камерного театра. Давали «Адриенну Лекуврер». Без Франции, как видишь, никуда, даже на тот свет.

РАССТЕГАЕВ. Как так...

ГОРОШЕК. Обыкновенное дело. Как врага народа. В расход.

РАССТЕГАЕВ. Не понимаю, зачем вам убивать Таирова?

ГОРОШЕК. Поможешь? Быстрее освободимся, скорее за стол сядем.

РАССТЕГАЕВ. Конечно. А что делать?

ГОРОШЕК. Да вывеску снять. Видишь, лестницу я уже пристроил. Раз-два...

РАССТЕГАЕВ. Вывеску? Имя Камерного театра снять?

ГОРОШЕК. Ну.

РАССТЕГАЕВ. Прости, я – пас.

ГОРОШЕК. А у меня приказ. Понимаю. Тогда обожди. Ага?

РАССТЕГАЕВ. Да.

ГОРОШЕК. О, чёрт, только не это... Опять идёт. Хоть в петлю лезь!

Входит Таиров, прислонившись к дереву, глядит на театр.

РАССТЕГАЕВ. Это же сам!?

ГОРОШЕК. Не ори. Да, это Таиров. Приходит сюда и часами глядит на театр. С ума сходит.

РАССТЕГАЕВ. И ты станешь снимать вывеску у него на глазах?

ГОРОШЕК. Приказано в течение получаса.

РАССТЕГАЕВ. Ты же не в армии.

ГОРОШЕК. Я – в Советском Союзе. Ох, мать моя женщина! Алиса Георгиевна...

От театра идёт Коонен, становится неподалёку

РАССТЕГАЕВ. Какая маленькая... богиня.

ГОРОШЕК. Я – мигом. Жди. (Уходит в сторону театра.)

РАССТЕГАЕВ (вослед). Горошек, не смей! Зачем же так-то... Это же не война.

КООНЕН. Станный день.

ТАИРОВ. Ты должна каждый свой день начинать так, как будто вечером играешь спектакль. Занимайся гимнастикой, речью, всем, чем ты занимаешься обычно. Готовь какую-нибудь новую роль... Теперь иначе ты не сможешь жить.

КООНЕН. Страшный день.

ТАИРОВ. Видишь, между булыжниками пробивается трава. Кажется невероятным: ездят машины, грузовики, топчут землю прохожие, а трава выпрямляется, живёт и даёт новые ростки. Вот так и искусство. Оно пробьётся и будет жить снова.

Все наблюдают, как с фасада Горошек сбивает вывеску «Камерный театр».

РОМАН

Игорь Бэзрук

г. Иваново

ГАМИЛЬКАР БАРКА

КНИГА ПЕРВАЯ

ВОЙНА НА СИЦИЛИИ (247-241 гг. до н.э.)

Пролог

Он плыл, удивленный, что некогда быстрое течение реки внезапно замедлилось, небо словно стеклянным куполом накрыло окружающее его пространство, и сквозь этот полупрозрачный купол, как в тумане, он видел воинов, сражавшихся между собой на берегу реки (движения их были также замедлены), птиц, неторопливо пролетающих над полем боя, видел даже легкое колыхание листьев на деревьях, и последнее казалось самым необычным.

Вода не была холодной, мышцы не зябли, наоборот, было тепло и уютно, как в родном очаге, как в утробе матери. Небо яркое до голубизны. И тишина. Такая, что аж звенело в ушах.

Люди разили друг друга мечами, кололи копьями, железо билось о железо, устало полоскался на ветру чей-то штандарт, падал на землю до блеска начищенный шлем, но все это происходило невероятно тихо, почти бесшумно.

Гамилькар медленно плыл на спине, смотрел на происходящее и, как младенец, радовался такому своему состоянию.

Ему с трудом верилось, что наконец-то наступили покой и умиротворение, о которых он в последнее время все чаще и чаще мечтал. Строил грандиозные проекты о расширении Карфагена на запад, о создании мощного, независимого, несокрушимого государства, о покорении алчных, агрессивных, бесцеремонных римлян, и вместе с тем ловил себя на убаюкивающей мысли, что он уже и так много сделал, немало совершил и теперь имеет полное право удалиться на покой. Пусть теперь идущие вслед за ним молодые изменяют мир по собственной воле, по своему внутреннему разумению.

«Я делал то, что должен был делать, то, к чему меня неотвратимо стремил Баал...» — думал, наполненный счастьем и умиротворением плывущий Гамилькар.

Убаюкивающая теплота, обволакивающая, успокаивающая. Греческая Лета? Река забвения? Он плыл вместе с ее ленивым течением, и ему хотелось так плыть и плыть до бесконечности, хотелось, чтобы тепло это никогда не исчезало, а окутывало его и дальше, до самого последнего дня, если он есть такой — последний, если существует.

На берегу по-прежнему один воин заторможенно рубил другого, златовласого; златовласый столь же замедленно прикрывал свою грудь щитом, потом сам взмахивал мечом, отбиваясь, а Гамилькар все рассуждал: «Как же я плыву, — думал, — и не удаляюсь?»

Златовласый снова возник перед его взором, появились и другие, разили друг друга мечами и копьями; мимо пролетали птицы, медленно падала набок лошадь... Все повторялось. Так, словно он плыл по кругу, словно река текла по кругу, а сражение происходило не на краю необозримой земли, а на маленьком островке, где и поместиться едва могли только несколько десятков человек. Но когда к воде, также неспешно, окруженный легким маревом, стал приближаться многосветлый Ахилл, затем к нему присоединился могучий Мелькарт с мощной дубинкой, негибаемые братья Филены, ставшие национальными героями Карфагена; когда с небольшого пригорка спустился такой же, осененный белевой дымкой, Александр Двурогий, а с ним и Пирр, Гамилькар окончательно успокоился — все его настоящие друзья, соратники, единомышленники пришли к этой реке поприветствовать собрата, привлеченного несокрушимой волей Баала к сонму людей, навечно оставшихся в памяти потомков.

«Приветствуем тебя, одинокий лев», — сказал кто-то из них.

Кто-то назвал его львом. Да еще одиноким. Кто? Быстроногий Ахилл? Несгибаемые Филены? Или самонадеянный Пирр? Назвали львом. Так называли его и раньше. А стали называть после того, как он съел сердце убитого им льва. Но тот лев был изгоем, значит, и он, Гамилькар, после этого навеки стал изгоем? Вот почему «одинокий». Однако он никогда не считал себя таковым. Хотя, наверное, был не прав: герой всегда сражается с химерами в одиночку, герой всегда одинок, один против всех, против всего мира, против всей Вселенной. Поэтому он и герой...

Гамилькар все плыл, убаюканный течением, и вспоминал. Как же давно это было? Двадцать, тридцать лет назад? Его память всегда плохо удерживала даты. Но тот год, несомненно, был одним из самых па-

мятных. В тот год его назначили командующим карфагенской армией и флотом на Сицилии. В тот же год у него родился первый мальчик, которого назвали в честь деда — Ганнибалом.

Он был еще так молод, только готовился к славному поприщу полководца. Теперь он наделен опытом и знаниями, но зачем они ему, если есть такая река, если тебя встречают на берегу сотоварищи, чтобы поприветствовать и обнять, и увлечь в свой заоблачный край вечной тишины и покоя. Стоит только руку протянуть, стоит только захотеть...

ЧАСТЬ 1

1

Едва забрезжил рассвет, Ахат, смотрящий за рабами на скотном дворе, почти на ходу прыгнул со взмыленного коня и с колотящимся сердцем ворвался в покои своего хозяина, Гамилькара. Новость была не из приятных. Тем не менее, у входа он был сурово остановлен могучим Ахиромом, начальником охраны. Тот никогда, кажется, не спал и, как мрачный Цербер, вечно стоял на страже покоев своего хозяина.

Однако, услышав первые слова, Ахиром не стал задерживать Ахата и вместе с ним сразу же прошел к Гамилькару, который вчера уснул в своем кабинете.

Гамилькара будить не пришлось — как опытный воин, он даже сквозь сон слышал обо всем, что происходит вокруг.

— В чем дело, Ахат? — приподнявшись на ложе, спросил он вошедшего. — Опять изгой?

— Да, хозяин. Вчера он навел ужас в соседней деревне, сегодня вторгся в наш загон. Верно говорят ливийцы: изгнанный из стаи лев быстро сходит с ума. Ночью он набросился на раба, наполнявшего зерном ясли...

Плохая весть. Лев-людоед — беспокойство всей округи. Вкусив человеческого мяса, такой лев больше ни перед чем не остановится, может наброситься даже на пастуха, окруженного стадом. Ливийцы верят, что львица-людоед обучает своих детенышей нападать на людей.

Гамилькар поднялся.

— Ахиром, — сказал, — готовь коней — далеко зверь уйти не мог. Настала, видно, пора наконец-то расквитаться с ним.

Гамилькар перепоясался кожаным ремнем с мечом и поспешил к выходу. Увлеченные его порывом, Ахат и Ахиром двинулись следом.

Гамилькар приказал разбудить наиболее приближенных и проверенных своих друзей-телохранителей, но разбудить так, чтобы не всполошить весь дом — ни к чему лишние бабьи визги и суета.

Проснувшись Рихату, управляющему именем, Гамилькар в двух словах объяснил, что к чему, но строго-настрого запретил что-либо сообщать его жене. Отправились на охоту, как обычно.

— Не беспокойся, хозяин, — твердо сказал Рихат. — Так все и скажу.

— Все ли собрались? — вскочив на коня и рассматривая прибывших всадников, спросил Гамилькар.

— Только те, кто страдает бессонницей, — бросил с легкой усмешкой доблестный Китион-лидиец, ровесник Гамилькара, широкоплечий крепыш, ловкий малый, близко сошедшийся с ним еще в армии Ксантиппа¹.

— Я и вижу.

Гамилькар хлопнул ладонью по крупу своего коня и стремительно понесся вперед. За ним, вздымая пыль, рванули и верные друзья-телохранители. Ахат на своей рыжей кобыле не отставал от всадников ни на круп.

Гамилькар был рад, что в такую тревожную минуту рядом с ним верные друзья, друзья, на которых всегда можно положиться.

Крепкие, надежные, в какой-то мере непредсказуемые, готовые на любые подвиги и тем так не похожие на остальную молодежь Картахдашта², пресыщенную, самонадеянную, несмотря ни на что уверенную в своем будущем, в постоянстве сущего.

Из года в год, из века в век устои древнего государства купцов и мореплавателей, торговцев и ремесленников казались незыблемыми. Эта слепая уверенность даже не понуждала карфагенян создавать собственную армию, армию, способную в любую минуту отразить нападение врага, защитить свое государство и родной город. Все были убеждены, что достаточно нескольких тысяч наемников, обменявших свои жизни на купеческое серебро, чтобы сохранить их вековечный мир и в

¹ Спартанский наемник, зимой 256/255 гг. до н.э. возглавивший карфагенскую армию против римского консула Марка Атилия Регула в Африке и разгромивший его.

² Так пунийцы называли свой город Карфаген (по-финикийски – Quarthadašt).

будущем. И вдруг это убеждение (особенно после высадки в Африке римского полководца Марка Атилия Регула и предательства соседних городов и общин, которые находились под покровительством Карфагена) в одночасье рухнуло, и все оказались не готовы к долгой и кровопролитной войне, молниеносно пожирающей накопленное богатство, внося смятение в души и страх в сердца.

Общество содрогнулось, и трепет этот вылился в новую небывалую волну религиозного исступления, страха и самоубийств. Вновь вернулись к забытым на целое столетие жертвоприношениям детей, ожесточились.

После разгрома Регула спартанским наемником Ксантиппой, около трех тысяч глав отложившихся ливийских общин карфагеняне беспощадно распяли на крестах. От Гиппона до Бизацены, от Клупеи до Тесты...

Война не щадила никого, поэтому так важно, думал Гамилькар, всегда быть готовым к ней, тем более, когда враг известен и известно, какой он коварный и алчный до чужих земель...

Словно грозная колесница Эла неслась кавалькада Гамилькара вдоль пробуждающихся плантаций, полудремных мирт и олив, фруктовых рощ и сочных виноградников. Солнце только поднималось, воздух еще наслаждался морской прохладой. На западе, в долине, у самого озера почти во весь горизонт растянулась легкая серая дымка.

На скотном дворе в южной стороне усадьбы Гамилькара народ давно не спал, столпившись с факелами вокруг задранный львом раба, они глядели на него, как побитые щенки.

Ночью скот для защиты от хищников обычно держали в загонах из колючего кустарника. Львы, если не находили в округе пищу, иногда подкрадывались к загону, но не проникали в него, мочились с подветренной стороны, чтобы напугать скот. Кто с испугом вырывался из загона и убежал в ближайшие заросли, тут же попадал в беспощадные лапы хищника.

Раб, заметивший волнение животных, не придал этому значения, за что и поплатился жизнью. Сколько раз говорилось bestолковым, чтобы были осторожнее, бдительнее, не геройствовали, сразу же сообщали кому следует. Теперь они жмутся друг к другу, как напуганные телята, и ничего толком сказать не могут!

Гамилькар, однако, не стал никого разгонять — Ахат сам потом разберется со всем, — поискал только среди толпы Сахеба, старого опытного следопыта, без которого не обходилась ни одна здешняя охота.

Но Сахеба среди толпившихся не оказалось. Наверняка старый хрыч (а ему было далеко за шестьдесят) валяется в стельку пьян где-нибудь под овином — за ним давно водится такой грешок.

— Где Сахеб? — спросил Гамилькар, и из толпы тут же раздался голос Федима, худощавого, рослого четырнадцатилетнего сына Ахата:

— Сейчас найду!

Юноша опрометью бросился на окраину деревни, где ютился Сахеб. Лев был ранен в бедро именно этим ловким и расторопным малым, прибежавшим на крик раба.

Крови оказалось немного, но даже и по ее редким пятнам Гамилькар без труда смог определить направление бегства хищника — глухое ущелье Западного хребта. Совсем неподалеку. Можно сказать, в двух шагах отсюда. Если учесть, что времени прошло не так уж много...

Гамилькар не стал дожидаться следопыта, сразу же развернул коня в сторону Западного хребта. Его свита не раздумывая рванула за ним.

Если зверь ранен легко, он быстро скроется в тенистых расселинах ущелья. Или — что хуже — попытается достичь непролазной чащи на юге, тогда — ищи-свищи его, а потом дрожи каждый раз от мысли, что, окрепнув, тот снова возьмется за старое, только еще разъяреннее, кровожаднее...

Никто не удивился действиям быстрого в словах и поступках Гамилькара. Не зря еще в бытность младшим офицером, в боях против Регула, Гамилькар получил прозвище Барка, что означало «молния». Однако ни дела его никогда не расходились со словами, ни слова не бывали легковесными. За ними всегда стояли крепкий ум, твердый расчет и глубокая уверенность в том, что он сможет справиться с любыми трудностями, которые бы судьба ни подкинула ему на тернистом жизненном пути. Да и прежние уроки Сахеба не пропали даром. Порой выдавшему виды старому охотнику казалось, что Гамилькар превзошел его не только в науке определять зверя по следам. На охоте Гамилькар будто сам становился одним из них, чутко улавливая отдаленный храп или мимолетный запах, обращая внимание на малейшее движение колосьев травы. А о зоркости его и говорить не приходилось. Кто первый замечал в высокой траве дикого кабана или шептунную куропатку? Гамилькар. Неподвижно уставившегося в даль в ступившихся сумерках шафана¹? Опять же Гамилькар. Вот и сейчас, едва они приблизились к ущелью, Гамилькар первым заметил на земле следы крови, остановил-

¹ Даман.

ся, спешился и заставил спешиться всех, словно почувствовал: зверь здесь, среди остывших от ночной прохлады камней. На это, казалось, намекали и зоркие ястребы, которые кружили высоко вверху над скалами.

Кровь с обрывками волос вне сомнения была кровью раненого льва. По ее виду было понятно, что изгой далеко не ушел, может даже, был ранен серьезнее, чем они думали, и теперь скрывался в одной из глухих расселин ущелья.

Гамилькар, взяв в руку несколько дротиков, приказал всем вольно рассыпаться в разные стороны и создать как можно больше шума. Лев не тот зверь, что будет прятаться при виде врагов. И тяжело раненный, он найдет в себе силы встретиться с противником лицом к лицу. Пусть даже и в последней кровавой схватке.

Федим к тому времени достиг хижины Сахеба. В дверях на него пахло псиной, затхлостью и неподсохшими шкурами убитых зверей.

Сахеб, как он и предполагал, лежал пьян на старом набитом соломой матрасе в углу хижины среди своры охотничьих собак. Некоторые из них вяло подняли головы, но тут же, узнав мальчишку, снова их опустили.

Федим не стал будить охотника, знал — бесполезно. Во дворе отвязал от коновязи еще достаточно крепкую лошадь Сахеба и увлек за собой тройку самых ловких и опытных псов.

Собаки, словно почуяв предстоящий гон, стремглав помчались за Федимом.

Федим был воодушевлен — ему ни разу еще не приходилось преследовать льва. Вот будет охота так охота!

В ущелье один из телохранителей громко затрубил, остальные, ударя дротиком о дротик и выкрикивая боевой клич наступающих, двинулись вперед к расселине, где предположительно скрывался хищник.

Солнце только поднималось над горизонтом, косые багровые и коричневые тени разрезали неширокий вход в ущелье на части.

Гамилькар и в этот раз не ошибся: лев недолго сидел в своем скрытом от глаз убежище, не удержался, не выдержал наглой выходки жалких людишек, не оставивших ему никакого выбора. Он зарычал так грозно, как только может грозно рычать зверь, которому больше нечего терять, у которого больше не осталось ничего; зверь, которому опостылело скитаться, как гиена, по саванне и который больше не отличает крови антилопы от человеческой крови. Он зарычал, рыком своим

заставляя забиваться в норы мелких грызунов и пригибаться к земле высоким травам, зарычал и вышел навстречу своим врагам, может даже, навстречу самой смерти, которая ехидно ухмылялась за их спинами.

Но его громоподобный рык, эхом разлетевшийся по ущелью, несколько не испугал видавших виды охотников. Как бы ни пытался этот отощавший, полуголодный, давно потерявший живой блеск глаз, покрытый незаживающими ранами, грязный, дурно пахнущий лев (а знает Гамилькар, как сладким мускусом пахнут ухоженные львицы), как ни пытался он предстать перед своими преследователями ужасающим созданием, печать времени и беспокойных скитаний неумолимо отразилась на нем.

Его остервенелый рык всем показался лишь предсмертным криком, агонией, попыткой собрать всю свою последнюю волю в один сплошной комок.

Но что его воля против воли человека — человеку покровительствуют боги, бог дал человеку власть над зверем!

Не успело эхо достигнуть середины ущелья, как первый легкий, но острый дротик, выпущенный самым молодым и нетерпеливым из товарищей Гамилькара длинноволосым Ирхулином, вонзился льву в правое плечо; второй, вылетевший из рук Нагида-нумидийца, впился повыше крестца; царапнул щеку третий — Китиона-лидийца.

«Вот зараза!» — выругался тот недовольно — когда такое было видано, чтобы он промахнулся?

И опять зверь дико взревел, теперь уже от ярости и боли; на мгновение поднялся на задние лапы, ударяя по воздуху передними, затем изогнулся, чтобы выдрать, глубоко впившееся в бок копьё Нагида-нумидийца, но в следующую минуту из его горла вырвался лишь сдавленный хрип, — четвертый дротик, брошенный Бомилькаром, зятем Гамилькара, прошил ему горло. Копьё Гамилькара пробило грудь, и мрачный изгой грузно пал на землю, обагрив вокруг себя камни кровью.

Довольные охотники, шумно переговариваясь и рассыпаясь шутками, с разных сторон приблизились к бездыханному льву, но стоило только Ирхулину попытаться выдернуть застрявший в теле зверя дротик, как тот неожиданно резко вскинулся и наобум махнул крупной лапой с острыми когтями. Только бдительный Гамилькар, резко выхвативший из ножен свой короткий меч и вонзивший его по самую рукоять в сердце льву, спас беспечного ротозея от верной гибели, ибо отступить тому даже в сторону было некуда — позади возвышалась голая вертикальная скала.

— Что бы ни случилось, никогда не позволяй себе расслабиться, Ирхулин, — произнес Гамилькар, вытаскивая меч из тела льва. — Не то рискуешь потерять голову.

— А такая светлая голова нам еще пригодится, — подойдя к юноше, снисходительно потрепал его по длинным светлым локонам Китион.

Ирхулин на него не обиделся. Китион был ему как родной брат, к тому же более надежного товарища за сотню миль вокруг не сыщешь, такой и в бою не оставит, и грудью, случись что, прикроет.

— Клянусь Мелькартом, вы все мне вскоре пригодитесь, — бросил Гамилькар. — Столько дел впереди — божественному Мелькарту и тому не справится.

Никто не возразил ему. Любой приблизившийся к Гамилькару, даже случайно заговоривший с ним, взглянувший в его глубокие под густыми бровями карие глаза неожиданно начинал понимать, что этот невысокий, но крепкий, уверенный в себе человек давно готов на великие дела, на героические подвиги. И если он еще стоит перед вами, значит, просто не пришла пора, не пробил час, не увлекла его за своим хитрым богиня войны Анат. Но ореол будущих славных побед уже витает над ним, завораживая.

Федим с собаками появился, когда все было кончено. Сильно расстроился и во всем стал винить пьянчужку Сахеба. Если бы тот был, когда нужен, на месте, ему не пришлось бы за ним бежать. А это ни далеко — ни близко: на самом краю скотного двора, за дальним загоном. Если бы тот был на месте, Федим преследовал бы льва вместе со всей свитой Гамилькара, и его дротик также вонзился бы в тело изгоя, как дротики остальных. Когда такое еще в жизни случится! А так...

Тем временем нумидиец Нагид опустился перед убитым львом на колени, положил на его широкую грудь руку и быстро забормотал известные лишь ему одному молитвы прощения, молитвы единения с духом убитого, молитвы, которые помогут духу животного беспрепятственно добраться до далекой страны Духов, а не блуждать вечно среди живых, наводить на них страх и сеять смятение.

Никто не стал останавливать нумидийца, никто не смеялся над ним, даже Ирхулин, потомок одного из старейших карфагенских аристократических родов, который надменно глядел на всех инородцев. Никто не прервал его действий, ибо каждый из них, так же, как и Нагид, верил, что люди, как и все животные, как и все растения в этом мире соединены между собой одной невидимой нитью где-то там, в заоблачной стра-

не Духов, вхожи куда только боги. И никому не дано безнаказанно разрывать эту связь, дабы не вызвать гнева никогда не дремлющих богов.

Закончив молитву, Нагид вспорол убитому льву грудную клетку, вынул из нее багровое, еще не остывшее сердце хищника и протянул Гамилькару.

— Мой народ верит, что, съев сердце животного, навеки обретешь его силу и мощь.

Гамилькар пристально посмотрел в глаза Нагида. В них пылала неодолимая убежденность в правоте своих слов.

— Да здравствует наш вождь Гамилькар! — неожиданно громко крикнул Бомилькар и по древнему ханаанскому обычаю выбросил вперед правую руку. Все остальные с таким же воодушевлением грянули дружным хором, оглашая ущелье: — Да здравствует Гамилькар! Да здравствует Гамилькар! Наш вождь! Наш лев!

Гамилькар бережно взял из рук Нагида львиное сердце, откусил кусок и стал пережевывать его, чувствуя, как свежие силы наполняют тело и прежняя уверенность в том, что он сможет многое изменить, обретает новую мощь.

— Да здравствует Гамилькар! Да здравствует Гамилькар!

Глаза Гамилькара заискрились. Он стер со своей небольшой курчавой бороды львиную кровь и улыбнулся:

— Спасибо, друзья, что верите в меня. Без вас я бы никогда не отважился взглянуть даже на вершину горы.

— Это мы без тебя, как отара без поводыря, — обнял его с усмешкой Китион-лидиец, и все тоже заулыбались. О таких друзьях-товарищах другим только мечтать!

Меж тем солнце поднялось. Надо было трогаться в обратный путь. Гамилькар запрыгнул на своего коня, натянул поводья. Придержав нетерпеливого скакуна, сказал:

— Чтобы неповадно было другим львам, распнем его на старой развилке.

Бомилькар с Нагидом перевернули убитого льва на спину и к каждой задней лапе привязали по толстой пеньковой веревке. Свободные концы веревок передали сидящим на конях Ирхулину и Китиону.

В последний свой путь по долине изгой-людоед отправился, как забитый рабами подлый шакал: униженным и опозоренным. Он не смог даже постоять за себя, не нашел в себе сил наброситься на своих недругов, умер, как последняя падаль, и его сгнивший, усохший на деревянном кресте труп долго будет напоминать прохожим о бесславном конце некогда могучего хозяина бескрайних просторов.

На вилле Гамилькара ждала еще одна радостная весть: из Картхашта наконец-то прибыл посланник с известием, что он приглашен на заседание Совета, где будет утверждаться его кандидатура на должность Главнокомандующего флотом и карфагенскими войсками на Сицилии.

Баал–Хаммон все-таки не оставил его.

Уверенной поступью Гамилькар Барка, сын Ганнибала, вступал в историю.

2

Последнее время, с настойчивой регулярностью хоть раз в две-три декады под утро Ашерат посещал один и тот же пугающий сон, будто она лежит на широком ложе, на пропахших потом, скомканных простынях (она и во сне слышала эти запахи), а откуда-то снизу с разных сторон к ее ногам подкрадываются две гибкие ветви, черные, без листьев, но не сухие. Ветви, царапая до крови кожу, вились вокруг каждой ноги, оттягивали их в стороны, приковывали ее к ложу так крепко, что Ашерат не могла даже пошевелиться, только с ужасом наблюдала, как ветви, скрутив ноги, продолжают двигаться дальше, выше, окольцовывая и руки, подползая к груди; медленно, настолько медленно, что Ашерат успевала полностью осознать, какая напасть на нее надвигается. Она мучительно стонала, но предотвратить ничего не могла.

Так же медленно нарастал и ужас, но боли не было, только страх, животный страх, охвативший все ее существо.

Без боли ветви проникали в ее грудь, просто ныряли под кожу, и, пройдя через тело и голову, вырывались наружу через глазницы, выдавив глаза.

Тут же свет гас, Ашерат просыпалась в холодном поту, плакала и ничего не понимала: что за дурной сон, почему он так настойчиво снится ей почти каждый месяц.

Мысли от пережитого метались, как ночные мотыльки в узкой полоске света. Вопросы перехлестывали друг друга, сплетались и разбегались в разные стороны и не давали покоя потом весь день.

А сегодня она даже вскрикнула во сне. И, наверное, так громко, что испугала даже дремавшую неподалеку Парфениду, которая давно стала неотъемлемой частью семьи Гамилькара, а в молодости была кормилицей ее матери, Батбаал.

— Что ты, дочка? — спросила Парфенида спросонья и сразу же поднялась — не первый день она замечает, как беспокойно по ночам спит ее воспитанница.

В пробивающемся из-под полога на входе утреннем свете, было видно, что Ашерат лежит с распахнутыми глазами.

Парфенида с беспокойством прилегла возле девочки на край ложа, Ашерат тут же обняла старушку и уткнулась ей в грудь.

— Что опять? — Парфенида нежно погладила девочку по голове. Но Ашерат ничего не ответила.

— Поспи еще, страшный сон тебе больше не приснится. Не думай о нем.

Ашерат постепенно отходила от приснившегося кошмара, хватка ее ослабла, закрытые веки перестали подергиваться.

Парфенида дождалась, когда Ашерат снова заснет, и только потом поднялась, чувствуя, что правая рука ее немного отекала.

— Горе, горе, — забормотала она привычное, растерла отяжелевшую руку, пошевелила пальцами, убедилась, что они двигаются, украдкой глянула в сторону кровати сестры Ашерат, Наамемилкат. Нааме тоже спала. Парфенида вразвалку направилась к выходу из спальни.

Парфенида не могла не поохать, если с кем-либо, даже с людьми незнакомыми, случались какие-нибудь несчастья. А уж если со своими близкими!

Никто не переубедит ее, что, раз девочка стонет во сне и просыпается с испугом в глазах, с нею не случилась беда. А Парфенида, которая прожила на свете не один десяток лет и многое повидала на своем веку, сердцем догадывается, откуда у девочки такие страхи.

Комната Батбаал и маленького Ганнибала была смежной с комнатой, где спали девочки со старушкой. Но именно сейчас тревожить хозяйку дома Парфенида не решилась. Скоро совсем рассветет, Батбаал и так поднимется: она всегда встает рано.

Да, собственно, с первыми лучами солнца просыпается весь дом. Челядь начинает колотиться по хозяйству, хозяйка отдавать распоряжения управляющему, Гамилькар, если не на охоте, не на выгоне или не в стане своих друзей-телохранителей, штудирует у себя в кабинете доставленные из Города свежие пергаменты.

Парфенида хотела спуститься вниз во внутренний двор, однако Батбаал сама, обеспокоенная, вышла ей навстречу.

Показалась из своей комнаты и Йаазель, старшая дочь Гамилькара и Батбаал, жена Бомилькара. Она всегда вставала вместе с матерью поутру — замужней девушке неприлично долго спать.

Батбаал спросила свою кормилицу:

— Нам послышался крик, Парфенида, снова Ашерат?

— Да, моя милая. Уж не знаю, что и думать, чем девочке помочь. Я смазывала ей виски лавандовым маслом, повесила над изголовьем постели отгоняющие нечисть ветви сосны и серебро, но кошмары совсем не проходят. Велела даже Кариону раздобыть мелиссы для успокоительного отвара, пусть хоть в Лептис людей посылает, хоть в Тапс¹!

— Может, мне самой с ней поговорить, выяснить, что к чему? — Батбаал не знала, за что зацепиться. — Или пусть ее посмотрит Карион, он ведь все-таки врач.

— Сомневаюсь, что врач в этом случае чем-то поможет. Я уже говорила тебе. Это все Мактаб — у нее дурной глаз. От нее одни только неприятности. Не нужно было приближать ее к себе. — Парфенида снова затянула старую песню.

Батбаал остановила ее, не хотела, чтобы старшая дочь тоже слушала вздорные ворчания старушки. Хватит, что она почти полгода их выслушивает.

Батбаал отправила Йаазель вниз на кухню.

Мактаб, маленькая чернявая ливофиникийка² лет двадцати, пухленькая, с округлыми плечами и резко очерченным лицом, была кормилицей Ганнибала и нынешней женой Рихата (прежняя умерла еще три года назад), но родилась и выросла она в семье мелкого торговца гончарными изделиями из Картхадашта.

Рихат как-то закупал у него партию амфор под оливковое масло и обратил внимание на его кроткую, не в пример иным напористым торговкам дочь.

Гамилькар, которому Рихат ненароком проговорился о приглянувшейся девушке, чтобы управляющий не печалился долго о своей судьбе, а занимался огромным имением Баркидов, как делал он это и раньше: толково и ответственно, сделал все, чтобы торговец отдал свою дочь Рихату в жены. После года счастливого супружества у новоявленной четы родился мальчик, которого они само собой назвали Фелисом³.

Рихат гордился тем, что Фелис и господский наследник Ганнибал стали «молочными» братьями. Это была лишь малая толика того, что

¹ Лептис-Минор и Тапс – ближайшие крупные города к имению семьи Гамилькара Барка.

² Ливофиникийцы – рожденные от смешанных браков финикийцев и ливийцев.

³ Что значит «счастливый».

Рихат мог сделать для семьи Гамилькара. Преданней человека Гамилькар, если бы и захотел, не смог бы найти в своем окружении.

Пришлась Мактаб по нраву и Батбаал. Сама будучи в положении, в первый же день своего приезда из Картхадашта она заметила во дворе такую же будущую мать, а узнав, что девушка — жена управляющего, настояла, чтобы та всегда находилась поблизости — все-таки двум женщинам на сносях легче найти общий язык независимо от разницы в возрасте. Да и после рождения Ганнибала (Фелиса Мактаб родила месяцем раньше), Батбаал убедилась, что девушка полюбила ее сына ничуть не меньше, чем своего. День и ночь хлопотала она над обоими мальчиками, вызывая порой у Батбаал даже небольшие уколы ревности. Только простота и непосредственность Мактаб не позволяли глубже развиться глупому чувству.

Легко сошлась Мактаб и с Йааэль, и с Ашерат, которая хвостиком ходила за своей старшей сестрой, часто видели всех троих вместе: и когда Мактаб возилась с младенцами, и когда выпадала ей свободная минутка.

Йааэль была в том возрасте, когда самой в пору рожать, но Астарта пока не подарила ей такой радости. Неизвестно почему, она упорно обходила стороной скромный дом Йааэль и Бомилькара на северной оконечности Картхадашта, огорчая не только обоих супругов, но и их родных.

Впрочем, Мактаб ко всем относилась с вниманием. Когда она не кормила младенцев или не убаюкивала их перед сном, ее могли видеть на кухне, могли столкнуться с ней в амбаре, повстречать у ворот усадьбы, где скапливался случайный люд в ожидании хозяина. Вот она беседует с прислугой по поводу предстоящего праздника, а через минуту уже сочувствует одной из рабынь, у которой где-то на далеком Наксосе¹ скончалась старушка-мать.

Было удивительно, как ничем не примечательная, вроде, девушка запросто сходилась со всеми, находила слова, чтобы высказать свое одобрение или сострадание; выкраивала минуту, чтобы выслушать даже незнакомого и чем-нибудь помочь.

С особым почтением она относилась ко всем Барка. Стоило только Гамилькару или прежде Батбаал столкнуться с Мактаб лицом к лицу, как девушка тут же замирала, опускала глаза долу и не поднимала их, пока хозяин или хозяйка не уходили.

¹ Один из греческих островов в Эгейском море.

Батбаал с трудом удалось отучить девушку от негодной привычки, свойственной больше рабам.

Еще более удивительным было то, что она не пришла по душе Парфениде. Та сразу не приняла Мактаб, считая, что за видимой простотой натуры кормилицы Ганнибала скрывалась темная душонка, помешанная на мрачных ханаанских религиозных культах.

У нее и покойная мать была такой, хрипела Парфенида, и бабка. Да стоило только взглянуть на обстановку комнатки Рихата и Мактаб, сплошь и рядом уставленную статуэтками Исида и Астарты, Тиннит и Матери богов — Кибелы, увешанную всевозможными атрибутами богинь, бесами, амулетами и оберегами — все сразу становилось ясным.

— Поверь, моя девочка, — день через день повторяла убежденная в своей правоте Парфенида, — общение крошки Ашерат с этой помешанной ничего хорошего не принесет. Я не могу безразлично смотреть, как моя любимица сохнет на глазах, забыв обо всех радостях жизни. А всё — дурное влияние дрянной девчонки.

Батбаал странно было слышать такое о своей служанке — особого религиозного рвения за Мактаб она не замечала. Девушка частенько просила богинь ниспослать благословление своему ребенку и детям Гамилькара и Батбаал, но подобное никак нельзя назвать одержимостью. В жилищах других слуг или рабов оберегов и статуэток богов и богинь было ничуть не меньше, а порою даже и больше. Парфенида явно преувеличивала, и скорее всего просто из ревности, как считал и Гамилькар, когда впервые Батбаал сказала ему об опасениях Парфениды: старушка больше не могла кормить Ганнибала своей грудью, как некогда кормила Батбаал, и это раздражало ее больше всего. Парфениде казалось, что она утрачивает свою значимость в доме Гамилькара, свое влияние на Батбаал, а значит, и уважение окружающих. К тому же, все заметили, у Парфениды давным-давно сложились твердо установленные взгляды на то, что можно и чего нельзя, закрепленные в сознании как ряд правил и законов, нарушать которые не смеет ни она, ни кто-либо другой. По этим негласным правилам она осуждала и сближение девушек, Мактаб и Ашерат, разница в возрасте которых была не так уж и мала. Однако и в этом вопросе Парфенида не нашла поддержки у хозяйки: что такого, что девушки общаются (а Мактаб, хоть и родила, сама еще девушка), в этом ничего зазорного нет, зря на нее Парфенида грешит.

— Только мне такое не говорите: «ничего плохого»! Вы бы послушали, о чем они судачат. Мактаб просто помешана на своих божках, на этих идолах! Я бы сказала больше: спятила от них и хочет, чтобы и на-

ша малютка Ашерат стала такой же. Нет, я, конечно, все понимаю и сама почитаю богов не меньше других, но талдычить о них день и ночь, курить благовония, шагу не сметь ступить, чтобы не оглянуться — не смотрят ли они тебе вслед сверху зорким оком — это уже чересчур!

Батбаал попыталась утихомирить старушку:

— Милая моя кормилица, погоди, остановись. Мне кажется, ты несправедлива к бедной девушке. Может, она и богобоязненна больше других, и частенько сверяет свои поступки с оглядкой на богов, но она добрая душа, а это не всем нравится. Что касается Ашерат... Может, так ее пугает, нагоняет страшные сны предстоящий обряд вступления во взрослую жизнь. Все мы через это прошли, и мои ночи перед таким обрядом были не менее пугающими. Обычные девичьи страхи. В любом случае, я думаю, надо бы посоветоваться с Карионом.

Парфенида вспыхнула:

— Ты совсем меня не слышишь! Я не о том тебе толкую!

Батбаал попыталась в который раз возразить, но новый протяжный стон дочки остановил ее.

Пока они с Парфенидой шептались, Ашерат забылась во сне, и старый кошмарный сон, скорее всего, снова настиг несчастную.

— Поди, пожалуйста, к Ашерат, я разыщу Кариона, попрошу, пусть все-таки ее осмотрит.

— Говорю тебе, врач тут ничем не поможет, — пробурчала старуха.

— Не обижайся, родная. От того, что врач посмотрит ее, хуже не будет. Побудь пока здесь, я спущусь вниз. А свои глупые мысли насчет Мактаб выбрось, пожалуйста, из головы — из-за вас мне только свары в доме не хватало, — мягко коснулась плеча своей кормилицы Батбаал.

Батбаал ушла, но Парфениду не переубедила, старушка осталась при своем: у Мактаб «черный глаз» и ее надо держать подальше не только от Ашерат, но и от маленького Ганнибала.

3

Батбаал со второго этажа, где располагались женские покои, спустилась во внутренний двор в покои Кариона, домашнего лекаря семьи Гамилькара.

Карион, по происхождению кариец, долгое время проживал в Книде, довольно-таки успешно занимался там врачеванием и даже приобрел этим занятием себе имя, но однажды отправился к родственникам на Родос, по пути был захвачен пиратами и на том же Родосе продан в рабство предприимчивым финикийским перекупщикам, которые и привезли его на невольничий рынок в Карфаген. Тут малоазийского лекаря

приобрел отец Гамилькара, так как Карион еще на борту купеческого судна выказал свое искусство, вылечив нескольких заболевших матросов. С тех пор, став членом семьи Барка и продолжая заниматься врачеванием, Карион добился еще больших успехов в своем деле, однако необычный случай с Ашерат даже его поставил в тупик.

Бабье суеверие Парфениды он как человек, который твердо стоял на ногах, отвергал безоговорочно, хотя и признавал успокаивающее действие некоторых ароматных трав.

— Свежий воздух — лучшее лекарство от бессонницы, — заверил хозяйку старый лекарь и пообещал тотчас же по пробуждении бедную девочку осмотреть.

— Думаешь, это болезнь? — Батбаал встревожено посмотрела на Кариона.

— Может, и болезнь, судя по тому, что возникла она внезапно. Были бы мы в Городе, отвели ее в храм Эшмуна¹ или к горячим источникам Тунета². Лечебные ванны, грязи и молитвы пошли бы ей на пользу. А тут... Даже не знаю пока, что сказать. Боюсь только, как бы с жарой ее недомогание не усилилось.

— Я помолюсь Эшмуну и Тиннит, надеюсь, они не оставят девочку.

Батбаал, озабоченная предстоящим приездом важного гостя, поручила всю заботу о дочери Кариону, а сама отправилась заниматься домашними делами.

Карион задумчиво посмотрел ей вслед. Ему нравилась кроткая Батбаал. Но он не мог рассказать ей обо всех своих мыслях.

Ему казалось, что кошмары маленькой Ашерат снятся не только из-за приближения чудовищного праздника Астарты, во время которого, прикрываясь именем бога, карфагенских девочек лишают невинности (он как образованный эллин с неодобрением воспринимал варварский ханаанский обычай).

В немалой степени в ночных страхах девочки, он считал, виновата и Наамемилкат, которая прошла через этот дикий обряд в прошлом году. Карион помнит, что Нааме страдала после обряда не меньше, чем сейчас Ашерат, только умело скрывала от всех свою боль и унижение в

¹ Бог медицины в Карфагене, центральный храм которого находился на Бирсе. У римлян отождествлялся с Эскулапом, у греков частично с Иолаем, товарищем Геракла.

² Город на противоположном от Карфагена берегу Тунисского озера (современный Тунис – столица государства Тунис).

силу твердого характера. Теперь остались одни смешки да насмешки, да исподтишка страдание маленькой сестры к собственному удовольствию.

Кариону вообще не очень нравилось отношение Нааме к младшей сестре. Он думает, что отчасти в этом виноват их отец Гамилькар, который в свое время отдалил от себя Ашерат, часто был холоден с ней, мало заботлив.

После рождения двух дочерей он ждал сына. Ждал, как никто другой.

Семья воинов и государственных деятелей не может остаться без продолжателей рода. А продолжателями рода всегда были только сыновья. Сыновья, а не дочки!

Помнится, и к жене, в которую он был влюблен без памяти и которую чуть ли не боготворил, с каждым рождением очередной дочери он охладевал сильнее и сильнее.

Первая, Йааэль, еще была принята им, вторую он встретил с прохладцей, разочарованно улыбнулся у родильного ложа: «Ну что ж, может, третьим Баал пошлет нам все-таки сына». Но и третьим ребенком оказалась тоже девочка — Ашерат. И сердце Гамилькара дрогнуло. Он не захотел даже смотреть на нее, не то, что взять на руки. Почти на несколько месяцев умчался в военный лагерь и только по просьбе отца вернулся, чтобы помириться с семьей.

Батбаал ему и слова тогда не сказала, ходила, как тень.

А Наамемилкат, подрастая, словно уловила недовольство отца рождением Ашерат, и сама стала относиться к ней с высокомерием, полностью соответствуя своему звучному имени¹.

Теперь, когда приближалась пора взросления младшей сестры, Нааме все больше задирала ее, пугала предстоящим обрядом. Это, считал Карион, не могло не отразиться на ранимой натуре девочки.

Сколько раз он одергивал строптивую Нааме, (чем только заслужил дополнительные проклятья), но рассказать обо всех своих предчувствиях никому так и не решился, хотя и понимал, что умалчивание в таком случае может привести к непоправимым последствиям — Ашерат или уйдет в себя, или озлобится на весь свет.

¹ Наамемилкат означает «милостива ко мне Милкат». Милкат (царица) — супруга бога Мелека.

У первой попавшейся на глаза рабыни Батбаал спросила, где управляющий. Та не так давно видела его на кухне.

Разыскав Рихата, Батбаал напомнила ему о скором прибытии гостя и поинтересовалась, где находится ее муж, потому что ни в комнате для гостей, ни в кабинете она его не нашла.

Рихат ответил, как и было велено: на охоте, так что не стоит беспокоиться.

Батбаал согласовала с ним, какие блюда готовить к обеду и сколько выделить из кладовой муки, меда, яиц и творога для приготовления похлебки. Какая свита будет у гостя, неизвестно, а ударить в грязь лицом не хотелось.

И сегодня на похлебку пусть возьмет муку пшеничную, а не ячменную — все-таки особый случай.

Рихат заверил хозяйку, что лично проследит за всеми приготовлениями.

4

Весть о решении Народного собрания и предстоящем заседании Совета 104-х, который давно стал главным негласным органом власти Картхадашта и утверждал все его решения, привез Белшебек, троюродный брат Гамилькара, доверенное лицо Гербаала, Верховного жреца храма Баал-Хаммона.

Храм великого бога, один из главных и влиятельных храмов Карфагена, из поколения в поколение поддерживал исконный дух Древнего Ханаана не только на ливийской земле, но и на всей территории карфагенского влияния от Атлантики до алтарей Филинов¹ на побережье северной Африки и в Средиземноморье.

С храмом Баал-Хаммона Баркидов на протяжении веков связывали самые тесные отношения. Только из их прославленного рода выбирались Верховные жрецы храма (как повелось еще от легендарной царицы Элишат², с которой почти шесть столетий тому назад предки Баркидов впервые ступили на эту благодатную землю и основали на ней Картхадашт, Новый город). Многие из Баркидов и их ответвлений становились жрецами этого храма. Одними из основных и самых щедрых

¹ Алтари Филинов, установленные в честь легендарных героев Карфагена, считались крайней восточной точкой границы карфагенской державы.

² Или Элисса, тирская принцесса, основательница Карфагена, прозванная туземцами, а позже римлянами Дидоной («странствующей»).

пожертвователей храма были Баркиды. И храм никогда не оставался в долгу перед родом Баркидов — он всегда покровительствовал членам клана, всегда поддерживал ключевую линию его политики.

Все в усадьбе давно знали о прибытии гонца. И все разом будто выдохнули — такое тягостное состояние в последнее время царило в округе от ожидания вестей из Города. Гамилькар по-прежнему с утра до ночи в специально созданном им лагере в долине у реки муштровал своих друзей-телохранителей, зрели олив, наливался виноград, ревел в загонах скот, готовилась в очаге пища, но воздух словно перед грозой был тяжел и удушлив. Все ждали перемен, но более всех нетерпеливый Гамилькар, потому что от этих вестей напрямую зависела его судьба. А может быть, и судьба всего государства, ведь Баркиды, как никакой другой ханаанейский род, были связаны с Картхадаштом вековыми неразрывными узами.

То, что сейчас происходило с государством, никак не могло оставить Гамилькара безучастным. Он давно понял, что многое надо менять в государстве, многое перосмыслить. Предстоящее назначение, он был убежден, станет его первым шагом к большим переменам, может даже, к коренным переменам, которые позволят всем, наконец, смыть с себя восемнадцатилетний позор непрекращающейся войны с Римом, войны губительной и беспощадной не только для Картхадашта.

И вот грянули вести, и все неторопливо-монотонное вдруг разом пришло в движение. Тут же стали готовиться на заклятие овны (в первую очередь за проявленную милость надо возблагодарить богов), резать свиньи и куры, лепиться лепешки; из врытых в землю глиняных чанов наливать в кратеры¹ выдержанное вино.

Внутренний двор огромного дома Гамилькара, мигом наполнился шумом и гамом, забегали рабы и кухарки, загремела посуда, из кухни потянулись ароматные запахи.

Рихат распорядился подогреть воду в ванной комнате — перед жертвоприношением и последующей за ним трапезой хозяин и гости должны тщательно вымыться. Карфагеняне ценили чистоплотность, и даже в самом Карфагене в каждом приличном доме было устроено помещение для водных процедур.

Белшебек ни разу не был в этом удаленном (чуть больше ста миль² от Карфагена) поместье Гамилькара на побережье Бизацены¹ — все ка-

¹ Сосуды для смешивания вина с водой.

² Одна древнегреческая миля равна 1,388 км.

кие-то мелкие заботы и политические дрязги мешали принять давнишнее предложение друга и родственника.

В Картхадаште ходили слухи, что Барка чуть ли не всю свою загородную усадьбу устроил по греческому образцу, во всем потакая своей жене, выросшей в более веротерпимом Акраганте. Однако увиденное поразило Белшебека гораздо больше, чем он мог себе представить.

Поместье Гамилькара между Ахоллой и Тапсом не шло ни в какое сравнение с традиционной карфагенской усадьбой Баркидов в Мегаре, аристократическом жилом районе Карфагена. Не заметить его издали было невозможно. На берегу моря, над окружающими холмами возвышалась самая настоящая крепость, с массивными главными воротами, с огромным внутренним двором, с обширным двухэтажным домом и собственным причалом, выходящим в небольшой, но удобный залив, способный принять не только торговое судно. (Впрочем, Гамилькар не собирался сооружать флотилию и бороздить с нею вдоль ливийских берегов.)

С последними непредсказуемыми событиями в стране, с массовыми беспорядками и ненадежностью бывших друзей-союзников, каждый карфагенский аристократ поспешил обнести свои далекие от Города усадьбы крепкими крепостными стенами со сторожевыми башнями и с фигурными зубцами на стенах (отчего эти загородные усадьбы аристократов в народе и прозвали «Башнями»), вооружить и обучить владению оружием десятков (а то и сотню, две) собственных рабов для защиты от разбойников, пиратов или внезапных кочевников-недоброжелателей — берберов, которые внезапно, как обжигающий ветер из пустыни, появлялись с юга и так же быстро исчезали.

С другой стороны такая обстановка была только на руку Гамилькару — он мог без особых подозрений собрать у себя в имении несколько десятков друзей-единомышленников, не опасаясь быть объявленным вне закона как организатор какого-нибудь заговора. А этого он как не любили замшелые члены карфагенского Совета: во всем, что недоступно их контролю, они видели заговоры.

Всякое стремление к единоличной власти, к царствованию или тирании в Карфагене издавна жесточайше подавлялось. Так, триста лет назад в этом был обвинен и затем казнен известный полководец Малх, которого накануне, после поражения на Сардинии, вместе с его войском приговорили к изгнанию. Недовольный этим приговором, он оса-

¹ Современный тунисский Сахель.

дил тогда Карфаген, штурмом взял его и вычистил всех неугодных ему высших магистратов, но власть удержать не смог. Казнили в свое время и предка нынешнего Ганнона — Ганнона Великого, восставшего против отечества с двумя тысячами собственных рабов. Причем отыгравались тогда на всех его родственниках, пощадив только одного из сыновей, чтобы не лишиться древнейший аристократический род потомства... Поэтому Гамилькар с одной стороны сам рисковал, собирая у себя друзей и обучаясь с ними боевому мастерству. Хотя в целях безопасности и охраны своих обширных владений...

Впрочем, обучение военному искусству карфагенской молодежью всегда приветствовалось, так как именно она в дальнейшем пополняла ряды офицеров в армиях Карфагена. И даже если это была армия, целиком составленная из наемников, руководящие, командные посты в ней занимали исключительно карфагеняне...

Заметив Белшебека со свитой, проворные мальчишки сразу же предупредили Ахирама о приближении незнакомцев. Издали это была группа всадников, ждатель от которой можно было чего угодно.

Обычно в крепости по клику дозорного первым делом закрывались главные ворота, стража высыпала на зубчатые стены и зорко следила за передвижением подобных групп. Но в этот день прибытия гостей ждали, поэтому Ахирам сам поднялся на вершину дозорной башни и не стал никого тревожить, пока лично не убедился, что никакой опасности нет. Он сразу же узнал во главе приближающегося отряда Белшебека, он и прежде не раз видел этого высокого — не в пример иным карфагенянам¹ — жреца Баал-Хаммона (в усадьбе Гамилькара в Карфагене это был частый гость), поэтому Ахирам спустился с крепостной стены, лично встретил Белшебека и препроводил во внутренний двор, попросив немного подождать, пока прислуга не доложит хозяйке о его появлении.

Батбаал по сути управляла огромным именем часто отсутствующего по государственным делам мужа, не запираясь по обычаю греческих жен в гинекее². Были ли тому виной карфагенские послабления в обычаях старины к своим женщинам, или более свободные нравы финикийцев, проживающих на Сицилии, глядевших на других — «истинных, чистокровных» — ханаанеев из Тира, Сидона или Библа с некоторой

¹ Средний рост карфагенян не превышал 160 – 170 см.

² Женская половина греческого дома, обычно закрытая для других.

долей снисходительности, неизвестно, но Гамилькар, искренне любивший свою жену, поощрял все ее прихоти и не препятствовал тому, что не только дом и слуги подпали под ее крыло, но и хозяйство, и люди, работавшие в нем.

Устремленный вдаль своими грандиозными помыслами, Гамилькар не мог одновременно заниматься политикой, решать дела в Городе, распоряжаться имением, нанимать сезонных рабочих на уборку урожая и многое другое, требующее максимума времени и сил. Он старался только во всем облегчить жизнь Батбаал в далеком от родины краю, создать обстановку, близкую к той, что была в ее родительском доме, по мере возможности окружал ее предметами греческого быта.

В греческом квартале Карфагена Гамилькар приобрел несколько небольших статуй греческих богинь, одна из которых — плодоносящая Деметра — стояла во внутреннем дворике, а другая — Артемида, богиня охоты и покровительница всего живого — у небольшого выполненного на греческий манер портика с вычурными коринфскими колоннами перед входом в приемную для гостей.

Женская прислуга Батбаал также состояла из гречанок, для них перед входом в дом рядом с обычным ханаанским алтарем для жертвоприношений Гамилькар установил небольшой алтарь Зевса Геркейоса, защищавшего очаг от внешних опасностей. Ладан и мирра курились одинаково щедро как для ханаанской Тиннит, так и для греческой Деметры; повелителя прибрежных волн Посейдона поминали не реже, чем морское божество ханаанцев Баал-Малаки; Зевс в этом доме мог свободно распить чашу вина с Баал-Хаммоном.

Казалось в этом пестром смешении ханаанских и греческих богов и обычаев было что-то нелепое и странное, однако карфагенское общество давно уже стало терпимым ко всему иноземному с тех пор, как в Городе за многие сотни лет его существования, как грибы, разрослись кварталы греков и этрусков, египтян и евреев, и храмы ханаанских богов издревле мирно соседствовали с храмами богов греческих, не менее почитаемых и значимых, чем остальные.

Обжегшись на молоке, говорит народная мудрость, дуют на воду. Двести лет назад под Сиракузами тогдашний карфагенский полководец Гимилькон, осаждавший непокорный сицилийский город, позволил своим солдатам разграбить находящийся неподалеку храм Деметры и Коры. Последовавшая вслед за этим эпидемия выкосила почти все его многочисленное войско. Сам Гимилькон, вернувшись домой, вынужден был покончить с собой, а карфагеняне, пытаясь заслужить прощение

богов, установить в Карфагене культ рассерженных греческих богинь, процветающий и поныне...

Пока свита Белшебека ссаживалась с коней и осматривалась, предусмотрительный Рихат послал в покои Батбаал одну из девочек.

Узнав о прибытии столь высокого гостя, Батбаал вначале взгрустнула — жрец нес не только радостную весть о назначении Гамилькара, но и печальную тень предстоящей разлуки. Однако она давно подготовила себя к ней (невозможно быть женой человека, мечтающего о военных баталиях и ратных подвигах, и не думать о разлуке), и теперь собрала всю свою волю в единый кулак (никто никогда не увидит ее слез) и велела подать себе голубой хитон, отороченный по краям полоской с золотыми нитями и сапфировые серьги, так хорошо гармонировавшие с ее зелеными глазами. Для всех радость мужа всегда должна быть ее радостью, как, собственно, горе любого члена ее семьи, включая рабов, было и ее горем.

Белшебека она знала давно, еще с тех пор, как впервые приехала в Ливию с отцом. Отец считался гостеприимцем¹ семьи Баркидов, был финикийским купцом прочно, казалось, осевшим в Акраганте. Однако после угрозы захвата Акраганта римлянами он был вынужден перебраться со всем своим огромным семейством в Картхадашт.

Гамилькар души не чаял в невесте, при всяком удобном случае знакомил ее со всеми своими друзьями. Прогуливаясь по улицам огромного города, посещая храмы, присутствуя на пышных празднествах, неизменно выхватывал из многолюдной толпы какого-нибудь очередного приятеля и с восторгом представлял тому «лучезарную», как он ее называл, Батбаал (вероятно, потому, что кожа ее была гораздо светлее кожи карфагенянок).

У одного сицилийца невольно вырвалось даже: «Вовсе впервые не нам красивое мнится красивым»...

«Трижды за пазуху плюнь, чтоб не сглазить», — советовал Гамилькару Китион-лидиец, ссылаясь на свою бабу-знахарку.

Гамилькар, лучась от счастья, демонстративно оттягивал верхний край своей туники и послушно плевал, чем вызывал у друзей безудержный хохот.

¹ Гражданин полиса, официально предоставлявший гостеприимство (и, соответственно, правовую защиту) иностранцу у себя на родине (от греч. «друг гостя»).

Девушке поначалу было неловко от подобных эмоциональных проявлений Гамилькара. Однако она видела, что восхищение ее суженого вовсе не наигранно, и прощала ему и его восторги, и те порой нелепые ситуации, которые происходили в таких случаях.

Таким же образом Гамилькар познакомил Батбаал и с Белшебеком, представил его как самого близкого друга.

Белшебек в общении был прост, лишних вопросов не задавал, воспринимал Гамилькара и Батбаал как единое целое. И им обоим с ним было легко. И как-то само собой сложилось, что, когда они встречались на вилле в Мегаре, куда Белшебек частенько заглядывал по делам к Гамилькару, или в храме Баал-Хаммона, где жрец проводил большую часть своего времени, Батбаал без утайки рассказывала ему и о своих появившихся беспокойствах, и о мелких проблемах, которые женщинами иногда кажутся самыми важными. И хотя Белшебек по возрасту был ровесником Гамилькара и Батбаал, он в любую минуту готов был выслушать ее и помочь по мере сил и возможностей.

Батбаал с искренней улыбкой (как будто не было и намека печали) приблизилась к жрецу и протянула для пожатия обе руки.

— Как я рада видеть вас, уважаемый Белшебек. Вы получили мои дары Баал-Хаммону и Тиннит, которые я посылала на прошлой неделе?

— И дары получили и стелу, как вы просили, с благодарностью божеству за покровительство Гамилькару поставили.

— Я знала, что вы останетесь довольны. Как дела в Городе, что нового? До нас редко доходят новости, а если и доходят, то с большим опозданием.

Белшебек лишь развел руками.

— Что вам сказать, уважаемая Батбаал. Новоприбывшему может показаться, что за последнее время ничего не изменилось: Картхадашт по-прежнему гостеприимен и богат, его улицы шумны, люди беззаботны, а храмы как прежде наполняются подношениями.

— Мне тоже казалось, что так будет всегда.

Белшебек печально улыбнулся.

— Прошло уже больше года, как беспощадный мор, словно ураган, пронесся по нашим домам и к несчастьям войны добавилась переменчивость богов. Теперь боги вроде смиловались над нами, однако война так и не прекратилась. В Совете ни на минуту не утихают страсти, все понимают, что равновесие, которое установилось между нами и римлянами — эфемерное, временное. Затишье перед неизвестностью. Зверь отступил, только чтобы отдышаться, набраться новых сил.

— Но говорили, что римский флот полностью уничтожен страшной бурей, ниспосланной негодующим Баал-Малаки, жалкие разбитые суденышки с трудом добрались обратно до Италии, и Рим не скоро восстанет свои силы.

Белшебек посмотрел на Батбаал не без восхищения.

— Вижу жену настоящего стратега, она всегда в курсе всех дел мужа, однако я бы не полагался так слепо на волю случая: уже не первый раз римский флот разбивает могучая воля морского владыки, но Рим снова и снова с завидной быстротой заживляет свои раны и оцетинивается.

Тень печали скользнула по миловидному лицу женщины, скулы ее резко обострились. Белшебек даже пожалел, что был так прямолинеен. Но Батбаал сразу же взяла себя в руки — чувствовалось, какая немалая сила скрывалась в этом крошечном создании.

— Впрочем, это все ваши, мужские дела, меня же больше тревожит другое — моя маленькая крошка Ашерат, — сказала Батбаал, когда они присели на скамью в тени портика. — Она вступила в тот возраст, когда ее со дня на день призовет в свой храм Астарта¹ и примет под свое покровительство.

Батбаал говорила о своих опасениях и переживаниях, а Белшебек вспоминал маленькую Ашерат, всегда не по годам задумчивую и отрешенную, даже в праздничной веселящейся толпе. Казалось, она всегда была упорно сосредоточена на чем-то своем, окружающее всеобщее веселье нисколько ее не касалось, она либо плотно прижималась к бедру матери, либо пряталась с сопровождающей ее рабыней в тень ближайшей лавки.

«Ничего не могу с ней поделать», — жаловалась Белшебеку уже тогда обеспокоенная Батбаал. И вот прошло несколько лет, но Ашерат по-прежнему отрешенна и замкнута, по-прежнему вся только в себе. И одевалась она не как большинство карфагенских девушек одевались в яркие, сочные разноцветные одежды. Ее хитоны неизменно отличались бледностью тона, будничностью, неприхотливостью, словно Ашерат всегда хотела оставаться незаметной.

Здесь, в удаленном от всех благ цивилизации, избавленная от вынужденного в Городе круга общения, Ашерат, когда было не слишком жарко, либо бродила в тенистых коридорах оливковых или миртовых плантаций, либо часами сидела на крепостной стене и прислушивалась

¹ То есть Ашерат станет женщиной.

к гомону чаек, а в жару пряталась от невыносимого солнца в укромных уголках женской половины, пока кто-нибудь из рабынь не выводил ее из темного угла.

Батбаал пыталась отвлечь дочь от столь пустого времяпровождения, принуждая ее прясть и ткать, однако это, обыденное занятие всех женщин, девочку не увлекло. Веретено то и дело выпадало у нее из рук, а нити сами по себе запутывались или свивались в узлы.

Собиралась она с мыслями только тогда, когда прохладными долгими вечерами богобоязненная Мактаб рассказывала ей о злоключениях Орфея или Персефоны в Аиде. При этом глаза Ашерат загорались, и она уносилась вслед за богиней плодородия и царства мертвых бродить по мрачным полям Аида, затем возвращаться на белый свет в преддверии весны.

Когда Батбаал присутствовала при этих повествованиях, она надеялась, что внимание дочери сосредоточится исключительно на светлой стороне мифа, на зарождении новой поры, весны, на радости всего сущего от этого. Однако Ашерат совсем не занимало чудесное возвращение богини, ее преображение; девочку больше интересовало царство зловещего Аида, неторопливо несущий черные воды Стикс, огненный Пирифлегетон или Асфоделевый луг, где блуждают бесплотные тени умерших, где все погружено во мрак и бесконечный покой.

Действительно, как говорили древние:

*К стране безысходной, земле обширной
Синова дочь, Иштар¹, свой дух склонила,
Склонила Синова дочь свой дух пресветлый
К обители мрака, жилищу Иркаллы^{2,3}.*

Светозарной Тиннит она предпочитала темноликую Астарту или Изиду, чем еще более беспокоила Батбаал, потому что для нее, сицилийки, восточные божества олицетворялись больше с чем-то туманным, мрачным, загадочным. Обе были связаны с луной, только Тиннит более со светлым ее образом, Астарта — с темным, пугающим. Может,

¹ Аккадская богиня плодородия, плотской любви и войны, соответствовала финикийской богине Аштар (Астарте), была дочерью бога Луны, Сина.

² Одно из имен шумеро-аккадского бога подземного мира Нергала.

³ Перевод В.К. Шилейко

такой интерес у Ашерат в последнее время был вызван ее странными снами, раньше ведь такого за ней не наблюдалось?

Белшебек внимательно выслушал Батбаал и искренне проникся ее тревогами. Боги ханаанеев были, к сожалению, не столь открыты и доступны в общении, как боги греческие. Они приходили из самого Хаоса и любого человека, если отдаваться им целиком, могли увлечь обратно в Хаос. Для того и существовали жрецы — посредники между богами и людьми, которые знали, как можно смягчить недовольство богов или поблагодарить их за проявленную милость.

На протяжении тысячелетий только посвященным в самых глубинных откровениях открывались слова, с помощью которых можно было непосредственно обратиться к небожителям.

Многие из этих слов для обычных людей давно утратили смысл, и никто даже из выбеленных сединой первосвященников уже не помнил, что они означают, но, читая и перечитывая их каждый раз, жрецы были убеждены, что именно они, начерканные на древних папирусах или выдавленные на глиняных дощечках, позволяют смертным обратить на себя внимание богов. И здесь главное было — не ошибиться, прочитав текст молитвы слово в слово, буква к букве, не то боги не поймут и обрушат на своих нерадивых подопечных беспощадный неумолимый гнев.

— С одной стороны это хорошо, что девочка интересуется духовной стороной жизни, — прервала размышления Белшебека Батбаал. — Но она, прежде всего как девушка, будущая мать, в первую очередь должна думать о продолжении рода и земных радостях, которые предоставляет ей жизнь. Станет ли она любящей супругой или заботливой матерью, если будет всецело принадлежать только богам? Вот что меня больше всего тревожит.

На этот вопрос Белшебек затруднялся ответить, хоть и знал немало карфагенских женщин, которые предпочли служение божеству повседневности. Некоторые из них становились даже Верховными жрицами, навсегда отказываясь от мирских благ и семейной жизни.

Выручил Белшебека от настоящего ответа внезапно ворвавшийся в усадьбу разгоряченный после утренней облавы Гамилькар.

Быстро спрыгнув с коня, он легко отмахнулся от зависшего в воздухе вопроса привычным: «Девочка просто созрела, надо поскорее выдать ее замуж», и тут же увлек Белшебека за собой в свой кабинет, чтобы поскорее услышать привезенные жрецом Баал-Хаммона вести из Города.

Батбаал не стала в который раз спорить с мужем. К замужеству скорее была готова Наамемилкат, хотя и она еще полностью не сформировалась как женщина.

То, что ханаanei выдавали своих дочерей замуж в девять — десять лет, считала она, совершенно неверно (даже ее выдали за Гамилькара в четырнадцать). К тому же Ашерат очень восприимчивая девочка, не исковеркало бы раннее замужество всю ее дальнейшую жизнь, как коверкает жизни тысяч других, выданных исключительно из прихоти неразумного отца, думающего исключительно о собственных сиюминутных выгодах, материальных либо политических.

Тяжело вздохнув, Батбаал направилась на кухню, чтобы окончательно определиться с предстоящим застольем. Ашерат ни днем, ни ночью не выходила у нее из головы.

5

— Добрые ли вести ты привез, дорогой Белшебек? — спросил Гамилькара. — Я весь измучился от ожидания. Кажется, прошла целая вечность с того времени, как в Народное собрание были поданы списки претендентов и я покинул суетливый Город, чтобы не возбуждать лишние эмоции.

Белшебек не стал томить старого друга ожиданием и, несмотря на то, что от разговора с Батбаал еще остался недобрый осадок, по-прительски обнял Гамилькара за плечи, улыбнулся, как мог, и сказал:

— Для нас все складывается как нельзя лучше. Народное собрание проголосовало положительно за все предложенные кандидатуры. Думаю, Совет без особых разногласий утвердит это решение. А в Совете за тебя, поверь мне, доброе большинство. Некоторые неизменно на нашей стороне, а некоторых, сам понимаешь, пришлось уговаривать, улещивать, а то и просто подкупить. Продажность членов наших Советов¹, сам знаешь, давно стала притчей во языцех. Некоторые — из тех, кто помоложе, новоиспеченнее и наглее (куда катится белый свет?) — даже бесцеремонно торгуются, словно вопрос стоит о рыночной цене на рыбу. И это, к сожалению, становится нормой, прямо хоть тарифы устанавливай, как на храмовые услуги.

¹ Имеется в виду Совет старейшин – верховный орган власти Карфагена, ассоциируемый Аристотелем как греческая герусия, Совет тридцати, нечто вроде постоянно действующего президиума, и Совет 104-х, своеобразный трибунал, называемый им «Верховной магистратурой ста».

Уж кому-кому, а Гамилькару Белшебек мог не рассказывать о взаимоотношениях членов Советов, народного собрания и различных коллегий, которых в Картхадаште было хоть пруд пруди. Но с другой стороны сейчас их продажность была им только на руку — война и так затянулась до такой степени, что скоро не то что не на что будет содержать армию и флот, но придется подумать и о существовании самой страны вообще, обнищавшей и упавшей духом за долгие годы непрекращающейся ни на день войны. Помощи ждать неоткуда. Ближайший доброжелательный сосед — Египет, ссылаясь на дружбу с Римом, в финансовой помощи карфагенянам отказал. Эллы заняты собственными делами: Гиерон Сиракузский возобновил прежний союз с Римом, Птолемей¹ заключил мир с Антигоном, а Деметрий Полиоркет захватил Македонию и Грецию и провозгласил себя царем. Им никому нет дела до Карфагена — пусть захлебнется в собственном бессилии. Наверняка они будут только рады скорейшему крушению старого соперника, ведь сколько лет он перекрывал им почти все морские пути в центральном Средиземноморье. Рассчитывать в такой обстановке можно только на себя, на свои силы. Дальнейшая колониционная политика в Африке вряд ли спасет существующее положение. Оставшись без моря, Карфаген рискует потерять не только основные ресурсные базы, но и всё, на чем столетиями строилось и развивалось обширное Карфагенское государство.

Белшебек был согласен с Гамилькаром. Они не раз толковали на эту тему. Еще когда плечом к плечу сражались против римлян в армии Ксантиппы, мечтали о возрожденной и более окрепшей родине.

Подрастающей патриотически настроенной молодежи Карфагена было удивительно и обидно, что такая богатая купеческая держава, поставившая пшеницу, оливки, финики, виноград и мед, добротный строительный и корабельный лес, медь, железо, испанское и британское олово и пурпурные ткани практически во все окраины известного мира, держава, способная за короткий срок изготовить несколько тысяч различного вида оружия и спустить на воду пару-тройку сотен кораблей, оказалась бессильна перед римлянами, варварами, полководцы которых не имели даже достаточного количества рабов, чтобы обработать свои крохотные земельные наделы. А карфагенские послы, которые весной отправились вместе с плененным Регулом в Рим для заключения мирного договора, даже рассказывали, что некоторые римские

¹ Здесь Птолемей II Филадельф (308/9 до н.э. – 246 до н.э.).

сенаторы, гостеприимно приглашая их в свои дома, угощали всех из одной и той же серебряной посуды, которую втайне передавали друг другу из дома в дом, чтобы не показаться голодранцами. Не хохма ли?!

Обида жгла уязвленные сердца молодых карфагенян, недовольных сложившимся положением, они жаждали реванша, сами в себе раздували жар возмездия.

Белшебек, правда, вынужден был после изгнания римлян из Ливии пойти по стопам своего отца, одного из главных жрецов Баал-Хаммона (традиции Картхадашта столетиями оставались неизменны: сын, как правило, наследовал дело отца, внук — деда), но надежд на возрождение родины также не оставлял. Да и Гамилькар день и ночь только и думал о том, как он возглавит карфагенское войско, встретится лицом к лицу с коварным врагом и наголову разобьет его. Иначе быть не могло. Иначе не стоило и затевать всего, если только ты не тверд в убеждении.

Их разговор прервал вошедший в комнату Рихат.

— Господин, купальня готова.

— Хорошо, — обрадовался Гамилькар и поднялся. — Пойдем, дорогой Белшебек, сбросим немного груз прошедших дней, вода лучше всего очищает тело и мысли.

Через внутренний двор они прошли в наполненное паром банное помещение.

Когда снимали верхнюю одежду, Гамилькар обратил внимание на небольшие множественные порезы на руках Белшебека.

— Что у тебя с руками? — спросил он ненавязчиво.

— Да так, зарубки на память, — ответил Белшебек.

Гамилькар не стал уточнять, знал, если Белшебек захочет, сам все расскажет.

Ополоснув ноги в небольшом — по щиколотку — бассейнчике перед ванной, друзья по грудь погрузились в слегка парящую воду.

Мозаичное дно в виде спиралей и отдельных ветвей пальм из кусков белого мрамора вперемешку с разноцветными дроблеными раковинами моллюсков превращалось под водой в причудливый узор. Прогретые изнутри кирпичные стены купальни источали приятный жар, небольшие масляные светильники создавали расслабляющий полумрак, но Гамилькару расслабляться было некогда, он продолжал пытаться Белшебека.

— Кроме меня, слышал, будут рассматриваться еще две кандидатуры?

— Да, но они тебе не соперники. Ганнон, внук Ганнона Великого, бывший уже однажды суффетом, будет назначен наместником в Ливии. Бостар, — помнишь, один из наших командующих против Регула? — тот отправится на Сардинию. Там дела не ахти какие, нужна твердая рука.

Гамилькар усмехнулся:

— Как же не помню? Прекрасно помню этих хваленых генералов. Гамилькар был ранее разбит у Тиндарита, Гасдрубал облажался при Панорме, Бостар вообще ничем себя не проявил, а уж сойдясь вместе, они и вовсе стали похожи на глядящую в разные стороны лернейскую гидру¹. Не зря пришлось тогда нанимать Ксантиппа. Если бы не он, неизвестно, парились бы мы сейчас с тобою или нет. Судьба так коварна и изменчива.

Гамилькару тоже когда-то предлагали стать наместником огромной провинции Ливия, житницы Картхадашта и основным поставщиком ее рекрутов, но он сразу отказался — не по душе ему чиновничьи заботы, сельское хозяйство, торгашество. Его удел, как и дело его предков — военное поприще. Чего желать другого?

Род Барка всегда славился военачальниками. Гамилькару было чем гордиться, он и другой мысли не допускал стать землевладельцем или купцом. Слава — вот чем гордились потомки рода Барка, к чему стремились все Барка, и Гамилькар не был тому исключением.

«Нет большего счастья в жизни, сын, — часто повторял его покойный отец, — чем заслужить славу своей доблестью и честью, своими деяниями». Не ради ли этого совершали свои подвиги Мелькарт и братья Филены, великий Александр Двурогий² и славный Пирр? Не земли и злато двигали ими, а стремление к славе, единственной вечной неизменной монете рода людского. Семейство Баркидов рождало воинов, твердых, деятельных, непоколебимых, ярко проявлявших себя на полях сражений или в морских баталиях, до конца преданных государству и его народу. А народ Картхадашта всегда был требователен к своим полководцам. Неудачный исход даже незначительной битвы мог стоить полководцу жизни. С ними не нянчились, даже бывшие исключительные победы и заслуги не спасали. Неудачник мог легко оказаться на кресте, как это стало лет десять тому назад с Ганнибалом Гисконом³,

¹ Против высадившегося в Африке Регула было назначено сразу три карфагенских военачальника.

² Александр Македонский.

³ Ганнибал Гискон — карфагенский военачальник в I Пуническую войну.

терпевшим то одно поражение от римлян, то другое (и Дуилий¹ его разгромил, и в Сардинии он оплошал), или еще раньше с Ганноном², сдавшим римлянам Мессену...

О казнях военачальников из рода Барка не сохранилось даже слухов, народ знал: там, где командуют Барка, всегда успех, всегда надежность и уверенность.

Конечно, когда угодно найдется какой-нибудь брюзга или недоброжелатель, кинувший в толпу — что, мол, Баркиды! Кто из этих самых Баркидов оставил после себя громкую память? Кто из них когда-либо был на слуху?

Гамилькар ответил бы такому выскочке лишь то, что, может, было не то время, не сложились такие обстоятельства, чтобы военный талант Баркидов проявился во всем своем блеске. Сейчас такое время для его рода пришло. Он как никто из его предков чувствует, — Баркиды созрели для великих свершений, и он лично готов поднять стяг борьбы против угрожающих не только Картхадашту, но и всему миру римских захватчиков. Их коварству и вероломности можно противопоставить только толковую стратегию и умелую тактику. А в этом — Гамилькар был абсолютно уверен — он на голову выше других. Он прошел неплохую начальную школу войны, давно штудирует труды эллинских стратегов, не понаслышке знаком с бесподобными работами по тактике Пирра и его сына Александра, знатоков военного дела Ксенофонта и аркадского военачальника Энея; по собранным в богатой библиотеке храма Баал-Хаммона и личной баркидской библиотеке биографиям Александра Македонского он скрупулезно разобрал как его решающие битвы при Гранике, Иссе, Гавгамелах, Гидаспе, так и малые, но бывшие иногда немаловажными.

Александр Великий был одним из тех непревзойденных полководцев, чей тактический гений мог в считанные минуты понять все преимущества и недостатки местности, на которой предстояло сражение, увидеть наиболее уязвимые места противника, почувствовать, когда следует атаковать незамедлительно, когда отступить, когда всей мощью обрушиться на противника.

¹ Гай Дуилий — римский военачальник и политический деятель, консул 260 года до н. э. Участник I Пунической войны, одержавший первую в истории Рима победу на море.

² Не путать с Ганноном Великим.

Гамилькар также ощущал в себе такую способность. Именно она придавала ему уверенности в том, что он сможет достойно управлять войсками республики и не даст врагу ни малейшей надежды на победу.

Но он не витает в облаках и хорошо понимает, что Совет 104-х меньше всего интересуют тщеславные амбиции тридцатилетнего сопляка, пусть и из прославленного рода Баркидов. (Хотя, что значит сопляка? Тот, кто хорошо знаком с историей, может привести массу примеров, когда полководцами становились еще не достаточно созревшие мужи: тот же Ксенофонт, Ификрат, Филипп II Македонский, отец Александра.) Да собственно говоря, Гамилькар никогда не скрывал своих козырей. Основное снаряжение армии и флота будет профинансировано кланом Баркидов. У Гамилькара много не только друзей, но и приверженцев. Картхадашт давно разделился на два лагеря. Сторонники правящей партии аграриев, которые считают основным источником доходов и процветания расширение земель на юг и продолжение жесткой налоговой политики в отношении подвластных народов, и сторонники Баркидов, которые выдвигали на первый план возвращение отпавших в результате войны карфагенских территорий в Средиземноморье и дальнейшее продвижение на запад — к серебряным и железным рудникам Иберии¹, свинцу и олову Британии, к северному янтарю, — к средствам, способным возродить пошатнувшееся государство карфагенян.

Гамилькар знал, что в казне сейчас не так уж и много денег, чтобы затевать новую масштабную военную кампанию. Но то, что продолжения войны не избежать, понимали многие.

Гамилькар несколько не сомневался, что ему отдадут этот пост, тем более после ряда поражений большинства прославленных генералов на Сицилии, никто больше не осмеливался самостоятельно выдвигать свою кандидатуру на пост командующего в этом неблагоприятном регионе. Это был шанс, и он его вряд ли упустит.

Гербаал, Верховный жрец храма Баал-Хаммона, уверил, что соперников ему на сегодняшний день нет. Многие из Совета думают так же, как и он. Картхадашт должен во что бы то ни стало возродиться, вернуть себе прежнее имя первого государства в Средиземноморье.

В ванную комнату зашли два раба в набедренных повязках. Один из них нес сосуд с благовонными маслами.

Гамилькар пригласил Белшебека прилечь на скамью из песчаника у стены, сам лег на прилегающей, лицом к гостю. Рабы стали натирать

¹ Современная Испания.

их тела оливковым маслом. После того, как с них скребками сняли первый слой, Белшебек уловил другой знакомый аромат. Видно, открыли флакон еще одного масла.

Белшебек задвигал ноздрями, улыбнулся и посмотрел на Гамилькара.

— Слышу по запаху — галбаниум¹, мне тоже он нравится, — сказал Белшебек.

— Ты же знаешь, у нас много общего. Не были бы мы тогда с тобой друзьями. Но хватит о делах. Чуть позже расскажешь мне обо всем подробнее. Ты как-то писал, что желал бы увидеть моего наследника. Хвала Баалу, он подарил мне чудесного сына. Мы назвали его в честь деда, Ганнибалом. И он на самом деле будто благословен Баалом². Видал бы ты, какая у него хватка, — не смотри, что еще в пеленках!

Глаза Гамилькара заискрились.

— Когда вымоемся, я попрошу принести младенца, а потом мы непременно отправимся с тобой в лагерь. Поглядишь, каких молодцов я там собрал: будущий цвет нашей армии.

Белшебек вопросительно глянул на Гамилькара, не поняв, о каком лагере он говорил, но Гамилькар, продолжая загадочно улыбаться, только сказал:

— Сам все увидишь, не торопись.

Маленького Ганнибала принесла Мактаб. Увидев отца, ребенок заулыбался, замахал пухлыми ручками, потом забормотал что-то на своем, иногда переводя взгляд на жреца и обратно на отца.

Когда Гамилькар взял Ганнибала на руки, Белшебек невольно сравнил их. Тот же орлиный профиль, разрез глаз, курчавость волос, та же подвижность, свойственная и отцу. Только надбровные дуги, выпуклые у Гамилькара, у Ганнибала были материнские, сглаженные, отчего и лоб его казался гладким, а не холмистым, как у отца.

— Что скажешь? — восторженно спросил Гамилькар. — Видишь, не боится тебя. Дай ему палец. Скорее, скорей! — оживился он еще пуще.

Белшебек с усмешкой протянул малышу свой тонкий указательный палец. Маленький Ганнибал тут же схватил его двумя крохотными ручонками и попытался подтянуться на них.

¹ Миндальное масло.

² Имя Ганнибала (Hnb'1) на финикийском означает «Баал благословил».

— Видал, силища? Говорил тебе — настоящий Мелькарт¹ в детстве! Гамилькар сгорал от восторга.

— Ты опять потешаешься над Ганнибалом, дорогой?

Батбаал приблизилась к мужчинам. Она прямо светилась вся. Ее локоны были слегка влажны, большой открытый лоб блестел на солнце.

— Разве можно всякий раз так испытывать малыша?

— Но он же, правда, сильный. Гляди, как тянется, — сам, как ребенок, умилялся сыном Гамилькар.

— Уважаемый Белшебек, вы уж простите моего озорного мужа за такое ребячество, но он всем и каждому демонстрирует хватку сына. Так, словно готовит из него в будущем атлета.

Батбаал положила руку на предплечье Гамилькара. Лицо ее при этом еще больше просветлело, словно доказывая, что в муже и сыне она души не чает.

Сконфуженный своей выходкой, Гамилькар смутился, чем только рассмешил Белшебека, ведь тот редко видел друга в таком состоянии.

— Не ругайте так сильно вашего мужа, Батбаал. Он ничего плохого не сделал. А то, что радуется успехам сына.... Я и сам так радовался, если бы у меня был такой бутуз.

Батбаал нечего было ответить Белшебеку, жрец как всегда оказался прав.

Во внутренний двор один за другим стали входить приведенные Ахиромом товарищи Гамилькара: Китион-лидиец, Бомилькар, за ним Нагид-нумидиец, еще несколько человек. Они уже были предупреждены о прибытии старшего жреца Баал-Хаммона, поэтому успели тоже вымыться и переодеться в чистое платье.

С некоторыми Белшебек был знаком, некоторых видел впервые, но судя по их выправке и прямому открытому взгляду, они тоже принадлежали к знатным родам.

— А вот и наши доблестные друзья, — сказал Гамилькар и осторожно передал маленького Ганнибала Батбаал. — Как дела в лагере? Народ, наверное, уже весь в нетерпении услышать последние новости?

¹ Греки отождествляли древнего финикийского Мелькарта (правильнее – Милькарта) с легендарным Гераклом.

— Особенно молодые, — заулыбался Китион, радостно приветствуя Белшебека как старого знакомого.

Гамилькар представил жрецу Нагида-нумидийца и еще нескольких юношей (с остальными он был знаком), потом сказал:

— Сейчас мы слегка перекусим и сразу же вернемся обратно в лагерь. Долгими сборы, я думаю, не будут. Завтра с утра Нагид вместе с Китионом и Ирхулином будьте готовы к выезду со мной. Решим кой-какие дела в Лептис-Миноре, а в Картхадашт отправимся на галере. Остальные пусть добираются посуху. Но об этом я еще скажу отдельно.

— Рихат, — крикнул Гамилькар управляющего, — что у нас там с едой?

— Все давно приготовлено, хозяин.

— Проводи тогда всех в триклиний.

Гамилькар подошел к жене с сыном.

— Мы ненадолго, покажу только нашему дорогому гостю лагерь, отдам распоряжения и обратно.

Батбаал приуныла.

— Ты, правда, хочешь завтра выезжать? Заседание Совета, как я поняла, будет только через неделю.

— Кажется, через неделю. Но ты же знаешь, какая теперь наваливается масса дел: я непременно должен быть в Городе. А неделя-другая пролетят — не заметишь.

Батбаал вынуждена была согласиться с ним: для Гамилькара теперь начинаются суматошные дни.

6

После легкой трапезы — возлегать особо было некогда — Гамилькар с Белшебеком и свитой отправились в устроенный Гамилькаром у ближайшей реки летний лагерь, где собранные им карфагенские юноши упражнялись в военном деле и жили в нескольких небольших общих палатках, как обожаемые Гамилькаром спартанцы.

На давнее, еще с юности, увлечение Гамилькара Спартой и спартанским образом жизни Белшебек всегда смотрел снисходительно. Гамилькар прежде всего был семитом¹ и патриотом родной земли, к тому

¹ Ханаане (финикийцы Ближнего Востока и карфагеняне), а также вавилоняне, ассирийцы, арамеи и израильтяне относились к семитской расе, в отличие от спартанцев, чьи корни были дорийского происхождения.

же практиком, для которого абстрактные теории государственного устройства, которые так или иначе обыгрывались различными мудрецами и философами, были не сильно интересны. Из всего прочитанного о Спарте, услышанного от общения с лакедемонянами¹ и их соседями, он взял для себя только то, что было ему по духу, по характеру, по настрою. Замечание воспитателя Александра Великого² о том, что государственный строй карфагенян и спартанское правление были одними из лучших в тогдашнем мире, для Гамилькара было достаточным, чтобы не заниматься дальнейшими абстрактными измышлениями. Его привлекала более внешняя — броская — сторона: суровый, создающий истинного воина, спартанский образ жизни с его лагерем новобранцев, коллективизмом, ежедневными упражнениями и немаловажными совместными трапезами, так называемыми сисситиями. К тому же испокон веку считалось, что ни сила, ни лишения не могут заставить лакедемонян сложить оружие, что они будут биться до последнего человека и погибнут с оружием в руках. Такой стойкостью духа нельзя было не восторгаться! Особенно воину!

Конечно, сейчас Спарта уже не та, что была двести-триста лет назад, еще до Пелопонесских войн³ и походов Александра, вызывающая у всех греков и негреков огромное чувство восхищения. Приплывавшие в Карфаген восточные купцы утверждали, что спартиатов, потомков пришедших на эти земли дорийцев, после многочисленных войн осталось не более семисот семей — последствия поддержания чистоты крови. Но прежний дух свободы, единения, мужественности, стойкости и непобедимости спартанца, доказанный Фермопилами и спустя год подкрепленный Платеями, по-прежнему овладевал умами и сердцами тех, кто хотел стать настоящим воином. А Гамилькар всегда хотел им стать и собирал вокруг себя таких же, как он сам: рвущихся в бой, жаждущих баталий и подвигов.

Привлекало и то, что спартанцы считали себя потомками Геркулеса-Мелькарта, боготворимого и карфагенянами. В спартанцах Гамилькар видел идеал, замешанный на стремлении к дисциплине, порядку, гармонии, то есть к тому, что вселяет в каждого настоящего мужчину мужество перед лицом смерти, что заставляет бороться за свободу до последнего дыхания. Не наступил ли тот час, когда именно такие мужи

¹ Жители Спарты.

² Им был знаменитый Аристотель.

³ Войны, которые вели Спарта и Афины за господство над Грецией.

— а они есть среди нас — должны выйти вперед строя и показать свое мужество во имя Отечества?..

Лагерь, созданный Гамилькаром у реки по образцу военного, обнесенный частоколом, окруженный, как положено, небольшим рвом, с караулом и действующим уставом, раньше мог бы вызвать у Белшебека легкую улыбку, как у родителя, снисходительно наблюдающего за игрой ребенка, но в настоящее время, когда, можно сказать, враг почти стоит у ворот Города, он вызывал только восхищение.

Несколько палаток для ночлега, общая трапезная, палестра¹, устроенная по греческому образцу, различного рода тренажеры для занятий боевым искусством и искусством владения мечом, на которых и сейчас несколько человек отрабатывали удары, — видно было, что все сделано всерьез, по-настоящему. Узнай об этом лагере члены Совета, Гамилькару точно головы бы не сносить.

— Как тебе еще одно мое детище? — восторженно спросил Гамилькар.

У Белшебека не нашлось слов.

По зову трубы на центральную площадь со всех сторон быстро стали стягиваться люди в одинаковых легких плащах наподобие лакедонского гиматиона², который спартанцы для закалки носили круглый год.

Гамилькар с сопровождающими слезли с коней. Белшебек неторопливо обвел глазами строй. Большинство — сыновья влиятельных граждан Карфагена, членов Совета и руководства коллегий, сторонников военной политики. Некоторые из них, прежде бесшабашные и легковесные, теперь выглядели степенными и целеустремленными.

Так вот куда не так давно исчезли прежние возмутители спокойствия, своими призывами дать решительный отпор римлянам ежедневно баламутившие форум. Здесь почти всех, думающих так же, как он, Гамилькар собрал под свое крыло.

— Друзья, наш час пришел, — сказал Гамилькар в наступившей тишине. — Вот человек, который привез нам благословение богов (Гамилькар показал на Белшебека). Он говорит, что боги поддерживают все наши чаяния, и теперь только от нас зависит, сможем ли мы оправдать их высокое доверие и защитить страну от жаждущих крови варва-

¹ Площадка для борьбы (греч.).

² Или трибома (tribome).

ров, за каких-то двести лет уничтоживших близких нам по духу этрусков, завоевавших Великую Грецию¹ и коварно вторгшихся в Тринакрию². В эти минуты, тяжкие минуты для нашего Отечества, больше невозможно оставаться равнодушным и бездеятельным, полами широких плащей бесцельно мести площадку форума, больше нельзя наивно уповать на то, что война обойдет стороной родную землю и враг никогда больше не появится у древних стен Карфагена. Надо, наконец, дать ему жесточайший отпор, чтобы он и думать забыл смотреть в сторону наших мирных берегов.

Гамилькар распалился. Каждое слово вылетало из его уст, как брошенный пращей камень, и метко попадало в цель — сердце каждого стоящего на плацу. Видно было, что слова эти были думаны-передуманы им не единожды бессонными ночами и тревожными днями. Даже те, кто никогда не смотрел в лицо врага, на чело которых ни разу не ложилась тень от массы летящих вражеских дротиков, чьей кровью не обгалялись еще мечи недругов, жадно ловили его слова, потому что верили им, потому что чувствовали рядом с собой плечи закаленных в боях старших товарищей, для которых повседневность и война давно стали синонимами.

Могучий Ахирам, правую половину лица которого пересекал глубокий шрам от меча кампанца, оставил по себе память и при разгроме Регула, и чуть позже при осаде разрушенного впоследствии Агригента на Сицилии, и при защите Лилибея. В одном из сражений он пронзил дротиком горло римского военного трибуна, а впоследствии его доспехи торжественно преподнес в дар грозному, но справедливому Решефу³ в его храм, выходящий на Главную площадь⁴ Карфагена.

Китион-лидиец, круглолицый, вечно улыбчивый, кучерявый грек, снискавший славу уникального проныры, мог под самым носом римлян провести стадо быков, накормить до отвала небольшой отряд бойцов в местности, где и мыши взяться негде. Первый знаток как лекарственных, так и съедобных трав, меткий пращник.

¹ Область греческих колоний на оконечности италийского сапожка и юго-востоке Сицилии.

² Так называли в древности Сицилию.

³ Ассоциировался у греков с Аполлоном, но имел более широкие полномочия как бог грозы и владлец молнии.

⁴ Форум.

Нагид-нумидиец, младший сын одного из степных вождей, с детства не слезал с коня. Находясь в Карфагене в качестве заложника, он близко сошелся с Гамилькаром. В армии Ксантиппы отряд его всадников был самым грозным.

Были и другие, которые заметно проявили себя на различных полях сражений и теперь бескорыстно передавали свои знания и умения более молодым и неоперившимся еще товарищам, потому что знали, что и от них на поле боя будет зависеть их собственная жизнь, ведь бой — не кулачное сражение один на один с врагом, а и взаимовыручка, и взаимодействие. И молодые хорошо понимали это и старались не ударить лицом в грязь, на лету схватывали каждое наставление своих учителей, до изнеможения отрабатывали приемы владения мечом, щитом, копьем и дротиком. В угаре боя только собственная ловкость и умение помогут выжить, а значит, и победить.

— Впереди нас ждет долгий и тяжкий путь, — продолжал Гамилькар, прерывая мысли Белшебека, — но нам ли, наследникам бесстрашных мореплавателей и открывателей неведомых земель бояться долгой и неизвестной дороги? Нам ли, потомкам непобедимого Мелькарта, страшиться вражеских мечей и копий? Боги с нами, боги направляют нас, значит, дело наше справедливое, победа будет за нами! — почти выкрикнул последние слова Гамилькар, и плац единодушно взорвался одобрительными криками:

— Слава Мелькарту! Слава Гамилькару! Веди нас, Гамилькар!

Долго не стихало волнение в наполненных беззаветной преданностью и жаждой героических подвигов сердцах друзей Гамилькара. Как легкие ветры Эола носились над их головами ослепительные боги Славы и Доблести. Наконец-то пришло время, которого все нетерпеливо ждали, к которому давно готовились, о котором мечтали каждый день.

— Ладно, ладно, собратья мои, умерьте пыл для будущих сражений, — стал успокаивать свою разгоряченную гвардию Гамилькар — не больно он любил славословия. — Недолг тот день, когда мы всему миру покажем, чему научились за полгода ожидания вестей. Или руки твои совсем ослабели за это время, Нагид, и ты не способен больше остановиться на скаку заарканенную необъезженную лошадь?

— Типун тебе на язык, Гамилькар! — не удержался, чтобы не крикнуть из толпы Нагид-нумидиец, чем вызвал у окружающих смех.

— Или тебя, Ирхулин, надо только маслом натирать, чтобы ты вывернулся из железной хватки соперника?

— Если ты про Китиона говоришь, Гамилькар, то стоит ему к Ирхулину только прикоснуться, как тот не только про масло, про маму род-

ную забывает, — сострил с правой стороны Бомилькар, и снова все добродушно засмеялись.

— Ох, точно я когда-нибудь изловчусь и отхвачу мечом твой змеиный язычок, остряк, — буркнул Китион, насупился и заиграл желваками.

— Делай, как знаешь, — парировал Бомилькар. — Только не отдавай его потом Нагиду — любителю говяжьих языков. Мой слопает в два счета, где потом другой сыщу?

— Я и тебя целиком слопаю, если и дальше будешь умничать, — выкрикнул в ответ Нагид-нумидиец, чтобы прорваться сквозь заливистый хохот своих товарищей.

— Ладно вам, заведетесь, до вечера не остановите, — уgomонил народ Гамилькар. — Китион с Ирхулином, скачите на скотный двор, Ахат должен был уже выбрать добротную овцу для жертвоприношения и несколько овец для вечерней трапезы. Скажете, пусть и сам явится без промедления, хозяйственные дела подождут. Сегодня-завтра сворачиваем лагерь и возвращаемся в Карфаген. Если все сложится так, как предполагает наш друг, забот будет непочатый край. Как говорится, работа найдется всем: и подлецам, и мудрецам, и бездельникам. Все свободны. Умойтесь, приведите себя в порядок, и жду вас всех у себя в Башне.

Все расходились в воодушевлении перед грядущими событиями, наконец-то они дождались важнейших изменений в своей жизни и в жизни государства, а то, что они в ближайшие дни наступят, никто больше не сомневался — Белшебек был для них гарантом предстоящих изменений, посланником божьей воли.

Не то Ирхулин. Одного его новость, казалось, совсем не затронула. Навязчивая мысль занимала его весь вчерашний день и день сегодняшний. Он никак не мог одолеть в скачках Нагида-нумидийца. Упрямство молодости не давало успокоения.

На днях Ирхулин поспорил с Нагидом, что карфагенский всадник ничуть не хуже нумидийского. Что кони, выращенные на просторах Ливии, несколько не уступят нумидийским низкорослым жеребцам ни в силе, ни в выносливости.

Скачки на короткую дистанцию, однако, он проиграл. Сегодня должны были опробовать лошадей на длинный забег. Но вот прибыл Белшебек, и вся затея непредвиденно сорвалась, чуть ли не взбесив юношу.

Напрасно Китион пытался достучаться до разума своего упрямого молодого друга. Тот и слышать ничего не хотел.

Едва строй Гамилькаровых собратьев начал распадаться, Ирхулин тут же направился к сопернику.

Обеспокоенный Китион поспешил за ним.

— Ну что? Сейчас! На выгоне! Есть еще время, — схватив за предплечье, Ирхулин остановил удаляющегося в свою палатку Нагида.

Нумидиец снисходительно улыбнулся.

— Ты, парень, как я вижу, больно горяч. А это не всегда хорошо. Тебе нужно научиться сдерживать свои эмоции. У нас еще будет возможность помериться силами. Сейчас не до этого, извини.

— Что значит «не до этого»? Ты отказываешься? — Ирхулин закипал.

Китион тронул юношу за плечо, успокаивая, но Ирхулин резко сбросил его руку и снова надел на нумидийца:

— Нет, ты так просто не уваливай. Или, может, трусишь? Признайся честно: струсил и прячешься за обстоятельствами? Таковы вы все нумидийцы, доверяя к вам ни на лепту! Сколько раз предавали Карфаген по своей трусости!

Нагид вспыхнул, руки его сжались в кулаках.

Китион, упершись ладонью в грудь Ирхулина, отодвинул юношу от непредсказуемого Нагида — в жилах того текла горячая кровь нумидийских степей.

Разлад своих друзей заметил Гамилькар. Не в первый раз он наблюдает стычку Ирхулина с Нагидом. И дело здесь было, как он полагал, не в житейском конфликте молодости и опыта. В противостоянии превалировала надменность властителя (Нагид, как ни крути, был и остается карфагенским заложником). Ничего хорошего это не сулило.

— Ирхулин, вы там что-то не поделили? — громко спросил Гамилькар.

— Да нет, не волнуйся, у нас все нормально, — ответил за друга Китион-лидиец.

— Да, да, все хорошо, Гамилькар, — натянуто улыбнулся ему Ирхулин, а потом приглушенно сказал Нагиду:

— За тобой должок, нумидиец. От меня ты так просто не отделаешься.

— Я и не отказываюсь. Придет время, — поостыл, казалось, и Нагид.

Китион потянул Ирхулина к лошадям — нужно было выполнить поручение Гамилькара.

По дороге Китион упрекнул друга в нетерпимости:

— Когда ты научишься, наконец, сдерживать себя. Нагид прав: в бою такая вспыльчивость и непримиримость может только навредить. И мы здесь не для того, чтобы потакать своим капризам.

Китион попытался образумить друга. Давно он заметил опасную искру неприязни, проскочившую между Ирхулином и нумидийцем: как только они впервые встретились в лагере. Огонь от нее мог вспыхнуть в любую секунду. Китион понять не мог, из-за чего. Только в их стане не хватало раздрая. Это надо вбить упрямому юноше в голову, иначе быть беде.

Однако, как и прежде, Ирхулин не стал прислушиваться к голосу разума и друга.

— Разве не ты мне все время талдычил, что этим вонючим коногонам нельзя доверять? Что они такие же непостоянные, как ветер в степи, и не раз предавали вас из-за своего непостоянства на поле боя? Или ты изменил свое мнение?

Слуги подвели лошадей. Ирхулин не стал дожидаться ответа, вскочил на поданного жеребца, резко хлестнул его ремешком по крупу и помчался к выходу из лагеря, вздымая пыль.

Китиону пришлось приналечь на коня, прежде чем он смог догнать своего строптивного товарища.

Китиону нечем было возразить. Они знали друг друга больше года, вместе делили хлеб и кров, но для Китиона Ирхулин так и оставался неразгаданным. Причиной того было скорее аристократическое воспитание юноши, неприкрытое презрение ко всем инородцам, привитое Ирхулину отцом с детства. Тогда, спрашивается, почему он, Китион, урожденный лидиец, стал в этом длинном перечне неприязненных Ирхулину людей исключением? (Хотелось так думать и не верить в худшее, зная, в какой семье родился и вырос Ирхулин.)

В отличие от обычного наемника Китиона, вышедшего из семьи пастуха, Ирхулин был старшим сыном члена Главного Совета карфагенян Бодмелькарта-тихого, прозванного «тихим» не за свой мягкий нрав, а за упорное длительное молчание, которое отличало его при любом, даже самом горячо обсуждаемом предложении, вынесенном на заседание Совета. И только когда распри членов Совета успокаивались, Бодмелькерт-тихий брал слово и как бы ставил точку в любых дебатах. К нему прислушивались, его боялись и уважали, потому как негласно он прослыл одним из столпов, на которые опирались мощь и традиции многовековой карфагенской державы, традиции, уходящие в глубь столетий, традиции Тира, Сидона и Библа, традиции древнего семитского народа.

Никто не сомневался, что именно рано пришедшее к нему осознание исключительности карфагенян, подкрепленное преданиями и легендами, сделало его таким: жестоким и непримиримым к иноплеменникам. Осознание, которое он смог постепенно внушить и своим сыновьям и которое с каждым годом жизни в нем только укреплялось.

Именно Бодмелькар-тихий первым предложил поднять налоги на ливийцев, когда те взбунтовались. И он же стал всячески поддерживать Ганнона Великого, находя в нем ту же непримиримость и неприязнь как к врагам Карфагена, так и к подвластным ему народам, какую испытывал сам. Это касалось и соседей карфагенян, нумидийцев, которые были вынуждены поставлять в армию Карфагена по несколько тысяч рекрутов ежегодно.

Только огромная выдержка помогла сегодня Нагиду сдержаться и не выплеснуть на Ирхулина накопленный в душе вековечный гнев каждого нумидийца за утерянную когда-то свободу. Сплошь и рядом Нагид сталкивается с неприкрытым презрением к своему народу со стороны карфагенской элиты. А как бы он хотел, чтобы его огромная Нумидия была как прежде свободной и независимой и любой нумидиец разговаривал на равных с кем угодно, не чувствуя по отношению к себе ни выскомерия, ни позорной зависимости.

Нагид был уверен, что такое время обязательно настанет, пусть и не на его памяти, но настанет.

А с Ирхулином он верно поступил, что не дал тому себя унижить, пусть даже юноша и принадлежит к влиятельному карфагенскому роду. Не пристало опытному воину склонять голову перед чванством ничего не значащего сопляка — кем бы он ни был!

— Нескучно у вас, — сказал Белшебек, когда Гамилькар распустил всех.

— Да, одни шутники собрались. Но в деле, поверь мне, серьезней и надежней товарищей не сыщешь — голову даю на отсечение! — с неприкрытой гордостью сказал Гамилькар, провожая взглядом расходящихся по своим палаткам людей.

— И даже этот строптивый юноша? По нему не скажешь, что на него можно полностью положиться. Горячая голова, сам знаешь, в серьезном бою может только бед натворить. Если я не ошибаюсь, это сын Бодмелькарта-тихого?

— Он самый. Огонь, а не парень: вспыхивает, как сухая трава. Сбежал к нам вопреки воле отца. Представляю, что я услышу от Бодмелькарта, когда мы встретимся. Хотя любой отец должен быть благодарен

тому, кто из его мальчика слепит мужчину. Да и жизнь в лагере, думаю, немного обтесала его и сделала более разумным.

— Что обтесала, сомневаюсь — больно строптивый, как вижу, мальй.

— Как все юноши в таком возрасте, — улыбнулся Гамилькар. — Вспомни себя лет десять назад: тоже ведь был горяч — бросался на вражий строй сломя голову; ни копыя, ни стрелы тебя не могли остановить!

— Когда это было...

— Впрочем, сам воспитанием юношей не занимаюсь — я не учитель. У меня каждый юноша находится под опекой старшего товарища. С ним он каждый день, каждую минуту. С ним охотится, ест и пьет, ночует в одной палатке. Братство, достойное доблестной Спарты. Не об этом ли мы мечтали прежде?

Белшебек слабо улыбнулся:

— Ох, и доиграешься ты, мой друг, со своей Спартой. Знаешь, как большинство старцев в Совете относятся ко всему греческому. Греки для нас всегда были и остаются соперниками.

— Да греки всегда сами себе были соперниками! Не было года, чтобы они не делили между собой крохотные клочки Эллады или Великой Греции, скрещая мечи на поле брани. Мы же, карфагеняне, во все времена выступали одной сплоченной силой, тем и держались, — разве не так?

— Да, этого у нас не отнимешь, — согласился Белшебек. — Предателем карфагенянина не назовет никто. Но, поверь мне на слово, тебе еще многое вспомнят: и этот лагерь, и увлечение инородным, и даже попытку умыкнуть юношей аристократических семей...

— Да ерунда! От иноземцев, как ты знаешь, я беру лишь нужное нам поученье. Они собаку съели на воинских науках. Дурак только не воспользуется упавшим к его ногам плодам. И потом, как бы нам еще не пришлось всю Грецию призывать в союзники против римлян. Времена меняются, а с ними меняются и наши взгляды, и обстоятельства. Извечный враг неожиданно может стать другом, а старый друг — непримиримым врагом. Мы несколько договоров заключали с Римом. Последний, как ты помнишь, ими был коварно нарушен, став поводом к теперешней войне, разве не так? А их послушать — виною всему мы, карфагеняне. У каждого своя правда... Ладно, давай оставим пока политику, пойдем, я лучше еще кое-чего тебе покажу.

Гамилькар оторвал Белшебека от набежавших дум и увлек в отдельную палатку, где хранилось оружие, которое он намеренно выис-

квивал в различных оружейных мастерских и арсеналах Карфагена, попал по случаю у торговцев или иноземцев—наемников.

Как бывший воин, Белшебек не мог не залюбоваться замечательной коллекцией друга. Были в ней и привычные финикийские мечи, которые славились на всем восточносредиземноморском побережье, и греческие, обоюдоострые, длиной с локоть ксифосы гоплитов, и одно-сторонние махайры всадников, и короткие римские мечи.

На одной из деревянных опор палатки на узкой плетеной перевязи висел длинный (более двух локтей) кельтский меч, также обоюдоострый, но со слегка закругленным концом. Его использовали в основном как рубящее оружие.

Карфагеняне, однако, не считали его эффективным: при первом добротном ударе такой меч, как правило, тупился и гнулся, последующие удары большого урона противнику не наносили (может, поэтому кельты больше любили всесокрушающие топоры?).

— А этот как тебе? — Гамилькар протянул жрецу изогнутый наподобие сабли и расширенный к концу остро заточенный клинок, не зная который, однажды увидев его, было невозможно.

— Иберийская фальката! Красавица! — Белшебек с восторгом взял в руки фалькату и залюбовался. Как самим клинком, так и мастерски выполненной рукоятью из слоновой кости в виде головы лебедя. — В умелых руках опасная штукавина. Видел я, как ею отрубали руки у самого плеча или одним махом сносили голову.

— А таким легко вспарывали живот и пробивали кольчугу.

Гамилькар достал из сундука еще один иберийский меч, на этот раз прямой, похожий на галльский, но покорооче. Рукоять его заканчивалась двумя небольшими, разведенными в разные стороны рогами. Он считал, что равного ему не было в известных армиях того времени¹. Одно железо чего стоило. Кованое, оно не шло ни в какое сравнение с литым!

— Уж насколько наши ремесленники искусны в работе с различными металлами, — заметил Гамилькар, — однако, надо признать, иберийские кузнецы ничуть им в этом не уступают.

Белшебек воодушевленно повертел меч в руке, резко махнул им несколько раз от плеча.

¹ Вскоре такой меч, названный испанским гладием или гладиусом, будет взят на вооружение римской армией.

— Знаешь, — сказал потом, — а ведь и на меня иногда накатывает. Хочется послать всё к бесу, вскочить на коня, крепко сжать в руке меч и как раньше помчаться на врага быстрее ветра, быстрее стрелы! — Белшебек еще раз звучно рассек мечом воздух.

— Ну уж нет! — прервал Белшебека Гамилькар. — Давай-ка, брат, каждый будет делать свое дело. Не всем дано быть рядом с богами. Что наша рьяность без их поддержки и благословения. А ты, в прошлом воин, как никто другой знаешь, что нужно нам, воинам, кого просить, как благодарить. Найдутся сотни таких, кто будет скакать, разить или рубить, а вот говорить с богами на одном им лишь понятном языке, быть приближенным к ним достоин не каждый.

— Ты как всегда прав, мой друг, — немного печально улыбнулся Белшебек и вернул меч на место.

— Тебе самому еще столько предстоит сделать, — сказал Гамилькар. — И в первую очередь — убедить наших богов, что мы их последняя надежда...

7

Ближе к вечеру, когда спала жара и на вилле остро стало ощущаться дыхание моря, Гамилькар с друзьями вернулись в Башню, чтобы в торжественной обстановке возблагодарить богов за проявленную милость, попросить их, чтобы они и дальше сопутствовали им на выбранном пути, и завершить еще один удачный день совместной трапезой.

Спешились во внутреннем дворе. Гамилькар заметил среди слуг своего управляющего скотным двором Ахата, взмахом руки подозвал к себе.

— Ахат отобрал в стаде подходящую для ритуала годовалую овцу, взгляни на нее, уважаемый Белшебек, подойдет ли.

Белшебек стал внимательно осматривать приведенную овцу и не нашел в ней никакого изъяна, ничего, чтобы могло воспрепятствовать принесению ее в жертву.

Ахат, видно, был опытным управляющим. Как и полагается для обряда жертвоприношения небесному божеству, он выбрал животное здоровое, не искалеченное, со светлой шерстью без пятен. Овца была тщательно вычищена от репейника и начисто вымыта.

— Где можно переодеться и приготовиться? — спросил Белшебек.

— Пойдем, покажу.

Гамилькар проводил жреца и его помощников в одно из свободных помещений.

Белшебек извлек из своего небольшого походного сундучка необходимые для обряда медные инструменты: нож для закалывания жертвы, чашу для собирания крови, вилку для жертвенного мяса, захват для собирания углей с жертвенника, ритуальную бритву для стрижки; переложил их в застланную куском белой ткани корзину и только потом стал готовиться к ритуалу.

Ритуал был немаловажный — боги не должны забывать о своих подопечных или отворачиваться от них. Забытый богами человек рискует потерять не только удачу, но и саму жизнь.

Храмовый раб жертвенной бритвой поначалу тщательно выбрил Белшебеку голову, затем помог ему облачиться в предназначенную для совершения обрядов белую льняную тунику, перебросить через левое плечо тонкий шарф и расправить ниспадающий на плечи вуалевый платок, который поддерживался на голове тонкой узкой бронзовой полкой.

Хозяин с хозяйкой и детьми, телохранители и слуги уже стояли в ожидании начала обряда под небольшим увитым плющом навесом, который укрывал их от солнца.

Небесным богам обычно приносили жертвы в утренние часы, но еще не так было поздно.

Выход Белшебека в полном одеянии во двор был сигналом начала церемонии для жреца-флейтиста. С первыми звуками мелодии Гамилькара как приносящий жертву, взял из рук раба поводок и повел овцу к жертвенному камню.

Массивную, с локоть высотой и локоть на два плоскую глыбу нашел на одной из ближайших рек и перевез в свое имение дед Гамилькара. Ее, как и следовало, никогда не касался ни молоток, ни долото.

Один из помощников жреца (пока тот переодевался), разжег на жертвенном камне огонь, другой набрал в ритуальный сосуд воды и, следуя за Белшебеком, слева направо обнес его вокруг алтаря.

Совершив круг, Белшебек щипцами вытащил из огня и перенес в сосуд один из раскаленных углей, освятив таким образом воду. Теперь освященной водой можно было окропить и жертву, и людей, которые ни на секунду не спускали с него глаз.

После окропления, Белшебек вернулся обратно к алтарю и стал, как положено, с его северной стороны, подозвал к себе Гамилькара с овцой.

Овца шла без сопротивления, даже слегка кивала головой, словно соглашалась на все, и это было добрым, благоприятным знаком. Боги жаждали этой жертвы.

Белшебек тщательно вымыл руки миррой, протер зубы овцы свежим, обжатым в ладони пучком листьев можжевельника, затем срезал с ее головы клок волос и передал Гамилькар. Тот бросил клок в огонь.

Остро запахло паленой шерстью, можно было начинать.

Под нарастающие звуки флейты Белшебек нараспев стал читать молитву, остальные громко повторяли за ним.

Гамилькар придержал голову овцы и по знаку жреца жертвенным ножом резко полоснул ее по горлу.

Ашерат все время неотрывно смотрела на животное, но когда кровь брызнула на прогретый солнцем алтарь, неожиданно ахнула, резко отвернулась и ткнулась головой в плечо матери.

Именно такой — ярко-алой — была кровь в ее страшных снах!

— Ну, что ты, Ашерат, — сказала Батбаал и притянула к себе дочь одной рукой.

Наамемилкат посмотрела на сестру с недовольством: опять с ней носятся, как с малым дитятей. Вокруг только и слышно: «Бедная Ашерат, бедная Ашерат», — противно!

Ашерат тем временем украдкой снова посмотрела на агонизирующую овцу, но в этот раз от вида происходящего ей стало еще хуже, ноги подкосились. Батбаал и Йааэль с трудом удержали девочку. Ближайшие слуги поспешили на помощь. Только Белшебек с Гамилькаром остались на месте, чтобы завершить обряд. Не хотелось думать, что кто-то из богов решил таким образом помешать им возблагодарить всевышнего. Ашерат скорее всего просто испугалась вида крови, как это часто бывает у юных девушек (да и у многих взрослых женщин тоже).

Белшебек придерживался того же мнения, тем более, что жертвенная кровь оказалась чистой. Значит, боги будут довольны, Гамилькара ждет удача.

Белшебек собрал овечью кровь в чашу и окропил ею бока алтаря. Гамилькар тем временем содрал с овцы шкуру и стал разделять тушу. Наиболее жирную часть и внутренности положили прямо на раскаленные угли — боги, к сожалению, как утверждают древние, не едят мяса, они вдыхают пары, исходящие при сжигании жертвы, как вдыхают и наслаждаются благовониями, которые воскуривают для них люди.

Слуги унесли Ашерат в женские покои. Батбаал последовала за ними.

— Как она? — спросил Гамилькар у жены, когда Батбаал вернулась обратно во двор.

— Уже прошло, она очнулась. Я оставила с ней Йааэль и Парфениду.

— Ладно, помоги нам.

Батбаал присоединилась к Белшебеку с Гамилькараром и стала раздавать всем присутствующим, включая слуг, жареные куски жертвенного мяса.

После раздачи Гамилькар с Белшебеком и друзьями проследовали в трапезную, где по образцу греческого триклиния для них были приготовлены лежа, перед которыми расставили невысокие столы с разнообразными яствами.

Ашерат тем временем приходила в себя. Парфенида смочила в холодной воде платок и положила его на голову девушки. А когда та открыла глаза, попыталась заговорить с ней и хоть как-то успокоить, однако Ашерат не отвечала ни на один из вопросов, продолжала упорно молчать и смотреть в одну точку.

Батбаал поднялась к ним, когда в столовой мужчины начали есть.

По обычаю женщины при этом не должны были присутствовать, и хотя всякий раз этим инородным для карфагенян традициям Гамилькар пытался пренебречь, Батбаал упорно отказывалась находиться рядом с ним за столом при гостях, она ссылалась на то, что мужчины даже за обедом часто обсуждают дела, которые мало касаются женщин. Теперь к тому же она больше обеспокоена Ашерат, чем мужскими разговорами.

Хотелось, конечно, поскорее выехать в Карфаген, чтобы, как советовал Карион, обратиться в храм Эшмуна на Бирсе. Несколько сеансов грязевых ванн, ароматные масла, благовония, — и кошмарные сны наверняка больше Ашерат тревожить не будут.

Кариона поддержал и Белшебек. Он даже обещал поговорить со вторым жрецом храма, но сделать это можно будет опять-таки, только когда они вернуться в Город. Но, к сожалению, Гамилькар пока брать с собой семью не намеревался — после утверждения на пост его ждали светлые будни рекрутского набора, формирование флота, наем матросов, организация снабжения и масса другого. И все надо будет успеть до праздника поминовения Адониса, после которого только разрешалось вести боевые действия полководцам. В общем, ему будет не до семейных дел. Но на торжества в честь Адониса они обязательно поедут в Мегару, чтобы затем всем вместе возблагодарить богов и принять их благословение.

Гамилькар был тверд в своем решении и не хотел больше возвращаться к этому вопросу. Батбаал не стала его снова терзать. По крайней мере, не сейчас.

На следующий день перед отъездом Гамилькар отдал последние распоряжения управляющему Рихату и решил еще раз подняться в спальню жены, где она с Ганнибалом укладывалась на послеполуденный покой.

Чтобы не жариться на солнце, Белшебек со своей свитой уехал едва рассвело и уже давно, наверное, был в Тапсе, куда он хотел заглянуть по делам храма.

Гамилькар осторожно отодвинул занавеску на входе в спальню жены и посмотрел вглубь, где на невысокой деревянной кровати в окружении массы расписных подушек спиной к нему, на боку лежала Батбал.

Свет, исходивший от небольшого — о двух носиках — терракотового масляного светильника, стоявшего в нише у изголовья, оставлял в полутьме как ее лицо, так и окружающие предметы: четырехугольный стол у стены с небольшим отполированным до блеска бронзовым зеркалом и различными женскими штучками возле него, греческое кресло с мягким сиденьем неподалеку, небольшой сундук для одежды в углу, рядом с которым было устроено небольшое ложе, на котором, всегда, готовая отозваться, полудремала Мактаб.

В воздухе от благовоний витал легкий запах кипариса и мирта. Глиняные стены и полное отсутствие окон позволяло удерживать в комнате прохладу, особенно живительную в невыносимо жаркие летние дни.

Гамилькар, собственно говоря, недавно попрощался с женой, он не хотел, чтобы нарушался установленный порядок сна маленького Ганнибала.

Вообще все, что касалось маленького Ганнибала, единственного на сегодняшний день продолжателя рода, было на особом счету у Гамилькара. Именно поэтому он, не долго думая, увез семью из Карфагенской Мегары в дальнее имение в Лептис-Миноре, когда коварный бог Решеф, облюбовав топкие прибрежные болота Эль-Багиры¹ вблизи Тунета, чуть меньше года тому назад наслал на город жестокий мор.

Эпидемия тогда в мгновение ока распространилась по многотысячному, скученному городу, из квартала ремесленников, который непосредственно прилегал к болотам, перебравшись в центр и Мегару. Счет шел на сотни, тысячи умерших, мор не щадил ни молодых, ни старых, косил как рабов, так и аристократов без разбору.

¹ На Тунисском озере.

Гамилькар увез семью, но сам то и дело возвращался обратно, потому что именно в те дни решалось, кто в борьбе за будущее страны возьмет верх: партия аристократов, желающая поскорее закончить войну с Римом (ценой любых уступок), или партия народа, которая жаждала отстоять вековечные колонии Карфагена на Сицилии, Сардинии, Корсике и взять у римских захватчиков реванш.

Гамилькар примыкал к последним, ратовал за прежнее государство, сильное, обширное, которое некогда контролировало почти все западное Средиземноморье от Киренаики до столпов Мелькарта¹...

Проснулась Мактаб, увидела проблеск света на полу, приподняла голову, но Гамилькар успокоил ее, мягким движением руки показал, чтобы она ложилась обратно. Нужно было ехать.

Гамилькар бросил последний ласковый взгляд на жену и сына, задернул занавеску, однако и шагу не смог ступить — к нему на шею кинулась Наамемилкат.

— Ух, — отпрянул он немного назад и поддержал дочь за тонкую талию. — Чего не спишь, царица?

— Ты уже едешь? — спросила она и положила голову ему на плечо.

— Ненадолго. Мы скоро увидимся. На праздник вы приедете в Город, а я к тому времени решу все свои дела. Пообещай, что не будешь скучать. Через какую-нибудь недельку опять увидимся. Обещаешь?

— Да, — тихо сказала на ухо отцу Нааме.

Из покоя девочек показалась и Парфенида. Остановилась у порога. Позади нее как потерянная замерла Ашерат.

Гамилькар почувствовал себя неловко, как будто он что-то сделал неправильно, не так, как должно. Он опустил на пол Нааме и протянул руку к младшей дочери.

— Ашерат.

Девочка не решалась подойти. Парфенида мягко подпихнула ее к отцу.

— Иди ко мне, дорогая, — Гамилькар раскрыл свои объятия.

Ашерат неторопливо приблизилась.

— Ты тоже будешь скучать?

Гамилькар нежно прижал к себе дочь. Хотя обычай уже велит выдавать ее замуж, Ашерат еще по сути такой ребенок — какая из нее сейчас жена?

¹ У древних греков — столпы Геракла, ныне Гибралтарский пролив.

Парфенида, наблюдая эту сцену, даже расплакалась. Как все-таки Гамилькар после рождения сына изменился: стал ласковее и с дочерьми.

«Ну, вот!» — подумал Гамилькар, вскинул брови и покачал головой, мол, не стоит сейчас этого делать, не то разрыдаются все.

Парфенида утерла слезу.

Гамилькар снова наклонился к Ашерат.

— Будешь скучать?

Ашерат часто-часто закивала головой.

— Вот и ладно. А теперь беги обратно к няне и ложись отдыхать — так быстрее пройдет время.

Ашерат вернулась к Парфениде, та обняла ее и повела в спальню.

— Ложись и ты, принцесса, — сказал Гамилькар. — Солнце только-только встало.

Нааме тоже пошла за сестрой, но у входа в спальню обернулась, заулыбалась и помахала отцу рукой. Гамилькар махнул в ответ.

С женской половины он ушел, только когда Нааме скрылась в своей спальне.

Но уже через минуту он думал о том, кому первому нанесет визит в Лептис-Миноре. Не мешало бы заглянуть и в соседний Гадрумет. Встречи с купцами и ремесленниками были для него сейчас очень важны. Без их денег, товаров и услуг нечего и думать затевать кампанию.

Во внутреннем дворе его ждали верхом на лошадях верные друзья-телохранители. Рядом с ними стоял и Ахирам. Гамилькар подошел к нему.

— Оставляю на тебя все свое самое дорогое. Знаю, будешь беречь и защищать их, как самого себя. Поэтому и спокоен. Я пришлю вестника, когда вам надо будет прибыть в Город. Возможно, через неделю придется выезжать. Постараюсь сообщить, как можно раньше. Береги их.

Гамилькар приобнял Ахирама.

— До скорой встречи.

Оторвался. Молодой раб подвел к нему коня. Конь, предчувствуя дорогу, беспокойно переступал с ноги на ногу, пенил края губ. Гамилькар вскинул на него свое ладное тело, бросил: «В путь!» — и первым выскочил из усадьбы. Всадники один за другим галопом устремились за ним.

С легким оттенком грусти покидал Белшебек уютное гнездо Гамилькара. Виновницей тому была, как он ни хотел себе признаваться, — жена Гамилькара, Батбаал.

Как он ни пытался отрицать очевидное — с каждой встречей с Батбаал влюбленность его только укреплялась. И зарывалась еще глубже.

Носить в себе это чувство было невозможно, но и открыться Батбаал, рассказать ей о своей любви тоже было немислимо — Гамилькар оставался его единственным настоящим другом, с которым он, как говорится, съел не один фунт соли, которого он уважал и даже любил как родного брата.

Мог ли он хоть как-то предать лучшего друга? Конечно, не мог. Потому и страдал. Страдал, когда время от времени сталкивался с Батбаал, страдал, когда иногда вынужден был встречаться с Гамилькаром в его доме или в храме, куда Гамилькар накануне своего назначения стал наведываться часто.

Казалось, долгие пятнадцать лет знакомства, редкие в последнее время встречи притупят его нежные чувства к Батбаал. Но — нет. Чем реже видел Белшебек Батбаал, тем ярче вспыхивало прежнее, тем острее кололо сердце.

Когда Белшебек впервые увидел Батбаал, он не мог не оценить ее природную красоту и миловидность.

Дочь финикийца и гречанки, она словно соединила в себе самое лучшее из черт двух разных народов. В ней словно ладно соединились Запад и Восток, сгладив грубоватые черты гречанок плавностью линий финикиянок.

Как писали древние:

*«... чья красота подобна красоте Анат¹,
чья прелесть подобна прелести Астарты,
чье ожерелье из блестящей лазури,
чьи очи — чаши янтарные, отделанные сердоликом»².*

Небольшого роста, хрупкая, с широким открытым лбом и выразительными восточными глазами, она сразу приглянулась Белшебеку. И

¹ Анат — финикийская и вообще западносемитская богиня плодородия и любви, сестра и возлюбленная бога Балу (Баал-Цафона).

² Перевод И. Ш. Шифмана.

он собственной волей заставил себя как можно меньше думать о ней, как можно реже бывать у них дома, все больше приглашал Гамилькара к себе в свою небольшую келью в храме, где можно было, не отвлекаясь на постороннее, решать все необходимые дела. А Батбаал... Батбаал оставалась острым напоминанием о печальной судьбе неразделенной любви, которую и время неспособно стереть, и сердце забыть.

Отец Белшебека уже сколько раз напоминал: пора бы жениться — негоже после себя не оставить потомства. Тем более, их род на протяжении сотен лет служил одному и тому же богу, из поколения в поколение передавал как наследство таинство общения с богом, бережно сохранял язык, на котором боги в давние времена напрямую разговаривали с людьми.

Кому он, Белшебек, передаст свои тайные знания, как передал их ему отец, а отцу дед, а деду прадед?

Но Белшебек умолял отца пощадить его, не торопить, не настаивать на его скором супружестве — он ведь еще не стар. А претенденток вокруг — хоть отбавляй, хоть нескольких жен заводи, — карфагенянину не возбраняется. Однако душа не лежит ни к одной из них, не прикипело. Еще успеется, еще все впереди, — говорил он отцу и друзьям и тут же вспоминал Батбаал, ее раскосые глаза, чарующую улыбку...

Может, он ее идеализировал? Вряд ли. Он помнил их первые встречи. Доброй завистью завидовал другу, но ни разу не признался в том ему. Даже, когда их дружба скрепилась совместным участием в войне против Регула.

Потом их дороги на время разошлись, Гамилькар носился с мыслью о реванше за потерянные карфагенские города на Сицилии, сам он пошел по стопам семьи, с головой погрузился в дела храма, перенимая таинство общения с богами — в их поддержке сейчас как никогда нуждалось пошатнувшееся государство.

Редкие встречи теперь становились такими долгожданными и радостными. Но Белшебек по-прежнему скрывал свои чувства к Батбаал, теперь еще сильнее, даже если ему не нравились грубоватость Гамилькара к своей хрупкой жене.

Бывало Гамилькар ни за что ни про что, как считал Белшебек, раздражался на нее.

Батбаал поначалу обиженно высказывала все обиды ему, Белшебеку, и он видел, что она во многом была права — Гамилькар, казалось, сам не понимал, что таким отношением заставляет ее страдать.

«Я солдат, — говорил он в таких случаях. — Мне не до бабьих сантиментов». И это тоже было видно — Гамилькара нечего было и пы-

таться переделать. Но вот прошло сначала пять, потом семь лет, как он оставил армейскую службу, у Гамилькара и Батбаал наконец-то родился долгожданный наследник, которого Гамилькар просто обожал, а девочки стали почти женщинами, — и Белшебек увидел, что Батбаал постепенно нашла какой-то свой подход к мужу, как-то незаметно изменила его: тот стал мягче в семье, нежнее к Батбаал и даже к попираемой поначалу Ашерат. И уже на замечания жены, которые постепенно превратились в безобидную иронию, отвечал просто иронией, и их семейный крепкий челнок, на зависть, продолжал плыть дальше, без серьезных трещин и губительных пробоин. Опять же, благодаря мудрости Батбаал. А в том, что она оказалась мудрой, — в этом ей не откажешь.

Белшебек еще раз мысленно представил себе лицо Батбаал. Светлое, когда она с улыбкой встречала его, потемневшее, когда рассказывала о тревожных снах Ашерат. Но к снам Ашерат он отнесся так же, как и Гамилькар, считая их обыкновенными страхами перед предстоящим вступлением во взрослую жизнь.

Десятки тысяч ханаанских девочек ежегодно проходят через этот вековой обряд, и ни разу еще земля Ханаанейская после этого не дрогнула.

Богу — богово, а страхи — суть эмоции человеческие, богам они не свойственны. В праве ли мы забывать обычаи предков? Обычаи, идущие от богов? Белшебек считал, что не вправе.

9

Шел семнадцатый год войны¹. С тех пор, как римские калиги ступили на землю Сицилии, карфагенянам словно изменила удача. Один за другим города сиканов и сикулов², прежде подвластные карфагенянам, неизбежно переходили в руки римских захватчиков. Даже неоднократная гибель римского флота от всяческих штормов и бурь не склонила чашу весов в пользу карфагенян.

Лучшие полководцы были направлены на Сицилию, чтобы переломить сложившееся положение.

Ганнибал, сын адмирала Ганнибала, за десять лет до этого распятого наемниками в Сардинии, вместе с Гимильконом, начальником местного гарнизона, успешно удерживали от осады Лилибей. Назначенный

¹ 247 год до н.э.

² Коренные народности Сицилии.

триерархом¹ Ганнибал, сын Гамилькара, будучи послан в помощь Лилибею, проявив мужество, прорвался сквозь кордон римской флотилии в бухту осажденного города, доставил продовольствие и также вырвался обратно, удивив растерянных врагов своей смелостью и отвагой.

В прошлом году Адарбал, начальник гарнизона в Дрепанах, решительно вступил в бой со свежими морскими силами римлян под командованием Клавдия Пульхра и наголову разбил их, захватив 93 вражеских корабля. Отправленный им в Лилибей Карталон успешно воевал на море с другим римским консулом — Луцием Юнием Пулом. И все же существенного перелома не случилось. Из всех прибрежных — некогда карфагенских — городов на Сицилии на сегодняшний день у карфагенян остались только Дрепаны и Лилибей. Римские орлы не отступают, проявляя завидное упорство и необычайную стойкость. Какая сила двигает ими, какие боги управляют, что даже потерявший в буре около 120 судов Луций Юний с остатками своей армии высадился на ближайшем побережье и спустя некоторое время захватил город Эрикс и древнейшее на Сицилии богатейшее святилище Астарты Эрицинской², почитаемой и карфагенянами, чем перекрыл к Дрепанам и Лилибею еще и сухопутные пути?

«Боги отвернулись от нас?» — спрашивал себя Гамилькар Барка, но не искал ответа — не хотелось думать о худшем. Так не должно быть. Не может быть так! Карфаген всегда умел за себя постоять. Даже в трудные минуты он с честью выходил из губительных, грозящих уничтожить его навсегда обстоятельств.

Что ж такого необычайного в этой новой породе людей, называемых себя римлянами? Насколько Гамилькар слышал, основатели Рима — легендарные Ромул и Рем, создавая город, собрали вокруг себя из ближайших к Тибру племен какой только можно разношерстный сброд. Бродяги и разбойники, убийцы и насильники незаметно как превратились в отцов семейств, уважаемых государственных мужей, сенаторов, беспринципных, лживых, алчных до чужого.

За каких-то двести лет Рим захватил всю Италию, подмял под себя этрусков и самнитов, кампанцев и жителей Великой Греции. Теперь протянул свою хищную, когтистую лапу и на Сицилию. А разбитый Ксантиппой Марк Атилий Регул? До своего пленения, он почти поста-

¹ Командир триеры, трехпалубного судна.

² Греки именовали ее Афродитой Эрицинской.

вил Карфаген на колени, требовал вдобавок Сардинию... Даже прославленный Пирр не смог их остановить!

Гамилькар негодовал. Равных финикийцам до этого на море не было! Столетиями финикийские «длинные» корабли с пятью десятками весел в один ряд или с веслами в два бороздили моря и океаны; гаулосы¹ и гиппосы² ходили по рекам и вдоль побережья разных стран, а быстроеходные триеры и воинственные пентеры с полностью погруженными в воду таранами на носу не единожды сдерживали натиск греческих переселенцев и пиратов всевозможных мастей.

Лет за четыреста до рождения Гамилькара один из карфагенских путешественников по приказанию фараона Нехо обогнул вдоль Атлантики всю Африку. Через двести лет Ганнон (как гласит текст на бронзовой табличке в карфагенском храме Баал-Хаммона) пересек столпы Мелькарта и, двигаясь вдоль западного побережья Африки, почти достиг экватора (густые шкуры двух похожих на людей существ³, с которыми он вынужден был вступить в бой, до сих пор висят на стенах храма Тиннит в Карфагене). Еще один карфагенин — Гимилькон — в поисках олова доплыл до Британии...

Как же получилось так, что прославленные и опытные мореходы даже в своей привычной стихии потерпели поражение?

Практичные римляне, скажет вам теперь любой малец, изобрели «ворона» (хотя люди сведущие утверждают, что это изобретение сиракузян) — своеобразный перекидной мостик в носовой части корабля с крючьями на конце и перилами по бокам, с помощью которого битву на воде они смогли превратить в битву на суше. А в рукопашном бою, как показали дальнейшие события, римляне действительно превзошли многие народы.

«Но почему так?! Вот моя рука, вот мой меч, во мне сила духа, питаемая богами. Неужели я не в состоянии сокрушить своих злейших врагов, остановить их дальнейшее продвижение на юг? Неужто Баал-Хаммон и Тиннит отвернулись от Картхадашта?» — в который раз задавал себе один и тот же вопрос Гамилькар и не находил на него ответа...

¹ Обычно торговый тяжелый карфагенский корабль округлой формы для транспортировки грузов.

² Так греки называли финикийские корабли, носы которых были выполнены в форме лошадиной головы.

³ Это были гориллы.

Их небольшое торговое судно неторопливо подходило к Карфагену. На горизонте в легкой дымке тумана на фоне вековых гор показались величественные стены древнего города Элиссы. В лучах восходящего солнца выбеленные крепостные стены и стены устремленных в небо многоэтажных домов ослепляли. Облицованный золотыми пластинами храм Эшмуна на Бирсе словно пылал.

По мере приближения к Городу впечатления от его монументальности только росло, и мало-помалу скверные гнетущие мысли уходили прочь.

Гамилькар гордился своим городом.

Как всякий другой крупнейший город тогдашнего мира¹, Карфаген оброс неисчислимой массой легенд и сказаний. И хотя в огромных (не уступающих Александрийской) храмовых библиотеках города хранились вековые записи многих произошедших в стране и окружающем мире событий, основание Картахашта продолжало оставаться тайной за семью печатями, а основательница его — царица Элисса, в представлении многих давно слилась с самой богиней Тиннит и вовсе стала загадочной и непостижимой.

В хрониках говорилось, что Элисса была дочерью тирского царя Мутона. Но после его смерти народ передал все царство ее родному брату Пигмалиону, «тогда еще совсем юному». Элисса же вышла замуж за своего дядю Ахербу (или Ашербаса), верховного жреца Мелькарта, второго лица в государстве после царя.

Пигмалион вскоре позарился на огромные богатства своего дяди и одновременно зятя и убил его. Элисса стала опасаться и за свою жизнь. Только бегство могло ее спасти от алчного брата.

Взяв себе в союзники знатных тирийцев и забрав сокровища мужа, Элисса тайно покинула город и отправилась на поиски нового места поселения.

На Кипре, где они останавливались по пути, к ним присоединились недовольные Пигмалионом финикийские киприоты, а также жрецы Бал-Хаммона и Астарты.

Когда-то Элиссе было предсказано, что она заложит город там, где найдет череп коня. И действительно, двигаясь вдоль извилистого побережья Африки и изредка высаживаясь на берег, изгнанники вскоре об-

¹ Еще в период рассвета (V-IV вв. до н.э.) население Карфагена достигало 600 тысяч человек (в Афинах того времени едва насчитывалось 300 тысяч).

наружили бухту, на берегу которой они раскопали лошадиный череп. Находка свидетельствовала о том, что издавна это место было освящено. Здесь и решено было остановиться и основать новый город.

Элисса вступила в дружеские отношения с местными жителями и пожелала купить у них столько земли, сколько можно было покрыть войшей шкурой.

Местный царь Хиарбас посмеялся над наивной просьбой чужеземки, но все же, очарованный ее красотой, согласился продать часть своей земли на предложенном условии.

Утром, однако, изумлению его не было предела. Разрезав бычью шкуру на тонкие полоски, смекалистая тирская принцесса очертила ими довольно обширное пространство, достаточное для того, чтобы она могла расположиться на нем со своими спутниками. Ливийский царь вынужден был уступить. А место, очерченное столь хитроумным способом, впоследствии так и назвали — «Бирса», что по-гречески означало «шкура быка».

Теперь здесь возвышается обнесенный крепостной стеной Карфагенский акрополь с величественным храмом Эшмуна на его вершине.

Через несколько дней Гамилькар поднимется в этот храм, чтобы предстать перед членами Совета 104-х, Совета, который, может быть, навсегда определит его дальнейшую судьбу. Но Гамилькар пока об этом не думает, он радуется, что плавание не затянулось.

Панорама неохватного взором города постепенно накатывается на него, береговая крепостная стена растет на глазах и уже на подходе корабля к выступающим из воды древним массивным каменным волнорезам полностью закрывает собой даже самые высокие городские крыши.

Было заранее решено, что они подойдут к торговым причалам, расположенным у Купеческих ворот города, а не проследуют на основную стоянку кораблей на побережье Тунисского озера.

Капитан заметил свободное место и направил свой корабль к нему. У причала его уже ждал чиновник по таможенным сборам и оплате стоянки — он увидел приближение их судна.

Узнав о цели прибытия корабля и длительности нахождения его в порту, чиновник получил за стоянку деньги, отметил уплату в своей табличке и удалился.

Тем временем команда Гамилькара стала спускать по трапу лошадей и имущество.

Их встречали Бомилькар, зять Гамилькара, который добрался посуху, чтобы заранее предупредить мегарскую прислугу о прибытии хозяина, и Абимильк, управляющий имением Барки в Мегаре.

Бомилькар с Гамилькаром обнялись. Абимильк доложил, что в имении все готово для приема гостей.

На причалах, несмотря на ранний час, всю кипела торговая жизнь, шла обычная повседневная работа. Большинство торговых сделок совершалось прямо здесь, у крепостной стены, в город отправлялись только товары, предназначенные для Картхашта и ближайших к нему городов.

Под сенью разноцветных палаток купцы совершали различные сделки, обменивались товарами, покупали и продавали. Транзитные корабли, не заходя в порт, спешили тут же на причале оплатить пошлину и идти дальше своим рейсом (карфагеняне строго следили за передвижением торговых кораблей в море, никто не мог проскользнуть мимо их бдительной таможни).

Скрипели корабельные снасти, вращались лебедки, стонали спущенные с бортов деревянные сходни; голоса матросов, надсмотрщиков, грузчиков и торговцев особенно остро звенели в утренней тишине.

Шум и гам настоящей жизни заразил Гамилькара. В который раз он почувствовал, что сможет многое, что многое ему по плечу, и в который раз возблагодарил богов, которые ему покровительствовали.

Как было заранее договорено, он распустил местных товарищей по своим домам с условием, что они явятся к нему по первому зову, а сам с Бомилькаром, Абимильком, Китионом, Нагидом и Ирхулином отправился к Купеческим воротам в Город.

За воротами они снова попали в торговую зону, в новый гомон торговой суеты и навязчивых ароматов. Однако сейчас рыночная площадь перед воротами была не так сильно запружена, как обычно днем, — утро только начиналось; к тому же (и хорошо), не все еще знали Гамилькара Барку в лицо как претендента в полководцы, поэтому его небольшой кавалькаде ничто не помешало беспрепятственно добраться до Главной площади, а оттуда свернуть к воротам Тиннит, за которыми начиналась Мегара — самый престижный, элитный район Картхашта.

Ирхулин, как видно, даже в Мегаре не спешил расставаться с ними, ехал позади, о чем-то весело болтая с Китионом.

Когда поворот на улицу, где располагалось семейное гнездо Ирхулина, они миновали, Гамилькар удивленно обернулся и спросил:

— Ирхулин, а ты не думаешь навестить свою родню сегодня? Несколькими месяцами тебя не было дома, твоему отцу это может не понравиться.

— Я давно вырос из пеленок, Гамилькар. Отец это тоже, наверное, заметил. А потом, после такого длительного отсутствия день-два вряд что-нибудь решают.

— Смотри, чтобы потом отец не закатил тебе головомойку, — поддерживал Гамилькара Бомилькар. — Он у тебя хоть и носит прозвище тихого, а на заседаниях Совета, иногда такие мечет молнии, что многие потом неделями не могут излечиться от его ожогов.

— Спасибо за заботушку, но я уж сам как-нибудь разберусь со своим отцом, — не смог не сдержаться, чтобы не съязвить Бомилькару Ирхулин.

— Мы тебя только предупредили, — сказал Гамилькар и сильнее подстегнул свою лошадь.

Всадники дружно поскакали за ним.

Первым из прислуги Барки молодых офицеров, гарцующих меж роскошных мегарских вилл, заметил Киликс, привратник Гамилькаровой усадьбы.

С отъездом Бомилькара и Абимилька в порт он места себе не находил, не стал даже, как обычно, досматривать утренний сон, подремывая за воротами усадьбы, наоборот, сновал вдоль высокой — выше человеческого роста — глиняной ограды, через которую свисали ветви акаций и эвкалиптов доходил, хромая, до перекрестка, в центре которого возвышался мраморный бетил¹, всматривался в даль, в сторону Бирсы: не вздымается ли на горизонте пыль.

Он был уверен, что Гамилькар не будет тащиться на своем белогривом, как на ослиной упряжи, непременно пойдет наметом, увлекая за собой и своих товарищей, торопясь поскорее достичь родового поместья, ведь он хоть и не родился здесь, но вырос.

Лично он, Киликс, так бы и поступил, но из-за старого увечья не может, хотя душой рвется навстречу хозяину аки птица.

¹ Магический камень (от семитского bt'l, дословно — «обитель божества»), характеризующий местопребывание бога. У семитов, как правило, олицетворял само божество.

И все же зря он, наверное, доковылял до перекрестка, потому что, даже заметить на горизонте всадников, он вряд ли успеет вернуться обратно и первым сообщить стражникам и прислуге о приближении хозяина, — всадники опередят его в два счета, а потом будут долго посмеиваться, на что, мол, старый хрыч, надеялся, пытаюсь обогнать нас; тебе ли с верховыми тягаться? Но ведь было время, когда он рядом с лошастью отца Гамилькара бегал быстрее зайца, да еще сжимал в руках пару дротиков, чтобы потом, когда всадник спрыгнет с коня, живо передать ему их для метания. И рядом с резвой кобылкой маленького Гамилькара бегал тоже он, пока обе ноги были в порядке, — никто не мог его тогда обогнать. Но как давно это было, как далеке! Уж Гамилькар за тридцать!

Побрел обратно. Торопился, чтобы встретить хозяина, как положено, возле врат, присел на широкую каменную скамью у ворот, снова посмотрел вдаль. От перекрестка виднелась еще пара усадеб, дальше все тонуло в зелени. Зрение совсем не то, что было раньше...

Солнце начинало припекать, Киликса потянуло в сон. Что за дурацкая привычка! Утром, едва рассветет, — ни в одном глазу, а к обеду дрема охватывает — нет сил бороться. Старость, что ли, тому виной — нерадость?

Киликс и не заметил, как задремал, но спал недолго.

— Так-то ты усердно сторожишь мое имение! — громом вдруг раздался над его головой суровый голос.

Киликс от неожиданности вскочил на ноги, захлопал ресницами, полусонно попытался рассмотреть блестящих бронзой всадников.

— Стоять! — толком не разобравшись, рассвирепел он.

— Киликс, дурья башка, — выступил вперед всадник Абимильк. — Ты опять заснул? Смотри у меня, отправлю тебя на кухню кур потрошить!

— Хозяин! — узнав в суровом всаднике Гамилькара, радостно забормотал Киликс. — Наконец-то тебя дождались!

10

Город спал, когда Гамилькар Барка выехал из своего имения в Мегарах в храм Эшмуна на Бирсе, где сегодня заседал Совет 104-х. Это Совет давно стал негласным органом высшей власти Карфагена; кроме деятельности полководцев он контролировал также и различные магистратуры.

В свое время Совет 104-х был создан олигархической верхушкой, чтобы ограничить власть полководцев, которые попытаются захватить

управление страной в свои руки, как это сделал лет двести тому назад основатель правящей династии Магонидов — полководец Магон. Но постепенно аппетиты Совета возросли, и он наложил свою хищную лапу и на другие органы управления государством, стоглазым аргусом стал бдительно охранять покой аристократии.

Гамилькар всегда находил несколько странными заседания Совета в ночные часы, когда луна высоко поднималась над крышами города, затихали ночные неугомонные голоса заблудившихся пьяниц и по улицам в поисках пищи бродили одни только бездомные собаки. Хотя чему удивляться — в Совете ста четырех в основном были глубокие старцы из Совета старейшин, самому младшему из которых в прошлом году исполнилось шестьдесят, и, вероятно, причиной тому была банальная бессонница, она не давала старцам уснуть. Но с другой стороны, позднее время суток как никакое другое позволяло им своей волей и упрямством легко воздействовать на усталый от дневных забот мозг выслушиваемого и добиваться своего.

Сегодня Совету предстояло утвердить кандидатуры трех человек: самого Гамилькара на пост Главнокомандующего карфагенской армии на Сицилии, Ганнона, внука Ганнона Великого, на пост наместника Ливии, и старого, но еще крепкого генерала Бостара (ему хотели доверить командование войсками на Сардинии, которая давно считалась собственностью Карфагена, но в последнее время все чаще предательски обращала свой взор в сторону Рима).

Бостара Гамилькар знал еще с тех времен, когда тот совместно с генералами Гасдрубалом и Гамилькаром Кривым безуспешно пытался противостоять высадившемуся в Африке Марку Атилию Регулу и был позорно разбит возле Адиса. Именно после этого поражения командование карфагенскими войсками решено было передать спартанскому наемнику Ксантиппе. Однако Бостар все еще оставался крепким и надежным генералом, способным твердой рукой навести где надо порядок. Отдавать Сардинию, одну из главных житниц Карфагена, с ее плодородными землями, удобными прибрежными стоянками и многочисленными рудниками свинца, серебра, железа, которые регулярно подпитывали карфагенскую экономику, нельзя было ни в коем случае.

С Ганноном Гамилькар близко знаком не был, но видел его неоднократно на городской площади в окружении богатых купцов и крупных землевладельцев, которые ратовали за скорейшее прекращение войны.

В страхе перед новым Регулом беспринципные торгошники готовы были пойти на любые уступки, на любые соглашения с кем угодно, лишь бы только их не тревожили, лишь бы не волновали лишний раз.

Ганнон был старше Гамилькара лет на пятнадцать и уже успел побывать на нескольких весомых должностях в различных магистратурах, а как военачальник сумел прославиться во времена подавления мятежа нумидийцев после разгрома армии Регула.

Если бы ему не предложили в управление богатейшую Ливию, этот жирный, плодородный, контролируемый Карфагеном кусок Северной Африки, он, возможно, посредством своих обширных связей и богатой родословной попытался бы стать членом Совета 30-ти — высшего органа управления государством карфагенян или одним из двух суффетов, ежегодно отправляющих обязанности верховных правителей Кардтхашта. Но и сегодняшнее назначение в будущем сулило ему очень многое. Почетно место в Совете, несомненно, значимо и престижно, однако, как правило, больших денег не приносит, только убавляет собственные. Иное дело, провинция. Здесь — простор для обогащения. Иногда эту возможность Совет предоставлял молодым аристократам. Если с головой — наживется, нет — станет каким-нибудь магистратом. На все, как говорится, воля божья...

Говорил Ганнон обычно мало, но держался всегда так, как будто от него одного зависела судьба многих, смотрел вокруг пристальным недоверчивым взглядом, и если замечал, что кто-то дерзко пялится на него, ни на минуту не спускал с нахала глаз, пока тот, сдавшись, не отворачивался и не скрывался в толпе.

Ганнон был высок, широк, круглолиц, носил окладистую вьющуюся бороду и две золотые серьги в правом ухе. В одежде всегда отличался аккуратностью, при малейшем попадании жира менял тунику на свежую и жестоко отчитывал рабыню за нерадивость — с рабами он особо не церемонился, частенько мог запороть неугодного до смерти.

В наследство от отца ему достались огромные богатые землевладения к западу от Хадрумета, около десяти тысяч рабов и поддержка трети Совета старейшин, в большинстве своем таких же родовитых землевладельцев, ориентированных на расширение карфагенских владений в глубь континента.

Прошлогодний мор, который унес несколько тысяч карфагенян, беспощадным бичом полоснул и по семье Ганнона, утащил в преисподнюю его единственного сына и жену, с которой он прожил ни много ни мало около четверти века. С той поры, говорят, Ганнон еще более ожесточился и с головой ушел в дела государства.

К Бирсе Гамилькара сопровождали лишь Бомилькар, Китион и Нагид-нумидиец, остальные его друзья и единомышленники ждали их возвращения в Гамилькаровом имении в Мегарах.

Из Мегары въехав в Город через ворота на Тебесту, они проехали между холмами старой крепости и свернули на юг, где можно было по ближайшей из трех дорог с форума попасть на вершину Бирсы к храму Эшмуна.

Когда луна скрывалась за крышами высоких домов здешнего квартала, узкие улочки становились особенно мрачными, даже несмотря на окружавшие их со всех сторон выбеленные стены. Однако цокот копыт по мощеной мостовой был особенно звучен в этот ночной час, поэтому всадники, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания случайных прохожих, намеренно укутались в темные плащи.

У ворот крепостной стены, окружавшей храм Эшмуна, всадники спешились.

Невзирая на поздний час, здесь шумно толклись небольшие группы друзей и сторонников кандидатов, доступ которым в храм на время заседания был закрыт. Нашлись среди них и сторонники Баркидов, они сразу же окружили Гамилькара с товарищами. Но Гамилькар не стал долго задерживаться возле них, хотя и рад был такой поддержке, дальше к храму Эшмуна пошел один. По извилистой дороге вдоль высокой зубчатой стены ему предстояло подняться наверх, а затем преодолеть еще шестьдесят ступеней, ведущих непосредственно в храм.

Сегодняшние назначения, вероятно, были особо значимыми, раз Совет ста четырех, который обычно собирался в здании на Главной городской площади, удосужился взобраться на самую вершину Бирсы, у подножья которой Карфаген лежал как на ладони.

Огромные, массивные, покрытые тонкими листами золота ворота храма Эшмуна выглядели особенно величественно в ярком свете огней высоких бронзовых треножников слева и справа. Также величественно выглядели возле них и два могучих стражника в металлических доспехах. Казалось, они давно превратились в статуи — настолько неподвижными были их суровые лица.

На верхних площадках по обеим сторонам лестницы Гамилькар заметил кандидатов в белых туниках. Их окружали некоторые лица из Совета ста четырех. Вероятно, был объявлен перерыв заседания, так как люди вокруг чувствовали себя непринужденно.

Гамилькар поискал глазами распорядителя, чтобы узнать, когда следует предстать пред очи Совета, но не нашел его нигде и остался ждать на одной из ступеней.

Он не присоединился ни к одной из групп, но украдкой наблюдал за каждой.

Аристократы вокруг Ганнона оживленно поздравляли своего подопечного с успехом. Один приятельски похлопывал по спине, другой горячо жал руку, третий жарко рассыпался в похвалах. До Гамилькара доносились обрывки разговора Ганнона с членами Совета. Широколицый добряк с толстыми губами и заплавленными глазами сетовал, что Ганнон не отправился вчера с их компанией на охоту.

— Жаль, очень жаль. Нам так вас не хватало. Мы набрели на целое стадо ланей, огромное стадо. Гнали их, отсекая отставших от остальных. Никаких хищников не надо нервы щекотать — ничуть не меньший азарт!

Ганнон слушал добряка краем уха, но изредка бросал несколько коротких фраз, поддерживая разговор. Он явно пребывал в приподнятом настроении, иногда снисходительно, с надменностью нувориша, поглядывал в сторону Барки.

Гамилькар, несмотря на всю его славную родословную, оставался для него всего лишь одним из многих военачальников, которые судьбой случайно оказались взнесены на гребень политической волны. Таких сотни, как он считал, в Карфагене. Их назначали, снимали, ссылали, распинали на крестах, их можно было приятельски похлопать по плечу.

Ганнон довольно улыбался, шутил. Значит, вопрос назначения его был решен. Остались Гамилькар и Бостар.

Бостар явно нервничал. Скорее всего напрасно. Надо было больше переживать Гамилькару, у которого за плечами почти не было командного опыта. Однако Гамилькар не чувствовал и тени волнения. Он по-прежнему был уверен в себе, потому что если еще недавно военачальников назначал Совет, то Гамилькара выбрал сам народ Карфагена, который давно устал от многолетней войны и бездарей главнокомандующих. Гамилькара выбрало народное собрание, Совету ничего не оставалось более, как просто его утвердить.

Из ворот храма вышел Гербаал, Верховный жрец храма Баал-Хаммона и одновременно один из членов Совета ста четырех, поискал глазами Гамилькара. Увидел его, улыбнулся и в знак приветствия поднял правую руку вверх.

Ему нечего было лицемерить. Он никогда не скрывал, что покровительствует молодому Барке. И не только потому, что когда-то крепко дружил с его покойным отцом.

Гамилькар ответил Гербаалу поклоном головы. Тот незамедлительно направился к нему.

— Рад тебя видеть, доблестный Гамилькар, — сказал Гербаал, приблизившись. — Прости, что не смог приехать вчера. К сожалению, предстоящие приготовления к празднику поглощают меня целиком. Но ты же знаешь — было бы что не так, я бы любое дело бросил не задумываясь и поскорее примчался к тебе.

— Нисколько не сомневаюсь в этом, уважаемый Гербаал. С самого детства я постоянно ощущал вашу отеческую заботу. Вы первый, к кому я могу в любое время дня и ночи обратиться за помощью и кому доверю как самому себе.

— Отец гордился бы тобой, Гамилькар.

Гербаал по-отечески приобнял Гамилькара за плечи.

— Ты все еще решительно настроен сражаться с римлянами, мой мальчик? Белшебек говорил, ты собрал вокруг себя славных ребят.

— Некоторые из них уже закалились в боях, а некоторых так и подмывает хоть сегодня погрузиться на корабли и отправиться на Сицилию, чтобы не на словах, а на деле доказать свою любовь к родине.

— Это хорошо, хорошо. Ты во многих вселяешь веру, и многие из нас, стариков-патриотов, верят в твои силы.

Гербаал на несколько секунд замолчал, словно обдумывая что-то, потом сказал:

— Переступишь порог храма, не робей и не удивляйся наивной пышности и мишуре окружающего. Некоторые выжившие из ума старцы Совета пытаются доказать остальному миру, что власть — это невидимая всемогущая сила, должна подавлять и сокрушать. Может, в какой-то мере они и правы, и непосвященным иногда надо напоминать о всемогуществе власти, однако, как мне кажется, не столь театральным образом. Впрочем, сам увидишь. Главное, будь самим собой. Тебя многие в Совете знают, как знали и твоего отца, который входил как в этот Совет, так и в одну из многочисленных пентархий¹. К тому же не забывай, что сейчас — в свете некоторого затишья военных действий, наши сторонники несколько приуныли. Может, ты расшевелишь их и при-

¹ Специальные коллегии из пяти человек, занимавшиеся различными ведомственными вопросами, в частности, назначением членов Совета 104-х. Они не зависели даже от народного собрания, их члены назначались путем кооптации и оставались на своем посту дольше любых других магистратов.

дашь им уверенности. В общем, желаю тебе удачи, — закончил Гербаал, заметив выходящего из храма распорядителя нынешнего заседания. Распорядитель остановился на верхней площадке и громко выкрикнул имя очередного заслушиваемого.

— Гамилькар, сын Ганнибала, Барка!

Члены Совета на ступенях и площадках стали возвращаться на свои места. Потянулся за ними и Гербаал.

К Гамилькару подошел Бостар и в свою очередь пожелал ему удачи.

Гамилькар поблагодарил старого генерала за внимание и поспешил к распорядителю: тот вводил претендента в зал заседаний и представлял Совету.

Когда Гамилькар проходил мимо Ганнона, тот, продолжая улыбаться своему собеседнику, тоже кивнул ему и тут же, не сводя с него глаз, нарочито громко произнес:

— А вот и наш будущий прославленный генерал. Приветствую тебя, Барка! Наслышан о твоих прежних ратных делах и о той сотне, которую ты, говорят, собрал у себя в Бизацене, чтобы сделать из них отряд бессмертных.

Гамилькар не мог не убедиться, что от властей и на краю ойкумены не спрячешься.

— Ну, мой отряд куда скромнее тех двадцати тысяч вооруженных до зубов рабов, которых выставил ваш знаменитый дед — Ганнон Великий для защиты государства от врагов, — парировал тут же Гамилькар. — Замечу, это была одна из тех заслуг, за которые он получил свое прославленное имя. Теперь это имя носят его потомки, но заслужили ли они его?

Ганнон будто и не услышал сарказма Гамилькара.

— Я думаю, достойное имя обязывает совершать достойные поступки.

— Или хотя бы не опорочить его.

Губы Ганнона растянулись в слащавой улыбке, но глаза нисколько не просветлели.

— А еще говорят, у тебя родился первенец и ты готов пожертвовать им ради нашего общего дела, ради родины, как требует этого всемогущий Баал-Хаммон...

Гамилькар не отвел взгляда, но в этот раз ничего и не ответил Ганнону. Его тут же бросило в жар, и он словно потерял дар речи.

Ему ли как первому аристократу не знать, что после высадки Регула в Ливии Совет старейшин возобновил *мблок* — древний ханаанский

обычай жертвоприношения детей. После победы над Агафоклом он зати́х лет на пятьдесят. Но затянувшаяся война с римлянами, постоянные неудачи на суше и на море, добавившийся ко всем несчастьям жестокий мор заставили вернуть обратно стародавний обычай, который ежегодно уносил жизни нескольких сотен невинных младенцев Карфагена, большая часть из которых принадлежала семьям аристократов.

Да, Баал-Хаммон приветствует подобные дары слабых созданий. Родители, которые даровали величайшему из богов своих чад, до конца жизни оставались на попечении государства и пользовались всенародным уважением, а самим принесенным в жертву Баал-Хаммон ниспосылал вечное блаженство в другом, потустороннем мире, — невысказанное счастье, которого люди не знают на земле. Но Гамилька́р совсем не готов к этому, даже против. Слишком долго он ждал сына и слишком любит его, чтобы отдать на съедение жертвенному огню. А потом, — в какие времена они живут? Весь окружающий мир давно отказался от этих жертвоприношений, даже варвары и те считают подобный ритуал архаичным, замшелым. Доколе карфагеняне будут оставаться столь безрассудными, чтобы швырять в зев медного быка лучшую свою часть, свою надежду, свое будущее?..

Гамилька́р ничего не ответил Ганнону, только кивнул и прошел дальше. Ноги его отяжелели, он был сражен. Через внутренний двор храма по длинному коридору из ярко горящих огней, мимо пустых жертвенников и мрачных бетиллов он двигался машинально, как соннамбула. Огни дико плясали на его побледневшем лице и словно издевались над ним.

Ганнон, напротив, был доволен собой и собственным успехом. В сущности, он зря, наверное, уколол молодого Барку, можно было быть и снисходительнее. Назначение Гамилька́ра, как считали все, было незавидным (редко кто из карфагенских полководцев умирал собственной смертью), а предстоящая задача и вовсе неисполнимая: сдержать натиск обезумевших от успехов завоеваний последних лет римлян на сегодняшний день вряд ли кому-нибудь удастся. Сицилию мы проиграли — бесспорно, ясно как светлый день. Сейчас Карфагену нужен только мир — крепкий, надежный, безопасный, пока еще он отделен от недругов широкой полосой мятежного и непредсказуемого Средиземного моря. Об этом Ганнон заведет речь позднее, станет только прочнее на ноги. Его, Ганнона Великого, давно знают во всех Советах и коллегиях не понаслышке. Но он не столь дерзок и недалновиден, чтобы открыто диктовать свою волю. Ливия и станет той площадкой, с которой он начнет свое триумфальное шествие на Картхадашт. Его идеи нашли

массу сторонников. Хватит бессмысленно растрачивать силы империи в войнах. Есть более разумный путь. Путь, по которому столетиями двигался Карфаген. Надо обособиться от всего окружающего мира, который несет Карфагену только разлад и нестабильность. У нас под боком целая Африка. Пусть римляне бредут на север, на запад или на восток к диким галлам или к своим ближайшим нерадивым соседям — эллинам; те вечно находятся в состоянии раздрая. Мы же двинемся в глубь нашего континента. Там нас ждут несметные запасы золота, железа и меди, благодатные просторы невозделанной земли, которые можно засеять зерном, засадить плодовыми деревьями, где можно собирать по два-три урожая в год. Уж в чем, в чем, а в сельском хозяйстве карфагеняне достаточно поднаторели за века, обошли даже кичливых египтян с их плодородным Нилом. А всякие Гамилькары с Бостарами пусть делают свое дело: охраняют границы империи от завистников и авантюристов, жадных до чужих успехов.

Губы Ганнона растянулись в довольной улыбке. Воображение живо рисовало живописные картины его будущей деятельности как управления и политика.

Он видел массу караванов, которые вереницей тянулись из глубины Африки с пшеницей и слоновой костью, золотом и рабами, видел наполненные лесом и металлом карфагенские склады, видел нумидийских царьков и ливийских муниципалов, которые склоняли перед ним головы. Он уже наслаждался будущим своим успехом, он давно мечтал возглавить грандиозные проекты на уровне не ниже государственных. И вот его мечты начинают сбываться, значит, он не ошибся, выбрал в своё время верный путь.

Член одной из пентархий, который рассказывал ему очередной анекдот о драке в Народной ассамблее, решил, что улыбка Ганнона относится к его рассказу и это добрый знак благосклонности к нему.

11

Ошеломленный намеком Ганнона, Гамилькар не помнил потом, как попал в огромный зал заседаний Совета, где также оказался окруженным огнями, скрывающими фигуры и лица членов Совета.

Распорядитель громко зачитывал по свитку длинную родословную кандидата, как в посвящении божеству на вотивной¹ стеле, одного за

¹ От латинского *votivus* – посвященный богам.

другим перечисляя всех известных по карфагенским анналам его предков.

«Они будто хоронят меня, а не назначают», — думал с едким раздражением Гамилькар.

Ему бы сейчас уловить хоть чей-то знакомый или сочувствующий взгляд, способный поддержать его, успокоить, но за полосой яркого пламени была одна зияющая беспросветная тьма, и вопросы, летящие оттуда, превращались в жгучие дротики, которые разили взволнованного Гамилькара в самое сердце. Нужно было поостыть, взять себя в руки, потому что от его настроения, силы духа зависела не только его судьба, но и судьба родных и близких, а может даже, и судьба самого Карфагена, родины. Каким-то шестым чувством он понимал, что, как бы торгошаи-олигархи ни кичились своей удалью, вопрос будущего страны был не в их ослабших руках.

Поймав себя на этой мысли и смешав ее с мыслью о сыне, Гамилькар собрался и стал твердым, как кремь, яростью стал подпитывать себя против тех, кто трусливо спрятал во мраке свое истинное лицо, против тех, кто своей бездарной деятельностью, принятием новых, затрагивающих только их интересы, законов довел страну до края пропасти. И против римлян, которые коварно развязали эту безумную войну, а до этого нагло подмяли под себя всю Италию.

Он стал отвечать на колкие и несурзные вопросы дерзко и жестко, словно позабыл о том, что накануне обещал Белшебеку быть насколько можно лояльным и уступчивым, не допускать горячности и открытого пренебрежения к отдельным, утратившим доверие народа, членам Совета.

Может, оно и к лучшему, что они скрылись за завесой пламени, не то Гамилькар сам бы сжег их своим презрением! Полоумные старцы не знают, что творят; рубят сук, на котором сидят; думают, что сыновья достойных людей плодятся как кролики!

Гамилькар распался сильнее и сильнее, напомнил членам Совета, что Карфаген не один раз сокрушал своих врагов греков, сиканов, ливийцев и прочих, доказывал, что многое на поле боя зачастую зависело непосредственно от полководцев, их умелого командования, их личной удачи и поддержки богов, приводил примеры, когда боги помогали

Карфагену и сам могучий Йам¹ беспощадно крушил флотилии их противников.

На удивление, такая непреднамеренная тактика Гамилькара в конечном итоге и решила дело. Переменили собственное мнение даже те, кто изначально был против кандидатуры молодого пылкого аристократа. В нем обнаружилось нечто такое, что смогло заразить своей энергией и их давно, казалось, остывшие сердца. Пусть попробует. Одним полководцем больше, одним меньше, найдутся и другие, если этот не справится. А если справится, они не будут в глазах народа выглядеть олухами, на все воля богов. Может, на самом деле боги покровительствуют ему, а это многое значит.

За утверждение Гамилькара проголосовало большинство. Однако его теперь меньше всего волновало решение Совета ста четырех. На ступенях храма он стал нетерпеливо дожидаться Гербаала, послав за ним храмового раба, и когда Гербаал появился вновь, чуть не накинулся на него с единственным вопросом: «Что будет с его сыном?»

Гербаалу достаточно было одного взгляда на Гамилькара, чтобы понять, чем так встревожен новоиспеченный адмирал. Но у него пока совсем другие сведения. Да, олигархи ратовали за *мóлок*, особенно на нем настаивал Бодмелькарт-тихий, но, как он знает, решение еще окончательно не принято. Может, ему, Гербаалу, не все известно? Очередные интриги партии земледельцев?

— Кто тебе сказал о церемонии?

— Сам Ганнон. Перед моим обсуждением он мне прямо заявил об этом.

— Ладно, давай, пока не будем распалиться и посыпать, как эллины, волосы пеплом. Я переговорю с влиятельными членами Советов, а утром обо всем расскажу тебе. Отправляйся пока к себе и зря не тревожься. Раз ты не хочешь смерти своего сына, значит, этого не хотят и боги.

Легко сказать! Темнее тучи покидал храм Эшмуна Гамилькар. Отмахнувшись от протянутых к нему для пожатия рук сторонников, быстро вскочил на коня, разгоряченно хлестнул его по крупу и понесся по улице словно ветер, шарахая в стороны бродячих псов и удивляя не отстающих от него ни на фут Бомилькара, Китиона и Нагида. Только у во-

¹ Финикийский бог моря и морской стихии, почитавшийся также в Карфагене. У греков ассоциировался с Посейдоном.

рот, отделяющих городские кварталы от Мегары, когда они чуть придержали коней, Китион осмелился спросить друга, что случилось.

— Тебя будто оса ужалила, Гамилькар. Что-то не так?

— А вы как думаете? — Гамилькар не скрывал недовольства. — Они хотят, чтобы ценой назначения на должность, которую уже все боятся, стала жизнь моего единственного сына! Они думают, его молодая, невинная кровь смоем их прегрешения!

Только теперь всем стала ясна причина вспышки Гамилькара, и они полностью поддержали его. Возмутило еще и то, что первыми спешили ужалить полководца не враги, а свои. И именно в преддверии новых, непредсказуемых для всех событий.

В Мегаре Гамилькар, однако, и вида не подал, что чем-то озабочен. И своим товарищам запретил об этом говорить — накрытый к пиршеству стол не должен омрачаться плохими вестями. Пусть его друзья и единомышленники пьют и веселятся в удовольствие, во здравие хозяина, назначенного на столь высокий пост. Гамилькар просто немного устал, был тяжелый день и несколько нервное заседание Совета, он ненадолго приляжет, а потом снова присоединится к ним.

— Да здравствует Гамилькар! — в который раз взорвалось в разгоряченной атмосфере и в одно мгновение разнеслось по всем углам цветущей усадьбы Гамилькара.

— Да здравствует Гамилькар! — взволнованно раздавалось со всех сторон, но Гамилькар у себя в кабинете с силой закрывал руками уши. Сейчас ради жизни единственного сына он готов был отказаться даже от столь желанной должности.

— Вина, принеси мне вина, Абимильк! — почти выкрикнул в отчаянии Гамилькар, зная, что управляющий находится за дверью и ждет его указаний.

Абимильк сразу понял, чего требовал Гамилькар.

— Принеси неразбавленного родосского, — бросил он одному из слуг и поспешил к Гамилькару на зов.

Увидев Абимилька с пустыми руками, Гамилькар еще больше помрачнел:

— Ты что, не слышал, сукин сын? Где мое вино?

— Одну минуту, хозяин.

Абимильк оставался спокоен — не впервой ему было наблюдать вспышку гнева хозяина. И правда, слуга не замешкался, минуты не прошло, как он появился за спиной Абимилька.

Управляющий взял у него сосуд с крепким, популярным ныне в Карфагене вином, и налил Гамилькару в серебряную чашу доверху. Знал, что хозяин не любил, когда в чаше оставались видимыми края.

Гамилькар выпил залпом.

— Добавь!

Гамилькар осушил еще одну чашу и, не поднимая головы, махнул управляющему вялой рукой в сторону выхода. Абимильк удалился. Гамилькар налил себе очередную порцию и снова выпил. Беспорядочные мысли, однако, никуда не делись. Они словно душили его. Что-то все-таки меняется в мире. И он не уверен, в лучшую ли сторону. Теперь не уверен.

Испокон веку ханаане лучшее из своего рода и племени всегда отдавали богам. Боги должны знать, что люди преданы им, люди чтят их, веруют в них, на них надеются. У людей в этом мире никого больше нет кроме богов. Боги создали человека, даровали ему жизнь, поэтому она всецело принадлежит богам. Так было, так есть и так должно быть. Просто и ясно. Из года в год, из века в век. Почему же он, Гамилькар, противится воле богов? Почему он готов нарушить извечный договор людей и богов? Н боится божьего гнева? Или перестал в них верить? Нисколько! Что человек без поддержки богов — легкая былинка на ветру. Только власть и ее клика узурпировали эту волю, оборвали эту вековечную связь, от имени богов стали распоряжаться жизнью людей. Справедливо ли это?

Гамилькар тяжело поднялся. Абимильк, как преданная собака, терпеливо ждал его за дверью.

— Что, все собрались? — Гамилькар все еще хмурился, теперь, скорее всего, от усталости и напряжения. — Пойдем к ним. Негоже хозяину оставлять своих гостей.

Абимильк не стал удивляться столь разительной перемене настроения хозяина, он давно привык к его странностям и взрывам эмоций. Еще минуту назад спокойный, как остывший вулкан, Гамилькар мог тут же разразиться жгучим пламенем.

— Пейте, ешьте, друзья мои! — Как ни в чем не бывало поднимал чашу за чашей Гамилькар за пиршественным столом. — Почему никто не пьет! Мы празднуем победу! Не этого ли мы ждали столько лет? Не к этому ли шли? Скоро мы надолго покинем благодатные берега родной земли, чтобы лицом к лицу встретиться с нашим непримиримым врагом — римлянами, и одним богам известно, кто выживет в этой жестокой бойне не на жизнь, а на смерть. Пейте сегодня, друзья мои, сколько хотите, ешьте вволю, потому что завтра нам, может быть, уже

не придется ни есть, ни пить! Где музыканты и сказители? Пусть сыграют и споют нам о том, как великий Балу сломил непримиримого Йамму, как грозная сестрица его Анат в долине на берегу моря сражалась против людей востока. Правильно ведь говорили древние:

*«Если нежданное горе внезапно душой овладеет,
Если кто сохнет, печалью терзаясь, то стоит ему лишь
Песню услышать служителя Муз, песнопевца, о славных
Подвигах древних людей, о блаженных богах олимпийских,
И забывает он тотчас о горе своем; о заботах
Больше не помнит»¹...*

Пейте, ешьте, друзья мои! Пусть благословенный Решеф принесет нам удачу!

Гамилькар, закончив, грузно сел. Китион слегка поддержал его за локоть.

— Ничего, ничего, мой друг, — похлопал Китиона по руке Гамилькар. — Я еще не сдался. Нас, Баркидов, просто так не возьмешь — не из того теста слеплены. Мы еще дадим о себе знать всему миру!

Гамилькар, пусть и молодой, но в его жилах течет кровь всех его предков. И он прежде всего патриот своей земли, поэтому ему больше по нраву песни старинные, песни–сказания. В них присутствовала какая-то особая прелесть, душевная боль, которую он остро воспринимал и, как казалось, хорошо понимал. Новые, со своей площадной бравурностью и легковесностью, его не привлекали.

Гамилькар налил себе еще одну чашу и жадно выпил.

— Где сказитель? Пусть начинает!

Сказителя долго упрашивать не пришлось. Он для того и приглашался на подобные пиры, чтобы древним словом своим — а поэмам, которые он читал наизусть или рассказывал нараспев, действительно была не одна сотня лет; чтобы словом древним своим, словно ножом масло, разрезать сердца слушающих и выпускать на волю их души.

Охваченная болью душа Гамилькара требовала сейчас истины, требовала ответов на вопросы, которые, казалось, может услышать только открытая богам душа. Богам, которые ведали обо всём в этом мире.

¹ Гесиод. «О происхождении богов («Теогония»)), перевод В.В. Вересаева.

Сказитель начал нараспев. Песнь потекла поначалу безмятежно, словно качаясь на тихих морских волнах. Отдельные фразы доносились до Гамилькара, но он был глух к их смыслу. Погруженный в раздумья, он будто и не слышал голоса сказителя. Но после повторенных неоднократно «горит огонь в доме, пламя во дворце», Гамилькар словно очнулся. Вот оно: «огонь в доме, пламя во дворце»! Пожар вокруг, а мы стоим как вкопанные и не знаем, что делать, не знаем, с чего начать? Чего ждем? Почему ничего не делаем? Где ты, грозная Анат? Где ты, всеильный Баал-Хаммон? Разящий молниями Решеф? Не пора ли вам спуститься на землю и помочь своим верным сыновьям спасти их дом, их пылающий дворец? Давно пора.

*«Поднимите, боги, головы ваши от колен ваших,
От тронов властительских ваших!»...*

12

Утром Гамилькар встал с тяжелой головой и первым делом спросил Абимилька, не было ли вестей от Верховного жреца. Услышав в ответ, что никто от Гербаала не появлялся, он тут же приказал послать одного из слуг в храм Баал-Хаммона, при котором жил Верховный жрец, чтобы выяснить у него причину столь долгого молчания.

— Да, и еще, — Абимильк на секунду задержался в дверях.

— Что?

— Явился раб из дома Бодмелькарта-тихого, говорит, что Ирхулина требует к себе отец. С тех пор, как вы вернулись, он, видно, дома совсем не появлялся.

— Я ему передам. Поспешу отправить слугу к Верховному жрецу.

— Хорошо, хозяин.

Абимильк вышел.

Еще этого не хватало! Гамилькар негодовал. Его ждала масса дел, с минуты на минуту могут появиться толстосумы, до обеда он должен нанести с пяток визитов к людям, от которых зависели будущие снабжение и поставки, формирование флота, рекрутский набор, а у него в голове сплошная каша. Бодмелькарт и так недоволен, что его сын водит дружбу не с теми людьми, с кем ему хотелось бы. Но разве Гамилькар в этом виноват? И все же против Бодмелькарта-тихого в нынешнем положении лучше не идти. За ним пока власть, а значит, и сила.

¹ Перевод И. Ш. Шифмана.

Гамилькар прошел в гостевые покои, постучал в дверь спальни, в которой располагался Китион-лидиец, позвал Ирхулина.

— Входи, Гамилькар, — услышал он из-за двери. Вошел. Ирхулин еще лежал в постели, но уже не спал. Китион поднялся, но ходил еще в коротком хитоне.

— Ирхулин, собирайся, — бросил сразу же Гамилькар, — отец прислал за тобой раба. Это как раз то, о чем мы с тобой не так давно говорили. Ты нас всех хочешь погубить. Живо одевайся и лети к отцу быстрее ветра. Упади на колени и умоляй, чтобы он тебя простил. За твое долгое отсутствие и за то, что ты, появившись в городе, не поспешил предстать перед ним. Нам сейчас не хватало только недовольства твоего отца! — сказал Гамилькар и быстро вышел, не принимая вохражений.

Ирхулин вспыхнул:

— Сколько можно! Своим надзором отец меня только в могилу сведет! Я разве не вправе сам распоряжаться своей жизнью?

Китион подсел к нему на кровать, мягко тронул за плечо и, снисходительно улыбаясь, сказал:

— Конечно, нет. И ты сам об этом прекрасно знаешь. И Гамилькар прав: он не первый раз тебе говорит о том, чтобы ты не будил в своем отце зверя. Нам не желательно в лице твоего отца приобрести противника. Последствия могут быть непредсказуемы.

Ирхулин резко стянул со своего плеча руку Китиона.

— Вы все только о политике и думаете! Это неудобно, с этим не заводишь, этого не трогай! А я, может, хочу быть самим собой, а не игрушкой в чужих руках. И в первую очередь в руках своего отца. Как вы все не понимаете этого!

— Не горячись. Я тебя прекрасно понимаю. Сам был таким в твоём возрасте, сам сорвался за тридцать земель вопреки отцовской воле. В этом мы с тобой похожи. Но все-таки послушай, пожалуйста, Гамилькар: поспеши к отцу. Он прав: нам сейчас неприятности ни к чему.

Китион с нежностью запустил руку в длинные волосы Ирхулина.

Гамилькар покоя себе не находил. Разве можно решать какие-либо дела, когда сердце твое объято пламенем?

Он снова разыскал Абимилька.

— Уехал слуга? — спросил взволнованно. — Ты кого послал?

— Ногара.

— Давно?

— Как только вы приказали.

— Вели приготовить коня и мне. Сам поеду. Дело не терпит отлагательств.

Через несколько минут Гамилькар во весь опор мчался через всю Мегару к Городу.

Легкий туман окутывал цветущие сады плодовых деревьев, мраморные колонны отдельных вилл в его мареве казались созданными из хрустала.

Ногара Гамилькар нагнал только у Северных ворот и сразу же отправил обратно.

К рынкам и торговым площадям города по узким улочкам со всех сторон неторопливо стекался груженный разной поклажей торговый люд, среди них было немало и рабочих с перекинутыми через плечи сумками с инструментом. Они, очевидно, двигались в квартал ремесленников, огромный район на южной окраине Города, который непосредственно примыкал к святилищу Тиннит. Но основная масса народа еще мирно дремала в своих домах, поэтому Гамилькару ничто не воспрепятствовало быстро добраться до храма Баал-Хаммона у западной границы центральной площади Карфагена.

Соскочив с коня и бросив поводья храмовому слуге, он поспешил к той стороне храма, где находились жилые и подсобные помещения его служителей. Первому попавшемуся под руку храмовому мальчику он назвал свое имя и приказал без промедления вызвать к нему либо управляющего, либо кого-нибудь из старших священнослужителей. Через несколько минут из дверей, ведущих во внутренний двор, с радостной улыбкой на усталом лице появился Белшебек.

Гамилькар удивленно спросил:

— Давно ли ты вернулся из провинции, мой друг?

— Буквально только что, но уже наслышан о твоём новом назначении. Почему ты здесь, а не отдыхаешь после вчерашнего в усадьбе?

Гамилькар в двух словах попытался рассказать о своей тревоге. Белшебек, внимательно выслушав, увлек друга за собой.

— Знаешь, когда на обсуждение Совета старейшин выносился вопрос о *мóлоке*, я даже не думал о твоих детях. Кто осмелится в нынешнем положении тебя тронуть? Но, говоришь, Ганнон все-таки обратил на это внимание? Чего же он добивается? На сегодняшний день на пост Главнокомандующего нашими силами на Сицилии лучшей кандидатуры, как мне кажется, и быть не может.

— Даже если бы я и узнал, чего таким образом добивается Ганнон, легче мне от этого не стало бы.

Белшебек согласился с ним. И все же поступок Ганнона насторожил его. Сейчас противники активной политики противостояния римлянам в меньшинстве, но что будет завтра, если римляне снова подступят к ливийским берегам и народ вдруг испугается? Народу ничего не стоит переменить свое мнение в одну минуту. Надо будет учесть и эту очевидную сторону и обстоятельнее обсудить ее с Гербаалом.

Верховный жрец давно не спал — он был не из тех людей, которые залеживаются после рассвета. Однако сегодня он поднялся с трудом и чувствовал себя совершенно разбитым. Не проходил монотонный шум в голове, давило сердце. Гербаал отнес это к своей вчерашней перепалке в Совете с противниками Баркидов. Сколько раз он упрекал себя не воспринимать всё так болезненно, но опять не прислушивался к внутреннему голосу и начинал твердо отстаивать свою позицию. Нет, он не горячился открыто, не метал громы и молнии на своих оппонентов, но внутренне был неспокоен, поэтому опять ощутил боль в сердце. Вдобавок замучил периодический кашель. Казалось, он вырывает все внутренности.

Когда Белшебек с Гамилькарком зашли к нему в опочивальню, на Гербаала как раз напал этот душераздирающий кашель.

Белшебек спросил Верховного жреца, не зайти ли ему позже, но Гербаал махнул рукой, мол, заходите.

Белшебек с Гамилькарком вошли. Гербаал, откашлявшись, извинился за свое состояние, а также за то, что не отправил к Гамилькарку раба вовремя, как обещал.

— Нужно было разобраться во всем до конца, — сказал он. — Я встретился с наиболее влиятельными членами Совета старейшин, и они подтвердили мне, что вопрос о жертвоприношении первенцев из-за тяжелого положения страны на самом деле выносился на обсуждение. И обсуждения были, надо сказать, нелегкими. В конце концов Совет заставил храмовых писцов еще раз внимательно просмотреть все уложения о проведении предстоящего ритуала, ведь, сам знаешь, боги не приветствуют какие-либо отступления. Я просмотрел копии их доклада. По ним выходит, что этот год вовсе неблагоприятен для проведения *мóлока*. Так что непонятно, почему Бодмелькарт-тихий и его сторонники так настаивали на ритуале, в каких интересах. С этим еще предстоит разобраться. Но в любом случае, за сына своего можешь не беспокоиться, не только он, но и никто из наших младенцев в этом году не попадает под категорию жертвенных. Да и было бы глупо, признаюсь честно, в нынешние нелегкие для нас времена бездумно уничтожать семена собственного рода.

Гербаал налил себе в чашу немного вина, выпил.

— Но, сам понимаешь, недовольство народа затянувшейся войной и нашими многочисленными потерями в Сицилии остается. Обещаниям все исправить больше не верят, но продолжают верить в покровительство богов, в то, что боги окончательно не отвернулись от нас. Поэтому значимая жертва все-таки нужна. И ею станет Марк Атилий Регул, чуть не поставивший Карфаген на колени. Совет посчитал, что казнь плененного римского консула умилюстит богов и уgomонит народ. Может, так оно и будет. Так что занимайся своими делами спокойно, и пусть мрачные мысли больше тебя не тревожат.

У Гамилькара словно камень с души свалился. Он крепко обнял своего наставника и в который раз как обычно поблагодарил за отеческую заботу.

Гербаал смущенно отнекался от похвалы и сразу же предложил обсудить вопросы о дальнейших действиях новоиспеченного военачальника. Гамилькар собрался — поостыв, он мог горы свернуть.

Дел впереди ждало немало, в первую очередь — связанные с финансированием предстоящей военной кампании. Гамилькару готовы были выделить кредиты храмы Баал-Хаммона, Решефа, Тиннит и Астарты. Белшебек станет связующей нитью между ними и Гамилькаром. Частные пожертвователи и заинтересованные в расширении своих рынков предприниматели свяжутся с Гамилькаром лично. Прямо от Гербаала Гамилькар отправится в Тунет к Хабибу, корабельщику из Тира, одному из самых толковых кораблестроителей на здешнем побережье, затем навестит Гордия. По части набора наемников равных ему нет, он хоть и в годах, но дело свое знает, нюхом чувствует бравого вояку (легендарного Ксантиппу, кстати, в свое время он отыскал). А вечером обязательно заскочит к своему соседу Сиппару, богатому карфагенскому купцу, крупнейшему поставщику рыбы на всем ливийском побережье.

— Стоит только тебе надеть пурпурный плащ¹, как все нужные люди тут же окажутся у дверей твоего дома, — не без усмешки заметил Белшебек.

— Если бы все было так просто, — с некоторой грустью в голосе сказал Гамилькар, попрощался со жрецами и быстро вышел из покоев Верховного жреца Баал-Хаммона.

Гербаал задумчиво проводил Гамилькара взглядом.

¹ В Карфагене, как знак отличия, только полководцы имели право носить пурпурный плащ.

— Все-таки Ганнон не удержался, чтобы не уколоть нас, двуличная химера. Его покровители готовы продать хоть собственную мать, лишь бы только их не тревожили. Для них война весьма разорительное мероприятие, в котором они могут потерять всё: власть, богатство, жизнь. Но от римлян так легко, как от назойливой мухи, не отмахнешься. Поэтому сторонники Бодмелькарта-тихого пойдут на любые уступки, чтобы сохранить равновесие сил, даже дадут средств на новую кампанию. Однако все это так явно шито белыми нитками, что просто противно. Не сомневаюсь, они отступятся от Гамилькара, чтобы угодить недовольной их нынешним правлением толпе, но, чувствую, только на время. От этой протеевской¹ клики можно ожидать чего угодно.

— Полностью с вами согласен, рабе², — сказал внимательно слушающий его Белшебек.

Гербаал снова надрывно закашлялся.

— С вами всё в порядке, рабе? — обеспокоенно спросил Белшебек.

— Сейчас пройдет. Ничего страшного, — сказал Верховный жрец. — Но, думаю, надо тебе уже глубже вникать в дела общины. Я уже стар, мне, может, осталось недолго, а ты, как один из моих лучших учеников, считаю, способен после моей смерти возглавить общину.

— Но рабе...

— Не говори ничего — неизбежное ни словом, ни мыслью остановить невозможно. Думаю, настал час ввести тебя в святая святых. Кликни, пожалуйста, раба, пусть позовет зрителя, а мы с тобой потихоньку пойдем к храму и по дороге обсудим еще кой-какие вопросы.

13

Солнце только поднялось над высокой зубчатой восточной стеной храма Баал-Хаммона, но внутри храмовой ограды было душно. Открытая замощенная плитами площадь, способная вместить несколько десятков тысяч человек, за день прогревается так, что к вечеру начинает

¹ В греческой мифологии Протей – морское божество, сын Посейдона, способный превращаться в разных существ, а также в огонь, воду и дерево.

² Титул раб (Rb) в пуническом мире, в отличие от обыкновенного раба ('bd), означал «глава, руководитель». Например, Верховный жрец (Rb Khhm), главнокомандующий армией (Rb Mhnt) и др. Имелась также иерархия рабов по категориям – своеобразный карфагенский табель о рангах.

парить, преломляя громадные бетилы, искривляя статуи богов вдоль стен.

Может, это и странно, но Белшебеку нравилась именно такая — безлюдная — площадь храма, когда из-за высоких стен сюда не долетает городской гул, и душа остается один на один с богом.

В храм Гербаал с Белшебеком вошли не через центральные массивные золотые ворота, а через боковые двери, куда входят обычно только служащие храма. Через сеть различных, слабо освещенных масляными лампами коридоров они попали в главный зал, где в тени пылающих на треножниках костров на высоком — с широкими ступенями — возвышении величественно восседал на троне, который охраняли керубы¹, божественный Баал-Хаммон.

Статуя его была так велика и грандиозна, что подавляла. Рассеянный свет с верхних — под потолком — открытых оконных проемов едва освещал ее, придавая величайшему из небожителей более суровый вид. Но какими еще могут быть боги, как не величественными и грозными! Сколько раз Белшебек, приближаясь к основанию его постамента и вскидывая взгляд на бородатого громовержца, ощущал, как трепещет его грудь и слабнут колени. Тогда он падал ниц и ждал, когда успокоится сердце и грозный бог начнет с ним говорить. Но старый упрямец молчал и ни разу не ответил на мучающие Белшебека изо дня в день вопросы: что будет с ними дальше, почему боги отвернулись от них? — не доверял или считал, что еще рано открыть грядущее? Может, Белшебек его чем-то обидел? Уж, кажется, такого истового служителя, как он, Баал мог бы удостоить своей особой милостью, хотя бы дать знак, что он его слышит.

Гербаал неторопливо поднялся по ступеням, обошел трон Баала, снял один из потухших факелов со стены, зажег его от огня на треножнике, приблизился к задней стене храма. Справа от центра на уровне груди сдвинул какой-то камень, и внутрь открылась дверь, о существовании которой Белшебек и знать ничего не знал. Сокровищница храма находилась под постаментом, но куда вела эта дверь? Почему Гербаал раньше никогда не рассказывал ему о ней? Он сказал «святая-святых» — значит, тут было нечто значимее, чем хранящееся в сокровищнице?

— Не удивляйся, мой мальчик, — сказал Гербаал, пропустив Белшебека внутрь и плотно прикрыв за собою дверь. — Именно здесь собра-

¹ Керуб — фантастическое существо с телом льва, человеческой головой и крыльями.

ны настоящие сокровища, древние реликвии почти всех богов, которые существуют на свете. Мы ведь не зря едим свой хлеб, с помощью этих реликвий помогая государству держаться на плаву столетьями.

Они спустились по ступеням вниз.

— Подожди немного.

Гербаал прошел вперед, где стал один за другим разжигать масло и угли в треножниках. Постепенно помещение начало наполняться светом, и в обрамлении высоких колонн, перед ними открылась огромная, набитая различным скарбом зала. Чего тут только не было: золотые, серебряные и нефритовые чаши, кубки, котлы и гидрии, тонкой работы золотые и серебряные рельефы, освященные мечи, копья, щиты, панцири и шлемы, богатые ткани и ковры, чрезвычайно древняя редкой художественной работы бронзовая статуя Дианы из Сегесты, статуя Меркурия из Тиндарида, из Агригента — статуя Аполлона, на бедре которого мелкими серебряными буквами было начеркано имя Мирона, и другие уникальные древности. А в центре на небольшом возвышении — медный пологий бык, изготовленный Перилаем для тщеславного тирана Агригента Фаларида.

— Эта сокровищница собиралась столетьями, — сказал Гербаал, — по крупинкам, со всех сторон света, с далеких и близких краев ойкумены. Здесь хранятся реликвии древних богов Ханаана из Библа, Тира и Сидона, сокровища сицилийских греков, сардов, тартесситов и иберийцев. Ты понимаешь, чего они стоят, и как важно их сохранить. Я пользуюсь ими только в минуты великих бед или крайней опасности для страны, и то, скрывая их от посторонних глаз среди вороха обыденных поделок и вещей, чтобы не привлекать к ним особого внимания. Только я знаю (а теперь будешь знать и ты), сколь ценные дары богов или созданные для почитания богов дары участвуют в ритуале. Теперь тебе их оберегать, тебе беречь их тайну — я слишком стар стал для этого.

Белшебек глаз не мог оторвать от сокровищницы. Некоторые предметы были покрыты слоем пыли, некоторые потеряли свой первоначальный цвет, покрылись патиной, ржой, обветшали. Казалось, только тронь их, они тут же развалятся на куски, рассыплются в прах. Но так только казалось — прикасаясь к ним, Белшебек словно чувствовал их тепло, энергию, их непостижимую внутреннюю нетленность, как будто внутри них скрывалась от людских глаз какая-то частичка божьей ипостаси, позволяющая оставаться этим атрибутам нетленными.

Завороженный увиденным, Белшебек даже не заметил, как Гербаал оставил его, он бродил между рядами выставленных артефактов и не верил глазам своим. Некоторые из предметов считались утерянными,

некоторые давно забытыми, упоминания о которых когда-то попадались на глаза Белшебеку в манускриптах, но уже даже старцы не могли определить их назначение. Может, ему боги откроют свои утерянные людьми тайны; откроют именно сейчас, когда, как кажется Белшебеку, грядут коренные изменения не только в мире, но и в душах людей. Какие, он пока еще не понимает, но что они уже начали происходить, было для него несомненно.

14

Не тратя попусту время, Гамилькар отправился на загородные верфи на берегу Тунисского озера. Однако в районе гончарных мастерских, что занимали почти весь юго-восток города за тофетом¹ Тиннит, он, сам того не ожидая, наткнулся на Сиппара.

Купец проживал по соседству с Гамилькаром в Мегаре, в усадьбе, купленной им лет десять тому назад у одного разорившегося карфагенского аристократа.

Любитель роскоши и блеска, чужак-человек, до своего обогащения он ходил по Картхадашту босиком в сопровождении раба, который нес за ним его обувь. Прежний родовой дом мота Сиппар намного расширил, облицевал мрамором, разбил позади него обширный сад с экзотическими деревьями и цветами, а года два тому назад в саду — со стороны поместья Гамилькара — устроил по тогдашней моде «выбившихся людей» скромный зверинец с ягуарами и страусами, шимпанзе и павлинами, элегантною парой жирафов и несколькими зебрами. По сравнению с общественным, который раскинулся неподалеку от центральной площади Картхадашта, позади храма Аполлона, зверинец Сиппара был небольшой но весьма оригинальный. Это было одно из его последних страстных увлечений, на которое он не жалел ни времени, ни средств. Рев хищников, частая дробь клювов аистов или гортанные звуки перекликающихся между собой шимпанзе нисколько не раздражали его. Сиппар наслаждался этими звуками — звуками живой природы, звуками дремучих лесов и просторных саванн. Но более всего его радовала пара бесподобных павлинов, которых он выписал из далекой экзотической страны на краю света и которые теперь церемонно разгуливали вокруг его увитой густым плющом беседки (в нее он обычно велел подавать себе обед или ужин, когда не находился в плавании). Грациоз-

¹ Некрополь и святилище в одном лице. Тофет Тиннит – современный тофет Саламбо.

ность их поступи, атласный блеск изумрудных перьев приводили его в неопиcуемый восторг. Он мог часами любоваться дивными птицами. Павлины были его особой гордостью и радостью. Однако Сиппар не был бы Сиппаром, если бы вел замкнутый образ жизни. Это был, как говорится, «душа-человек», двери дома которого были гостеприимно открыты всякому добропорядочному гражданину. А уж соседу и подавно.

Маленькая Ашерат, когда семья Барки останавливалась на время в Мегаре, почти каждый день проводила в саду Сиппара, в тени акаций и жасмина, любясь невиданными прежде животными. Но ей больше приглянулись аисты. Что-то внутри нее просто екнуло, когда она впервые увидела их, замерших на одной ноге, словно статуи (задумчивых, как ей показалось на первый взгляд, и величественных), — и «узнала». Это оказались загадочные птицы из ее детских снов — она была просто уверена в этом, — снов невероятных, теплых, добрых.

Обстановка в доме Сиппара была не только более роскошной, чем в доме Гамилькара, но и более «стильной», хотя тоже в греческой манере, с несметным количеством мраморных статуй атлетов и нимф, старинных этрусских ваз, египетских скарабеев с именами давно забытых фараонов. Правда, все это было чересчур обильно, перенасыщено и разнородно — явно сказывалось низкое происхождение Сиппара и его любительство. Хотя по поводу низкого происхождения никто, однако, из «выбившихся» никогда не переживал — предприимчивым людям в Карфагене испокон веку были широко открыты все дороги.

Сын артельного рыбака, Сиппар купил на последние родительские шекели небольшую барку и в скором времени занял свою нишу на карфагенском рынке. Поначалу торговал соленой рыбой и осьминогами, а затем, разбогатев, стал снаряжать вместительные галеры в Эгузу¹, а позже и в Атлантику за тунцом, окупая все вложенные в морские экспедиции средства.

Рыба в городе шла нарасхват, особенно *батáрга* — вяленый тунец. В дополнение в считанные дни расходилась полная триера соленостей из Иберии (даже в самой середине лета продажа соленой рыбы ничуть не снижалась).

Удачливый купец прославился в Карфагене своей порядочностью и вскоре стал исключительным поставщиком морских продуктов во многие аристократические семьи, в том числе и семью Гамилькара. И хотя

¹ Один из Эгадских островов возле Сицилии.

он всегда был патриотично настроен, теперь его убеждения укрепились вдвойне, так как нынешняя война перекрыла ему многие торговые пути, лишив немалых барышей. Но было бы неверным делом заинтересованность купца прожектами Гамилькара считать одну меркантильность. Сиппар готов был выделить любую сумму из своего кармана человеку стоящему, уверенному в своих действиях.

Впрочем, Гамилькар никогда не рисовал перед толстосумом радужных картин (да тот, надо заметить, по старой дружбе не больно и рассчитывал на какую-то невероятную прибыль). Где ловкий делец хотел получить выгоду, Гамилькар обещал ему выгоду, но исключительно по завершении сицилийского похода. Ему не отказывали те, кто в свое время удачно вложили деньги в кампанию войны, получали доходы с торговли захваченными в плен противниками или имуществом противной стороны.

Гамилькар был уверен, что сможет вернуть все сторицей и даже с процентами. Об этом он и хотел еще раз переговорить с Сиппаром вечером. Но вот как получилось. На ловца, как говорится, и зверь бежит: Сиппар сам попался ему на глаза раньше времени. Приехал заказать небольшую партию амфор из местной глины, которую добывали на севере полуострова, что делало амфоры гораздо дешевле привезенных из Греции и Иберии, но в одной из лавок увидел деревянный ларец, обшитый декоративной панелью из слоновой кости, на которой талантливый резчик изобразил азартную охоту на дикого кабана. Крышку ларца венчал сам кабан, массивный, разъяренный — шерсть дыбом, — готовый в любую минуту ринуться на охотника.

Заядлый коллекционер, Сиппар просто не мог пройти мимо такой жемчужины! Только вопрос: почему такие заоблачные цены? Никто не спорит — работа выполнена мастерски, но это не этрусская филигрань и не александрийская уникальная резьба.

Сиппар всем своим дородным «авторитетом» налегал на продавца. Так громко и жарко торговаться с собратьями мог только он.

Гамилькар чуть не рассмеялся.

Слуга Сиппара оперся плечом о дверь мастерской и явно скучал — ему это было не внове.

— Рад тебя видеть, сосед, — поприветствовал Гамилькара Сиппар. — Через минуту я освобожусь, подожди меня, если не спешишь. А ты, дорогой, — обернулся он вновь к продавцу, — подумай еще раз и ответь уже, наконец, честно и прямо в присутствии моего друга — командующего всем карфагенским флотом: не слишком ли ты задрал цену?

Сиппар, как сборщик налогов при исполнении, сурово сдвинул брови. Продавец с опаской покосился в сторону Гамилькара. Сиппар не врал: всадник явно был не из простых смертных.

— Ладно, уступлю тебе еще десять процентов, но большего не про-
си.

— По рукам.

Сиппар вытащил из-за пояса шитый золотом кошелек, вынул из него несколько серебряных монет и сунул их в руку продавцу. Ларец быстро переключался в руки Сиппара, а затем его слуги. Сиппар был рад-радехонек: покупка удачная, подобного ларца во всем средиземноморье не встретишь. У хозяина, видно, появился хороший мастер. И, судя по рисунку, скорее всего не из местных.

— Как дела, сосед? Наслышан о твоём назначении.

Гамилькар спустился с лошади.

— Я вчера и тебе посылал приглашение, разве ты не получил?

— Вчера? — Сиппар нахмуренно покосился на своего слугу, но тот будто и не слышал ничего. — Вчера меня, к сожалению, не было в городе. Вернулся только сегодня утром. Дела понимаешь...

— И я о том же. После праздника выступаем. Хотел предложить тебе заняться снабжением провианта и сбытом всего, что достанется нам от неприятеля.

— Звучит заманчиво. Подумать будет срок?

Гамилькар удивленно посмотрел на соседа.

— Я знал, что ты чудака-человек, но отказываться от таких возможностей... Разве ты не торговец до мозга костей?

— Торговец, но не барышник. Я всегда тебе говорил: для меня торговля, что забава для ребенка. Меньше всего меня интересует прибыль. И еще: уволь меня от торговли людьми. Это мое правило. Вслед за тобой и так потянется масса барыг побойчее и беспринципнее, готовая продать вполцены даже ближайших родственников.

На это Гамилькару возразить было нечего.

Сиппар еще раз подтвердил свое обещание внести посильную лепту в его поход. По собственной инициативе он также привлек нескольких давних своих партнеров из Карфагена и Утики. Было еще двое из Асписа, купеческая корпорация из Гадрумета, трое из Гиппона Царского¹. Последние сами выразили желание поделиться с Гамилькаром частью своего тугого кошелька в случае назначения его адмиралом, они

¹ Нынешняя Бизерта.

были даже более заинтересованы во вложениях в Гамилькара, так как уже владели ситуацией и не понаслышке знали о ближайших перемещениях вверху от своих доверенных старейшин при Совете.

Гамилькар и не рассчитывал на такую удачу. Разговор с Сиппаром воодушевил его еще больше.

Хабиба-корабельщика, к которому, собственно, в первую очередь и направлялся Гамилькар, он разыскал легко. В последнее время верфи были не так сильно загружены, как год или два назад, — сказывалась нехватка финансов. И хотя здешние склады еще оставались заполнены заготовленными ранее досками, брусом и балками, пригодными для шпангоутов, мачт и штевней¹, — новых поступлений в ближайшее время пока не предвиделось.

— Ну что я сделаю из этого, — сетовал Хабиб, двигаясь от одного складского стеллажа к другому, сверяя списки заготовок с выжженной на них маркировкой. — Если соберу с десятков пентер², и то будет хорошо.

Начальник склада, давно привык к старческому бурчанию мастера и словно не слышал его недовольного тона. Он шел рядом с отстраненным видом, почесывал пальцами бороду на щеке или теребил серебряное кольцо в правом ухе, иногда пожимал плечами, мол, «а я здесь причем?»

Гамилькар не торопил корабельщика. Ему надо было точно узнать, какими возможностями тот располагает и выяснить, за какое время необходимый ему флот будет подготовлен. Тем более, денег ему пообещали.

Хабиб, узолицый скуластый тирянин, худой и почти высохший, заметно отличался от полного, круглолицего начальника склада. «Может, поэтому они и не находят общий язык?» — думал про себя Гамилькар. Он забавлялся представшей перед ним картиной. Но вот на чело Хабиба напозла тень. Тот остановился у стеллажа с квадратным в поперечнике дубовым брусом. В торце одного из них явно наметилась трещина, которая впоследствии под большой нагрузкой грозила расползтись.

— Ну и куда ты смотрел, безмозглая башка! — набросился на кладовщика Хабиб. — Как принимал явный брак?

¹ Штевень – прочный брус, устанавливаемый в носовой и кормовой оконечностях корабля.

² Пятипалубные боевые корабли.

Кладощик виновато пожал плечами, однако особого расстройства на его лице не проявилось.

Хабиб еще раз развернул свиток, который принес Гамилькар.

— На берегу двадцать готовых триер и десяток пентер, хоть сейчас забирайте. Еще можем собрать не больше десятка пентер из того, что есть на складе. Сами понимаете, война на море обходиться нам недешево. К тому же из-за войны мы потеряли огромные пошлины — торговцы теперь боятся ходить мимо нас, опасаются попасть в очередную военную переделку. Да и римляне в последнее время не больно жалуют торговые корабли, захватывают их, как настоящие пираты.

Гамилькар согласился с ним. Но и тот в свою очередь должен понять, что адмиралу без флота на море делать нечего.

— Я-то понимаю, — сокрушался сочувственно корабельщик, — понимали бы те, которые направляют вас сюда, совершенно не зная, чем мы располагаем. Но вам как главнокомандующему, мне кажется, важнее сейчас добраться до Сицилии, а там весь имеющийся флот будет полностью в вашем распоряжении.

Гамилькар уже думал об этом. Лилибей и Дрепаны после разгрома Адарбалом римского флота располагали немалым количеством кораблей, как своих, так и захваченных римских, хотя Адарбал и отсылал часть захваченных кораблей в Карфаген. Благодаря удачливости сумел избежать бури и другой карфагенский адмирал — Карталон. Его флотилию также можно будет использовать при надобности...

— Мне бы еще с десятка гаул¹.

— Гаулы вы без особых проблем можете нанять прямо с командой в любом порту. Рисковых малых у нас — пруд пруди. Слыхали про Ганнибала Родосца? Вот безмозглый, но отчаянный малый, — прорвался же через римский кордон!

Про подвиги этого знатного карфагенянина года два назад гудел весь Карфаген. Соорудив за свой счет корабль, он вызвался проникнуть к осажденным в Лилибей и доставить им продовольствие и вести.

Отлично зная все отмели в гавани, ему удавалось не один раз отставать с носом патрулировавшие у входа в гавань корабли противника. Однако вскоре все закончилось плачевно, римлянам в конечном итоге удалось настичь его триеру и взять ее на бордаж.

— Прорваться — прорвался, — вздохнул Гамилькар, — но затем угодил-таки в плен, когда за него крепко взялись.

¹ Небольшие рейсовые корабли для подвоза продовольствия.

— Я потому и говорю, что безмозглый.

Хабиб с Гамилькаром вышли из огромного склада. Вокруг на берегу озера возвышались остовы недостроенных кораблей, над которыми колдовали мастеровые, состыковывая «нун» и «мэм», «самех» и «сан»¹. В стороне несколько подмастерий промазывали снаружи пазы обшивки, чуть далее красильщики покрывали готовые корабли цветной краской², рисовали на носу по бокам «всевидящее око» — древний финикийский морской оберег. Насколько хватало обзора — всюду виднелись заповоленные гавани озера корабли, как военные, так и торговые, которые разгружались или загружались товарами. Кое-где на разведенных на берегу кострах готовили в котлах еду. Запах рыбного супа стелился вдоль побережья.

— Я часто смотрю на это обилие кораблей в одном месте, и иногда ужасаюсь: не опрометчиво ли мы поступаем, согнав сюда такое количество флота? А если найдется новый Регул, который не только перекроет все выходы из озера, но и уничтожит наши легкодоступные верфи? Вы не думали об этом?

Гамилькар как-то об этом не задумывался. Картхадашт имел на своем побережье немало других гаваней севернее и южнее. Правда, не везде имелись помещения и площадки для сборки, только здесь, на берегу Тунисского озера, да небольшая верфь за городской стеной внутри города неподалеку от святилища Тиннит. Впрочем, прорытый оттуда в озеро судоходный канал для прохода выстроенных кораблей также можно было при желании без особых усилий перекрыть.

— Я понимаю, столетиями мы беспечно жили одной торговлей, не опасаясь, что на нашу землю ступит нога захватчика. Но в нынешних обстоятельствах стоило бы подумать, наконец, о верфях, скрытых от вражеского взгляда. Вы не согласны со мной?

Гамилькар находил зерна истины в словах опытного корабельщика, удивился только, почему тот раньше никому об этом не говорил. Правительство наверняка заинтересовалось бы дельным предложением. Однако Хабиб вынужден был разочаровать адмирала: не первый год он

¹ Буквы финикийского алфавита. Кораблестроение у финикийцев издавна было поставлено на поток, все заготовки были маркированы буквами для удобства сборки.

² Каждый корабль имел свою окраску, так же, как и свое имя, и своего божка-покровителя.

толкует о таком масштабном проекте, но его никто и слушать не желает.

— Я думал, хоть война расшевелит наших старцев, но им или денег жалко, или вообще ничего уже не хочется, — понять не могу.

Гамилькар тоже вот так, с маху, ответить на вопрос корабельщика ничего не мог. Но был согласен с ним, что крупная верфь, скрытая от посторонних глаз внутри городских стен, Городу не помешала бы. На том свой разговор они и закончили, Гамилькару предстояло посетить сегодня немало других мест и встретиться еще с добрым десятком человек: старейшинами, оружейниками, портными, начальниками рекрутских контор, руководителями различных коллегий, от которых зависели многие вопросы организации снабжения и финансирования.

Всю неделю пурпурный плащ новоиспеченного полководца мелькал то в здании Совета, то на форуме, то на оживленных рынках возле городских ворот, то в каком-нибудь храме; замечали его в ремесленном квартале и в городских казармах, обустроенных внутри крепостных стен. И хотя большую часть времени Гамилькар проводил на лошади, к концу дня буквально валился с ног. Посетители, которые надеялись вечером застать его дома, уже задумывались: а сможет ли Гамилькар их принять и побеседовать с ними. Но Гамилькар уделял внимание всем пришедшим и заканчивал дела, только когда фигура последнего из них полностью растворялась в ночи. Времени до отправления в поход оставалось не так уж и много. К концу месяца, на который в этом году приходилось празднование поминовения Адониса, он должен был во что бы то ни стало подготовить флот и успешно выйти в море. Дальше тянуть некуда. Из достоверных источников стало известно, что римляне возобновили союз с Гиероном Сиракузским и готовятся к новому неожиданному удару по карфагенянам на суше. Если Гамилькар сумеет противопоставить им свежую добротную армию, можно будет надеяться на первых порах в сложившейся ситуации сохранить хотя бы то, что осталось: Лилибей и Дрепаны. Гамилькар остро осознавал это. Промедление было смерти подобно.

Для пополнения своего войска Гамилькар отправил также в разные концы Средиземноморья вербовщиков для набора наемников. Нагид сам вызвался съездить в Нумидию и собрать под свое крыло нумидийских наездников — без крепкой боевой кавалерии в нынешние времена победить врага нечего было и надеяться. Только последний глупец мог не понимать этого.

Ирхулин домой явно не спешил, все искал предлога, чтобы не возвращаться под отчий кров. А узнав, что Гамилькар отправился в город, и вовсе забыл о его наказе, делал все, чтобы как можно дольше оттянуть время: завтракал неторопливо, пытал всех, кто попадался на глаза, не собираются ли они куда по делам и не мог бы он составить им компанию.

Китион удивленно смотрел на товарища и спрашивал:

— Ты совсем к отцу не собираешься?

— Собираюсь, — вспыхивал Ирхулин и уходил куда-нибудь в сад, чтобы никто к нему не приставал. Но Китион и там его находил, и снова напоминал о требовании отца.

Только когда солнце высоко поднялось над горизонтом, Ирхулин скрипя сердце покинул поместье Гамилькара.

Знакомый с малых лет привратник встретил его с такой серьезностью, как будто сам был отцом. Но промолчал. Сказал бы что-нибудь, Ирхулин припомнил бы и то, как он в детстве запрещал ему взбираться на стену, что ограждала их поместье, и то, как однажды долго не впускал во двор, потому что была ночь, и он спал.

Иное дело орава домашних собак. С громким лаем и повизгиванием она выскочила ему навстречу. Еще бы: это были первые его друзья по играм еще в ту пору, когда деревья были большие.

Садовник тоже был рад Ирхулину, спросил, где он так долго пропадал, видел ли его отец.

«А матушка-то как будет счастлива», — не раз повторил подслеповатый старик, провожая Ирхулина до самого порога.

Управляющий Тошат сказал, что отец сейчас в трапезной. Не хочет ли молодой хозяин присоединиться к нему?

Ирхулин направился в триклиний. Еще за пределами отеческой усадьбы, в кругу друзей или за городом он мог себе позволить нарушить установленные в семье правила. Но здесь какая-то невидимая сила словно обезволила его. Нерушимая власть отца? Привычка? Образ жизни? Ирхулин не понимал, но только миновал встроенные в портик с колоннами ворота поместья, снова почувствовал себя ничем, пылью под ногами отца, главы семейства, главы клана. Даже младший брат, шестилеток, который кинулся обнимать его за ноги, не смог приглушить отвратительного ощущения.

— Что ты все время ко мне липнешь, иди к нянькам! — Ирхулин резко оторвал от себя брата. Тот побрел в сторону, надув губы и понурив плечи.

За обильно накрытым столом, в домашнем платье, склонил над тарелкой большую лысую голову с глубоко посаженными глазами отец. Он полулежал. Один. Жадно чавкал, обгладывая небольшую ножку дичи. Может, это была утка, может, черный скворец. Отец всегда любил поесть всласть.

По левую руку от него стоял высокий нубиец с тазом воды для полоскания рук, по правую — распорядитель, который ждал очередного указания, позади распорядителя еще целая свора рабов и рабынь в безмолвном ожидании.

Увидев в дверях старшего сына, Бодмелькарт-тихий даже бровью не повел, все продолжал уплетать сочную ножку, как будто перед ним не сын находился, а стена.

Прошла не одна минута, прежде чем закончилось раздражающее Ирхулина чавканье.

— Позволишь, отец? — Ирхулин покорно склонил голову.

Бодмелькарт и тут не проронил ни слова, бросил кость лежащему неподалеку вальяжному, казалось, *молоссу*, вытер руки лепешкой, кинул ее туда же, потом только обратился к сыну:

— Мне сказали, ты пропал за городом в каком-то лагере. В войну играл?

— Нет, отец, — только что и выдавил Ирхулин, хотя по дороге к усадьбе заготовил целый ворох ответов на все возможные вопросы. Языка его лишил именно вопрос о лагере. Откуда отец узнал о нем? Неужели в стане Гамилькара тоже есть его соглядатаи? Выходит, не так уж и лжива черная молва, что незримой тенью бродила по Карфагену, про отца — всеильного и всевидящего Бодмелькарта-тихого?

— Будешь есть или тебя с утра покормили походной стряпней?

Бодмелькарт потянулся к золотому кубку с вином, немного пригубил.

— Не спрашиваю даже, что ты делал в лагере — сам потом расскажешь. Не пойму только: чего ты хочешь? — Бодмелькарт посмотрел на сына из-под густых бровей.

— Я хочу защищать родину, — наконец-то осмелился сказать Ирхулин.

Бодмелькарт хмыкнул.

— Я думаю, мы хотим одного и того же, сын. Но родину можно защищать не только в Сицилии с мечом в руке. На материке тоже найдется немало дел для защитников отечества. Когда ты поймешь это, думаю, изменишь отношение ко всем, кто остался здесь. И ко мне в том числе. В тебе играет юношеская кровь, ты еще не вышел из детства, я

понимаю. Но я хотел бы, чтобы ты уже сейчас начал вникать в дела страны, потому что только таким, как мы, дано управлять этой страной. И управлять с умом.

— Я тебя понял, отец. И так оно, наверное, и будет потом. Я стану одним из тех, покрытых пылью и паутиной членов Совета, которые поведут наш корабль дальше, но сейчас я хотел бы просто защищать родину, лицом к лицу встретиться с врагом. Ты не можешь мне этого запретить.

— Ты прав лишь в том, что будущему суффету или члену Совета не помешает навык ведения боевых действий. Не прав в том, что выбрал не ту сторону, что якшаешься с кем ни попадя, бросаешь тень не столько на себя, но и на семью, на честь всего нашего древнего и всеми почитаемого рода. Я закончил. Теперь ступай к матери — она тебя давно заждалась, только вымойся сперва — от тебя за милю несет солдатней. И постригись — что за патлы, как у спартанца? Давно у вас, молодых, мода на чужеземные прически? Когда начнете жить своим умом? Иди, ко мне сейчас должны прийти люди из Совета, — Бодмелькарт небрежно махнул Ирхулину правой кистью и ею же потянулся за жареной рыбой. Положив рыбу перед собой, он громко крикнул управляющему:

— Тошаб, вели Фидее и Заире приготовить ванну — мой сын вымоется после дороги!

Последняя фраза отца еще сильнее резанула Ирхулина. Он думал, уедет на пару месяцев из дома, отец поменяет отношение к нему, поймет, что сын давно стал достаточно взрослым, и его нельзя больше считать сопливым юнцом, который только и знает с утра до ночи гонять с друзьями в салки по городу. Но совсем ничего не изменилось. Ничего. Ни-че-гошеньки!

Ирхулин с возмущением выскочил за дверь и неожиданно наткнулся на дородного мужчину с окладистой почти рыжей бородой, в пышном, изукрашенном серебряными нитями фиолетовом одеянии без пояса. Едва скользнув по нему взглядом, понесся дальше куда глаза глядят, потому что сердце разрывалось от обиды и неуважения отца.

Гость проводил юношу долгим неморгающим взглядом, пока тот совсем не скрылся из виду, потом вошел в трапезную Бодмелькарта.

Молосс поднял голову и пристально поглядел на чужака, но хозяин не подал никакой команды, напротив был рад видеть вошедшего.

— А, Ганнон, как славно. Еще раз прими мои искренние поздравления с твоим новым назначением. Присоединишься?

— Спасибо, я уже перекусил. Что касается нынешнего назначения: оно вряд ли состоялось бы без твоего прямого покровительства, уважаемый Бодмелькарт.

— Ладно тебе льстить, я это делаю не только ради памяти твоего уважаемого отца и не менее славного деда. Я это делаю ради будущего нашей державы, потому что на твои плечи и плечи таких, как ты, в дальнейшем ляжет весь груз нынешнего положения. Разве не видишь, я уже стар, мне все более в тягость неблагодарный труд правления. Я даже над старшим сыном, прямым наследником рода, как оказывается, потерял всякий контроль. Видел, выскочил как ошпаренный, связался не пойми с кем.

Бодмелькарт присел, взял со стола еще одну лепешку, вытер руки, кинул лепешку собаке и протянул руки слуге с подносом.

Ганнон успел заметить, какая сморщенная, пергаментная кожа была у этих рук.

Слуга быстро подставил хозяину миску с чистой водой, другой слуга быстро вымыл ему ладони и насухо вытер их полотенцем.

Бодмелькарт поднялся.

— Тошаб, ты отправил кого-нибудь в купальню?

— Да, господин, вы знаете, горячая вода у нас всегда наготове.

— Проследи, чтобы потом Ирхулин обязательно вернулся ко мне. Мы с ним так и не договорили.

— Обязательно, хозяин.

Бодмелькарт увлек за собой Ганнона.

— Пройдем в кабинет, мой дорогой друг, нам нужно обсудить кой-какие вопросы, о которых мы с тобой недавно говорили, пока не появились члены Главного Совета. История, поверь мне, всегда вершится в тиши кабинета. Не на форуме, не на поле боя, а именно в тиши кабинета, за толстыми занавесями, в стороне от людских глаз.

У Ирхулина все кипело внутри, бурлило. Но злился он прежде всего на себя, на свою невозможность ответить отцу, на рабскую покорность. Кажется, отец совсем не понимает его и никогда не понимал. Был холоден, когда Ирхулин льнул к нему, раздражен, когда, по его мнению, сын проявлял в отношении кого или чего-нибудь слабость. Но ведь он был ребенком! Хотел любви отца, внимания, заботы, наставления, а получал колючие взгляды, едкие замечания, мимоходом брошенное: «Не до тебя!»

Прежняя обида в который раз защемила сердце. Он не вошел, а словно ворвался в купальню с бассейном, словно там пытался скрыться от всевидящего отцовского ока.

Фидея, двадцатишестилетняя служанка, трогала рукой воду в бассейне, от его неожиданного появления она даже вздрогнула.

— Вода готова? — спросил он.

— Нет еще, молодой хозяин, — ответила Фидея.

Вошла Заира с горшочками масел на подносе. Ирхулин окинул ее с головы до ног. Когда он уезжал, этой девушки в доме не было. Едва старше самого Ирхулина, немного полновата в плечах и скуласта, но привлекательна. Отцу во вкусе не откажешь. И наверняка давно оседлана им — хозяин своего не упустит!

Злость на отца вспыхнула с новой силой.

— Это кто? — спросил он у Фидеи.

— Заира, новая служанка.

— Наша или приобретенная на рынке?

— Из нашей загородной виллы, дочь скотника.

Ирхулин расспрашивал Фидею, не отрывая глаз от Заиры.

— Оставь нас, — неожиданно произнес он. — Пусть она меня поможет.

— Но она...

— Ты слышала, что я сказал! — вспыхнул Ирхулин.

Фидея сникла и, даже не посмотрев в сторону подруги, поспешила удалиться.

Ирхулин неторопливо приблизился к молодой девушке.

— Так ты дочь нашего скотника?

— Да, господин, — не поднимая глаз на юношу, ответила Заира.

— Сколько же тебе лет?

— Шестнадцать.

— Замужем?

— Хозяин еще не выдал.

— А жених на примете есть?

— Не знаю.

Ирхулин бесстыдно рассматривал Заиру со всех сторон, почувствовал, что соскучился по женщине. Остановился сзади. Коснулся мелких пушистых завитков на тонкой смуглой шее. Заира вздрогнула.

— Что ты? Боишься?

— Нет, молодой хозяин, щекотно.

Ирхулин пробежал пальцами по спине девушки, опустил рукой до талии. Тонкая туника не скрывала юных форм.

— Ты раньше мыла мужчин?

Заира смешалась. Вопросы юноши загоняли в тупик.

— Отвечай!

— Только вашего отца, молодой хозяин.

Пальцы руки Ирхулина сжались на выступе ее бедра. Лучше бы она про отца не упоминала...

— ...Сторонники войны, которые определили Барку военачальником на Сицилии, считают, что лучшего времени для перелома не будет — долгая война почти полностью истощила финансовые и людские ресурсы римлян. Соглядатаи сообщают, что римский сенат, якобы, решил совершенно отказаться от дорогостоящей морской войны. Он отдал кораблестроение на откуп частным лицам и разрешил каперство, — говорил Бодмелькар-тихий и неторопливо прохаживался по кабинету, будто опасался потерять мысль. Ганнон слушал его более чем внимательно. — Может, они и правы, но, думаю, в таком случае нам тоже нет смысла вкладывать средства в военный флот. Тех боевых кораблей, что у нас остались, как мне кажется, вполне достаточно, чтобы предотвратить вторжение римлян в Ливию. В сложившихся обстоятельствах, я думаю, нам стоит обратить свой взор прежде всего в глубь континента. Золото и металлы гарамантов, зерно нумидийцев и Ливии, лес, африканские слоны, фрукты, — все это новые финансовые поступления, новые вливания в нашу обескровленную экономику. Римляне обессилены настолько, что ничего не стоит с ними договориться, если хочешь — откупиться, оставив Карфагену достаточное пространство для жизни. Может даже, пожертвовать Сицилией. Но надо трезво оценивать происходящее — она и так для нас потеряна. Положа руку на сердце, наша последняя крупная победа под Дрепанами¹ несколько не охладила пыл ослабевших римлян: они заключили вечный союз с Гиероном и отменили для Сиракуз ежегодные подати, дали всем недвусмысленно понять, что уходить с острова совсем не намерены.

Бодмелькарт на секунду остановился, словно обдумывая что-то, взвешивая. Ганнон был полностью согласен с ним. Бодмелькарт продолжил:

— Придется скорее всего распрощаться и с Сардинией — нам все труднее ее контролировать из-за удаленности, да и местное население не слишком надежное. Но мы сохраним государство на континенте,

¹ 249 г. до н.э.

поднимемся за счет внутренних областей и за счет новых торговых связей. Пока Барка будет прикрывать наши тылы на Сицилии... Заметь, я не оговорился — именно тылы, потому что нашей теперешней задачей будет не столько укрепление сложившегося положения, сколько расширение государственных границ на юг и юго-запад. Так вот, пока Барка будет прикрывать тылы на Сицилии, нужно во что бы то ни стало закрепить наши успехи в Нумидии после разгрома Регула и поставить в конце концов зарвавшихся нумидийских царьков на место. На твои плечи как новоиспеченного управляющего огромной территорией Ливии ложится именно эта задача. Справишься с ней (а я нисколько не сомневаюсь в этом), народ будет на нашей стороне. Война позволяет потуже затянуть пояса подданных. Причем, самым безболезненным способом. Нам не придется ничего выдумывать. Патриотизм — высшая добродетель, во славу которой любой гражданин оправдывает свои лишения. Нам ли, ниспосланным богами управлять, не пользоваться этим.

— Спасибо за доверие. Постараюсь оправдать его полностью. Но тревожат немного ратующие за войну популисты — им бы только ставить палки в колеса нашей колесницы.

— За них не волнуйся. Их сейчас все меньше и меньше слушают. Их роль, как знаешь, всегда возрастает с нашими победами и резко падает, когда на полях сражений мы терпим одно поражение за другим. Они не постоянны, а для многих из них война — единственный источник дохода.

— А Баркиды? Их сторонники готовы выделять для войны средства из собственных карманов.

— Пусть выделяют, нам это только впрок, мы же должны предусмотреть все возможные запасные варианты выживания страны. Сам Барка не останется без присмотра, в поход с ним отправим наших людей, чтобы точно знать каждый его шаг, каждый вздох, каждую задумку.

Вошел слуга, доложил о появлении членов Совета.

— Веди их прямо сюда.

Бодмелькарт сел в свое высокое кресло с подставкой для ног и подлокотниками.

Гости вошли. Ганнон поднялся и поприветствовал вошедших. Бодмелькарт остался сидеть.

Гостей было четверо. Трое — старейшины, четвертый, Шадап, помоложе, но чуть постарше Ганнона, лицом похожий на ястреба, худой, желчный.

Бодмелькарт жестом пригласил гостей присесть на скамьи. Когда вошедшие сели, Бодмелькарт сказал:

— Представлять уважаемого Ганнона не буду, вы голосовали за него в Совете. А вот о Шадапе два слова скажу. Сегодня на вечернем заседании он будет назначен главой наблюдательного Совета нашей армии на Сицилии. Шадап будет уполномочен контролировать деятельность главнокомандующего на Сицилии и решать эффективно ли Барка управляет войсками или его как командующего следует отстранить.

Бодмелькарт обвел глазами присутствующих. Видно было по лицам, что все оказались солидарны с ним.

— С этим вопросом, я думаю, ясно. Хотел бы еще согласовать с вами предварительно другой вопрос. Мне кажется, его уже давно пора было поставить на Совете. Вопрос о судьбе Марка Атилия Регула. Не скрою, мы делали на него ставку, когда отправляли вместе с нашим посольством в Рим. Надеялись, договоримся и об обмене пленными, и о новом договоре, который положил бы конец разорительной для обеих сторон войне. Но Регул ничем нам не помог, а только, как вы знаете, подлил масла в огонь, убедив своих сенаторов ничего с нами не заключать. И все ему сошло с рук. Теперь он безмятежно доживает свой век в одной из наших темниц, потешаясь над нами с высоты своей несломленной гордыни. Доколе?! Доколе, я вас спрашиваю!

Бодмелькарт еще раз внимательно посмотрел в лицо каждого. Все слушали его, затаив дыхание. Легкая тень улыбки скользнула по краю его узких губ.

Бодмелькарт поднялся, подошел к небольшому высокому тренажеру у стены, на котором дымилась ароматная смола, втянул ноздрями приятный запах, затем резко повернулся к гостям.

— Мы должны его казнить. Прилюдно. Как жертвенного барана. Во славу Баал-Хаммона. Во имя Карфагена и нашей победы. Настал час решительных перемен!

Бодмелькарт не договорил, в кабинет неожиданно ворвался Тошат.

Бодмелькарт недовольно глянул в его сторону — Тошат никогда не позволил бы себе без серьезной причины прерывать беседу хозяина с гостями. Значит, случилось что-то серьезное.

— В чем дело, Тошат? Не видишь, я занят? — бросил Бодмелькарт.

— Ирхулин, хозяин.

— Пусть подождет.

— Дело в другом.

Бодмелькарт быстро подошел к управляющему. Тошат зашептал ему прямо в ухо. Лицо Бодмелькарта побледнело.

— Я извиняюсь, дорогие гости, но вынужден на некоторое время вас покинуть. Вам принесут пока вина и фруктов, думаю, вы найдете, о чем между собой поговорить.

Бодмелькарт стрелой понесся в покои рабынь. Тошат едва поспевал за ним, бросая на ходу короткие фразы:

— Никто не думал, что так случится... Он сам не свой... Вы сказали, отправить к нему девушек.

Вокруг Заиры толпилось несколько человек вместе в домашним врачом. Увидев хозяина, все расступились, а Заира попыталась отвернуть лицо. Нос ее оказался разбит, правый глаз опух, на открытых руках и плечах синие пятна, туника разорвана.

— Заира, — только и сказал Бодмелькарт, взяв девушку за руку. Заира заплакала. Объяснять было нечего. Бодмелькарт выскочил из покоев прислуги. Тошат за ним следом.

В спальне Ирхулина была только жена Бодмелькарта, сидела на постели сына, понутив плечи.

— Где он? — рявкнул Бодмелькарт, ворвавшись вихрем.

— Ушел, — сказала супруга.

Бодмелькарт был вне себя.

— Тошаб, разыщи его, где хочешь. Немедленно!

Тошаб удалился.

Бодмелькарт не знал, что сказать. Ноздри его раздувались, как у быка перед броском.

— Молчишь? — гневно посмотрел он на супругу.

— Мне нечего сказать.

— У-у! Родила ублюдка на мою голову! — замахнулся на нее Бодмелькарт, но жена не отвела взгляда, посмотрела супругу прямо в глаза.

Бодмелькарт опустил руку, развернулся, торопливо вышел из спальни, громко хлопнув дверью. Чего хотел сын, он не понимал. Но сегодняшнее так просто тоже не сойдет ему с рук. Мальчишка совсем, видно, забыл, под чьей крышей живет, кто в доме хозяин!

16

Из Карфагена Нагид выехал с рассветом, как только открыли северо-западные ворота, ведущие в Утику. Его спутники, один из массивов

— Зири, гибкий, коротковолосый юноша, другой из массесилов¹ — Анир, бородатый крепыш с потухшим взором, до самой оконечности кряжа, где река Баграда резко сворачивает в долину земли массивов, ехали молча. И Нагид был благодарен им за это. Может, на их молчаливость влияло раннее зябкое утро, а может, длинная дорога, которая возвращала их обратно на родину после нескольких лет отсутствия. В этом они были схожи. Нагид также много лет назад покинул просторы своей родной земли, чтобы стать карфагенским заложником и тем самым поддерживать в своей отчизне мир и спокойствие.

Мир и спокойствие... Нагид поймал себя на мысли, как нелепо прозвучали в его голове эти слова. Они были, как утренний туман, что окутывал берега извилистой Баграды. Независимость его родной Нумидии от Карфагена была относительной. И не только потому, что Карфаген уже больше четырех столетий господствовал на соседних землях. Нестабильность Нумидии несли больше сами нумидийцы — они мыслили свое существование исключительно в пределах крохотного клочка земли родного немногочисленного племени, где свой царек, свой взгляд на окружающее, своя предубежденность в том, что народ Нумидии испокон веку был и остается народом-кочевником, номадами. Богатая страна была способна прокормить многих: девственные леса по склонам Атласских гор, масса диких животных, сочные пастбища, табуны лошадей у массивов, а у массесилов еще и железо, медь, свинец, турмалины и «карфагенский камень»². Все это можно обменять на что угодно, как это делают карфагенские купцы! А некоторые оседлые нумидийцы собирают урожаи зерновых по два раза в год... Как все замечательно! Нагид и заикнуться не мог, что все это обилие недолговечно, когда в племенах нет единодушия, нет согласия. Что пока племенные царьки живут в своих ущельях, среди отрогов гор и на бескрайних равнинах и не желают видеть окрест себя ничего другого, они могут только тешить себя иллюзиями насчет жизнеспособности и неприкосновенности их мира. Но Нагид и те его соплеменники, которые не один год прожили в Карфагене, воевали в Иберии, Италии, на Сицилии знают не понаслышке, как изменчива судьба к народам, как зыбка идиллия их безмятежной на первый взгляд жизни, когда вокруг сгущаются тени алчных врагов. В таких обстоятельствах как никогда нужно сплотиться

¹ Массивы и массесилы – крупнейшие из нумидийских (берберских) племен.

² Карбункул.

и быть начеку. Куда повернет свой взор Карфаген, когда разобьет римлян и вновь отвоеует Сицилию? Как поступит с соседями Карфагена Рим, если он выйдет из этой длительной кровавой войны победителем? Вряд ли самонадеянным нумидийским царькам удастся отсидеться за вековыми величественными горами Атласа. А южнее — воинственные племена гетулов и безводная Сахара; слева — мавры, справа — гарманты¹. Куда идти?

Нагид поежился, то ли от утренней прохлады, то ли от холодных мыслей. Время от времени они терзали его еще не окаменелое сердце. Солнце неторопливо поднималось над горизонтом, воздух словно застыл в утренней тишине, его спутники мирно дремали — они с детства привыкли дремать на лошадях. Анир даже во сне держался на лошади прямо, свои ноги он цепко обвил вокруг ее мускулистого торса. Видно, для него было делом привычным — спать на ходу на лошади. У Зири голова то и дело запрокидывалась назад, и он часто просыпался, лениво приподымал веки, сонным взглядом окидывал пространство вокруг себя, словно оправдывал свое имя², и снова засыпал. Нагиду спать не хотелось. Он был даже рад, что его никто не беспокоит и можно спокойно отдаться на волю чувств. А они колобродили внутри, как закипающая вода. Привычный с рождения пейзаж словно подогревал их снаружи. Голубеющий вдали Атлас, усыпанные густыми лесами склоны, покрытые зеленью долины, заливистые перепевы птиц, — все наполняло его радостью узнавания.

Накрепко врезалась в память его первая ночь в степи, тонкий запах отцветающего шиповника, благодатное тепло небольшого, но яркого — видно за сотню миль — костра, безмерное количество мерцающих звезд на небе и лошади, которые паслись неподалеку и усыпляли его своим глухим фырканием.

Сколько тогда ему было? Пять, шесть, семь лет? В шесть он уже, кажется, уверенно сидел на лошади. Значит, впервые в степь он поехал с погонщиками, когда ему было пять. Отец не запретил, а даже настоял, чтобы пастухи взяли его малыша с собой. Нумидийский мужчина не мужчина, если рос не среди лошадей, а в дорожной повозке в окружении мамок и подушек. Настоящий нумидиец — что мифический кентавр: человек и лошадь в одном теле...

¹ Гетулы, гарманты – ливийские кочевники, соседние нумидийцам племена.

² Зири в переводе с берберского означает «лунный свет».

Но вот и Баграда. Путники перебрались через реку по добротному деревянному мосту неподалеку от того места, где она принимает в себя новый приток и откуда как на ладони вдали виднеется Хорва, остановились у небольшого ключа, который бил прямо из скалы в тени роскошных рослых пальм, и немного перекусили. Ячменные лепешки на меду с прохладной ключевой водой, по которой Нагид очень соскучился, показались вкусными как никогда. До Цирты¹, одного из крупнейших нумидийских городов в этом регионе, нынешней резиденции Гайи, вождя племени массивов, оставалось совсем рукой подать. Город был расположен на высокой возвышенности у самой реки и окружен глубокими ущельями и пропастью; выглядел он впечатляюще. Карфагеняне уже сто раз, наверное, пожалели, что отдали Гайе свой немаловажный западный форпост. Но они многое теперь получают за это: дружбу, преданность, хлеб, лошадей и воинов, защиту западных границ; к тому же здесь продолжает базироваться карфагенский гарнизон, способный мгновенно отреагировать на вражеские поползновения. Чтобы противостоять любому врагу, в будущем нумидийцам потребуется много таких городов.

Нагид был уверен, что недолго тот час, когда вожди разрозненных нумидийских племен поймут это, объединятся под крылом могущественного правителя и перестанут вести кочевую жизнь зверя-бродяги.

В этом ему упрямо возражал Ирхулин, на примерах прошлого доказывал, что привести в согласие разноликую толпу нумидийцев не удавалось еще ни одному правителю. Только Карфаген своей властной рукой, своим влиянием и примером справедливого правления мог навести порядок в родной стране Нагида. Сам Нагид не единожды говорил, что желает Нумидии такой же структуры власти, какая существует в соседнем Карфагене: пара ежегодно избираемых достойных правителей, Совет, ограничивающий их произвол, народное собрание, которое контролировало последних. Только захотят ли сами племена принять подобную структуру власти? Зачем им Советы? Зачем суффеты?

Нагид не согласился с ним. А разговор так и остался незавершенным. Но вот Гайя, отец которого — Зилалсан — сам был в свое время суффетом в Тукке², поддерживает Нагида, только считает, что время таких перемен еще не наступило, что для Нумидии в теперешних условиях надежнее все-таки оставаться пока под эгидой Карфагена, ведь

¹ Современная Константина в Алжире.

² Современная Дугга.

кроме рекрутов нумидийцы, в отличие от ливийцев, кабальным налогом не обложены.

Как бы ни хотели собравшиеся в приемной Гайи вожди массилов избежать скользкой темы, она постоянно заявляла о себе: большинство разрозненных нумидийских племен сами вносят раздор в своем отечестве. Те же массесилы¹ то и дело совершают набеги на своих ближайших соседей, разоряют их селения, грабят и угоняют скот. Только Карфаген помогает Гайе противостоять их алчности и двуличию. Это очевидно.

Того же мнения придерживались и сидящий рядом с Гайей его старший брат Эзалк, и старейшины массилов, и бывший среди них отец Нагида, Зибак, один из вождей небольшого нумидийского племени.

Зибак не скрывал отцовской гордости за сына — тот, как никто другой из соплеменников, достиг в Карфагене высокого положения, о чем говорили золотая командирская печатка на правой руке, широкий багряный пояс на тонкой талии, и шкура леопарда на крепких плечах. Сам Гайя преподнес ее Нагиду в знак уважения и старой дружбы. И то, как сын разговаривал с вождем, как выказал немало знания и понимания происходящего, говорило о том, что тот многому научился в Карфагене, что его пребывание там не пропало даром, и он еще послужит родине, как служил ей всегда сам Зибак: честно и преданно.

Все согласились с Нагидом, что завербованные в карфагенское войско нумидийские воины становятся только сильнее и опытнее. Одно дело проводить время в мелких стычках с соплеменниками, другое — участвовать в боях с грозным соперником, который на голову тебя выше.

— Думаю, будет уместно, если ты сам отберешь для себя наших лучших юношей, а спустя время вернешь нам искусных воинов, стойких в бою и закаленных в походах, — сказал Гайя.

Нагид пообещал.

— Только сразу говорю — лукавить перед тобой нечего: много тебе не дадим. наших мужчин, сам знаешь, Карфаген отправляет куда угодно. У нас по большому счету, если и осталось тысячи три добротных воина, и то хорошо. Массесилы то и дело рыщут вдоль договорных границ, в любую минуту готовые откусить самый лакомый кусочек нашей земли. Да и некоторые наши приграничные племена давно посматривают в их сторону, словно они обещают им медовые реки. Но, думаю, в Карфагене всё об этом хорошо известно.

¹ Западные нумидийцы, живущие по соседству с территорией мавров.

Старейшины взволнованно зашептались между собой — всем не терпелось узнать, какова обстановка в Карфагене, что думают сами карфагеняне, как на нумидийцах может отразиться дальнейшая кровопролитная война Карфагена и Рима. На что надеяться им, ведь противостоять беспощадным мечам ослепленной жаждой крови Анат¹ им не вмоготу, каким безжалостным становится Карфаген в минуту ненависти, они познали на собственной шкуре. После каждого поражения и восстания ливийцев, незамедлительно следуют репрессии. К сожалению, крайние меры задевают порой и непричастные к мятежу нумидийские племена. Лес рубят — щепки летят?

Нагид поспешил успокоить вождей. Нумидийцы никогда не лезли в чужие склоки, Карфаген союзническим договором скрепил установившееся положение нумидийских территорий. Вожди сами решали, под чье крыло подпасть: часть ушла к массесилам, часть повернулась лицом к Гайе. Жизнь в конце концов расставляет все на свои места. Карфаген не вмешивается во внутренние дела нумидийцев — кто не дает им возможность сохранять сложившееся положение? А то, что мы выделяем для них своих воинов, — так они не возвращаются домой с пустыми руками! Что касается заложников, каким является и он сам, — это общепринятое установление во всех известных землях от края и до края ойкумены. И чаще всего — как установление дружбы, залог дружбы между народами.

Нагид говорил искренне, ему нечего было лукавить, он служит верой и правдой своему Отечеству. В доброжелательности же римлян массылы убедились, когда римские войска во главе с Регулом высадились на побережье Африки и безжалостно прошли по землям нумидийцев. Сколько оказалось уничтожено посевов и угнано людей в рабство — до сих пор никто не подсчитал! С другой стороны Карфаген жестоко отомстил тем нумидийским племенам, которые присоединились к римлянам. После победы они распяли всех их царьков и заставили племена выплатить почти тысячу серебряных талантов и двадцать тысяч быков в наказание. Но тут уж они сами виноваты, пойдя на поводу у непостоянных ливийцев.

Наступившая тишина будто подтверждала слова Нагида. Возразить было нечего.

Разбрелись все понурые, с тяжелым осадком на сердце.

¹ Грозная богиня войны ханаанеев, почитаемая и в Нумидии.

Наедине с отцом, Нагид, казалось, еще чувствовал витавшую в воздухе горечь.

— Их пронизательные и вместе с тем тревожные глаза словно выворачивают меня наизнанку, как будто я им лгу или что-то скрываю от них. Отчего так? Мне кажется, я больше не понимаю их. Может, я давно не был на родине?

Зибак снисходительно похлопал сына по плечу.

— Нет, нет, не расстраивайся, ты все говорил верно: мы можем позволить себе независимость, только если объединимся. А пока каждый за себя, нам лучше поддерживать добрососедские отношения со все еще сильным соседом.

Нагид оставил у Гайи Зири. Спустя несколько дней тот с новобранцами присоединится к нему на обратном пути в Карфаген. К тому времени Нагид сможет посетить еще несколько племен, а также повидаться с родней и друзьями прежних лет.

И как же отцу не побаловать любимого сына? Лично ему подали после обеда говяжьих языки в медово-уксусном соусе с изюмом, которые он так обожал с детства. А вечером, не откладывая надолго, решили провести смотр юношей и мужчин, которые пожелали отправиться с Нагидом в Карфаген. К тому времени подтянулись и рекруты из соседних племен, оповещенные послами Зибака.

Ничего нет лучше для нумидийца, как показать свою удаль в конном забеге! С их низкорослыми, но ладно и крепко сбитыми лошадьми не могла сравниться никакая другая лошадь во всей Ливии. Нагид разве что только у иберов видел скакунов, способных потягаться с нумидийскими верховыми. Да и тактика у нумидийских конников веками оставалась неизменной: быстрый набег — быстрый уход, маневренность. А потому в лошадях ценились и развивались ловкость, выносливость, способность резко остановиться на ходу и тут же рвануть с места в карьер, чтобы вражеский дротик или стрела не успели даже зацепить седока или лошадь.

До состязаний у Нагида еще было время, которое он целиком потратил на осмотр прибывавших рекрутов и их лошадей. Ему самому придется вести их в бой, поэтому от их умения управлять лошадью зависело немало.

С каждым из прибывших он старался побеседовать отдельно, чтобы уяснить для себя, чего каждый из них стоит не только как боец, но и как человек. Им предстоит вместе проводить многие дни и ночи, делить все тяготы походов и сражений. Нагид хотел быть уверенным, что его воины в самую опасную минуту никого не подведут.

Зибак украдкой наблюдал за сыном и полностью одобрял его действия, продолжая радоваться за него, гордиться им. И ничуть не удивился, когда Нагид также выразил желание принять участие в забеге. Раз ты берешься командовать людьми, сам стань для них настоящим примером доблести, храбрости, умения, силы. Тогда они пойдут за тобой хоть на край света, в огонь и воду.

Забег не стоило усложнять. Нумидийцы не устраивали гонки на колесницах подобно грекам и римлянам, где многое зависело от выучки лошадей бегать рысью. Дикая лошадь не ведаёт, что такое бег рысью. Она либо мирно пасется на лугах, неторопливо бродит с пастбища на пастбище, либо, почуввав опасность, резко срывается и уносится прочь неудержимым галопом, увлекая за собой и остальных сородичей, пока где-то в другой стороне в высокой траве её буйное сердце не успокоится и окружающее снова не станет для неё уютным и безмятежным. Таковы и исконные нумидийцы, те, которые ещё окончательно не осели в шумных городах и глухих селениях, которые продолжают кочевать с места на место, жить бок о бок с дикими лошадьми, понимать их и приручать. Таковы и состязания нумидийцев: пронестись по степи на своём, с детства выращенном скакуне, быстрее ветра, быстрее птицы, так, чтобы ноги лошади оторвались от земли, чтобы заглохли в ушах все звуки и душа вырвалась из груди на простор.

К сидящим на возвышении старейшинам подошел Тургут, один из знатнейших нумидийцев племени Зибака, и, поприветствовав их, попросил разрешение принять участие в забеге и его сыну. Тот хоть ещё и не достиг совершеннолетия, но показал себя достаточно умелым наездником.

Старейшинам нечего было рассказывать об этом юноше — он рос у них на глазах, а потягаться силами со старшими юношам никогда не взбранялось.

Тургут, не скрывая своей улыбки, поклонился благородному собранию и, выпрямившись, махнул своему наследнику рукой, чтобы тот присоединялся к яезде.

Юноша нетерпеливо ожидал решения старейшин в стороне, сидя верхом на темно-рыжем, почти буром жеребце с короткой, едва превышающей ладонь гривой. Увидев знак отца, направил своего жеребца к возвышению, где восседали Зибак, старейшины и почетные гости соседних племен, и где давно топтались на лошадях десятка три всадников.

Могучим торсом и белоснежной туникой среди них выделялся Нагид на своем крупноголовом Азруре.

Сын Тургуту вклинился в их разношерстную толпу и почти потерялся из виду.

По знаку со старта лошади кучей ринулись вперед. Зрители подогрели их криками, всадники — воинственным гиканьем. Первые несколько десятков метров они скакали в пыли чуть ли не бок о бок, подхлестываемые ремешками или прутьями. Они ощущали на себе привычную тяжесть седоков, которые ногами стискивали их крупы, вцепившись кто за веревку, обвитую вокруг их шеи, а кто и просто за гриву. Узды нумидийцы не признавали. Узда только сдерживала скакуна. А уж в таком состязании, как скачки, конь должен показать всю свою природную прыть.

Участники забега летели по кругу, под копытами дрожала земля, с лошадиных морд обильно срывалась пена и шлепалась на землю.

Постепенно стали определяться лидеры. Поначалу вырвалось с десятка наездников из тех, которые на старте протиснулись в первые ряды. Но вскоре из середины поднажали, и вот уже пятерка самых крепких лошадей, высоко вздымая пыль, стала все быстрее и быстрее отрываться от общей массы. Теперь они шли почти рядом, кто на шаг позади, а кто, совсем не отставая.

Нагид прильнул к шее Азрура, немного сдерживая его, при этом он ни на секунду не упустил из виду соперников.

Серая кобыла с красивой шеей справа его мало беспокоила. Сидящий на ней худосочный малый сильно нервничал и часто вертел головой; руки его судорожно вцепились в холку кобылы. Еще немного, и он собьет ее с ритма предательским беспокойством. Умелый наездник всегда должен тонко улавливать настрой своей лошади. Как, впрочем, и лошадь настрой хозяина. Худосочный быстро сдает. Значит, и кобыла его выдохнется скоро.

Две левые гнедые — резвые, они вырвались почти на корпус вперед, бегут, совсем не обращая внимания на соперников, одна зло косит глазами на другую. Их можно будет легко обойти позже, так как им уже кажется, что они остались только вдвоем, и, вероятно, седокам их уже не переубедить.

Иное дело размеренный топот сзади и ровное дыхание ни на шаг не отстающего от Азрура жеребца юноши, сына Тургуту. Несмотря на младость лет, малый достаточно толково ведет жеребца. Видно, самостоятельно растил его с детства. Сидит на нем как влитой. Ни одного неверного движения, ни доли волнения.

Как Нагид и предполагал, футов за сто пятьдесят до поворотного столба серая кобыла стала выдыхаться, а ведь не пройдено еще и половины расстояния.

Нагид решил пустить Азрура между кобылой и парой гнедых. Его даже подхлестывать не пришлось, Азрур как почувствовал желание хозяина. Однако державшийся все время позади сын Тургута неожиданно принял резко влево, вклиниваясь между поворотным столбом и парой гнедых. Его жеребец выскочил вперед и стал уверенно обходить пару. Ближняя к нему гнедая с удивлением покосилась на стремительно летящего к поворотному рубежу жеребца, стараясь не потерять из поля зрения и соседа. Удивление ее настолько сильное, что она уже не понимает, с кем нужно состязаться. Вдобавок всадник на ней своими частыми понуканиями доводит ее чуть ли не до бешенства. Глаза ее выкатились из орбит, дыхание стало хриплым и порывистым. Она стрижет ушами, нервничает, ход ее сразу утрачивает темп, и она внезапно отклоняется вправо, оттесняя соседского гнедого и сбивая с ритма и его.

Нагид понимает, что и Азруру придется уйти в сторону и даже, может быть, оказаться зажатым между гнедым и серой кобылой. Малый не промах — ловко использует поворотный столб как выгодную преграду. Теперь Нагиду, чтобы удержаться в пятерке лидеров, придется поднажать. Азрур не полностью выложился, у него еще есть запас сил.

Нагид стегнул Азрура несколько раз ремешком. Азрур вытянул шею, напряг мускулы и послушно ринулся вперед, прорываясь между гнедой лошадей и серой кобылой.

Маневр оказался своевременным. До столба несколько метров, юноша уже зашел на близкий круг, гнедые, как сросшиеся, шарахнулись от него в сторону кобылы, оттесняя ее на самый край поворота. Азрур успел проскочить и теперь обминает столб, всего на полкорпуса он отстал от жеребца юноши.

После поворота Нагид снова подхлестывает Азрура, тот моментально выравнивает ход и идет быстрее. Вскоре настигает быстроногого жеребца.

Несколько десятков метров они мчатся рядом, голова к голове. Азрур старается изо всех сил, но жеребцу юноши все же не хватает опыта. Тот уже начинает нервничать, хрипит, разбрызгивая пену, в любую минуту готов сбиться. Азрур тоже понимает это и успокаивается, не снижая темпа. За спиной у него, словно у Пегаса, вырастают крылья. Мышцы будто превращаются в сталь, он рвет вперед с невиданной силой и на финише на корпус опережает соперника.

Толпа взорвалась. Нагид проскакал еще с десяток метров и натянул ошейник Азрура. Азрур стал притормаживать, продолжая неровно дышать. Нагид ловко спрыгнул с Азрура, благодарно похлопал его по шее и повел к возвышению, где восседали старейшины.

— Как же тебя зовут? — спросил Нагид, проходя мимо юноши.

Тот нисколько, казалось, из-за проигрыша не расстроился; наоборот, улыбался в полный рот. А как же: вон скольких взрослых он обошел!

— Это мой сын, Нарава, — сказал за юношу приблизившийся Тургут. Он тоже сиял как победитель.

— Настоящий воин, — сказал Нагид.

— Только больно мал: пятнадцати еще не случилось.

— Но выглядит намного старше. (Нагид не скрывал удивления.) Прими от меня на память. — Нагид стянул ошейник со своего Азрура и протянул его Нараве. — А подрастешь, милости просим в нашу конницу. Скучать тебе, поверь, там не придется.

Тургут восторженно обнял сына.

С таким же восторгом смотрел с возвышения на Нагида Зибак.

Старейшины наперебой жали его руки и похлопывали по плечам — достойного вырастил сына, настоящего нумидийца!

17

Больше всех предстоящий отъезд Ашерат расстроил Федима. Он, как и все в имении, с большим воодушевлением ждал нового назначения своего хозяина на пост, который, верилось, поможет ему в конце концов переломить ужасный ход истории, выступить достойным соперником такому грозному врагу, как римляне, а может даже, и обуздать его. Однако Федим и не предполагал, что вместе с Гамилькаром имение в Бизацене покинет и его семья, и Ашерат, крошка Ашерат, к которой он испытывал не только дружеские чувства.

Появились они неожиданно всего полгода тому назад. Федим ощущал себя в то время совсем еще мальчишкой. Тогда Ашерат сидела на вершине одной из угловых башен, скучала, рассматривала как обычно окружающий пейзаж. Высоко в небе, чуть выше горизонта, заметила черную точку. Постепенно она выросла в длинный неровный клин. Ашерат засмотрелась на него. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что это оказалась целая стая белых аистов! Тех самых аистов, которых она так полюбила в зверинце Сиппара и появления которых ждала с нетерпением изо дня на день.

Она опрометью сбежала со ступеней на второй этаж, ворвалась в покои Батбаал, где мать с двумя старшими дочерьми занимались пряжей, и, сияя от счастья, выпалила: «Мама, мама, они прилетели, мама! Я побегу, их встречу!» Развернулась и, не дожидаясь ответа матери, стрелой понеслась дальше.

— Вот безумная, — бросила ей вдогонку Наамемилкат.

Во дворе, столкнувшись с Ахиром, Ашерат порывисто схватила его за руку и потянула за собой к выходу:

— Ахиром, они вернулись!

— Кто вернулся, Ашерат? — Ахиром удивился порыву младшей дочери Гамилькара.

— Аисты, аисты вернулись! Пойдем скорее, сам увидишь!

Ахиром широко улыбнулся, но все же быстро проследовал за непоседой во двор.

Стоило им выйти на открытое пространство двора, как Ашерат скинула вверх руку с вытянутым указательным пальцем и крикнула:

— Вон они, вон, видишь, видишь?!

Уже сносно различимый широкий клин аистов мерно двигался в сторону континента. Можно было не сомневаться — они направлялись к небольшому озеру на западе от их имения. Оно всегда служило перевалочным пунктом для многих перелетных птиц.

— Пошли скорее, я хочу посмотреть, где они сядут!

Не долго думая, Ашерат метнулась за ворота усадьбы и помчалась в сторону оливковых плантаций, неподалеку от которых раскинулось озеро.

— Ты куда, неугомонная! — только и успел крикнуть Ахиром. Но Ашерат уже не слышала его, она во весь опор неслась в длинном оливковом междурядье.

Ахиром, улыбувшись: «Вот бесенок, что вытворяет!», — поспешил сообщить обо всем ее отцу.

— Вот несносная, — сказал, оторвавшись от своих бумаг Гамилькар. — Скачи за ней, пусть она одна по округе не шестает — только недавно прибили людоеда.

Ахиром вскочил на одного из стоявших под навесом амбара жеребцов и поскакал вслед за дочерью Гамилькара.

— Садись, — сказал, догнав Ашерат почти на середине ряда.

Посадив ее впереди себя, хлестнул коня. Поджарый конь живо сорвался с места.

Они прибыли как раз вовремя. Разведчик, видно, давно описал круг над берегом, где были только утки, стайка вальдшнепов и десяток се-

рых журавлей, и уже возвращался к клину. Вожак направил стаю вниз. По мере снижения, клин стал распадаться на отдельные группки, и первые белоснежные длинношеие красавцы, громко хлопая крыльями и выпячивая грудь, грациозно опустились на землю и тут же громко защелкали, словно здороваясь с прежними обитателями. Вскоре весь берег затрещал от их приветственных голосов.

Ашерат нарадоваться не могла, смотрела на птиц во все глаза и все пыталась отыскать среди них исчезнувшего весной аиста из зверинца Сиппара. Она болезненно переживала его пропажу. Сначала думали, что аист погиб от какой-то подхваченной ранее заразы, о которой торговец, продавший Сиппару птицу, намеренно умолчал. Но как потом сказали им люди сведущие, аист умер от обыкновенной тоски. Надо было купцу просто брать не одну птицу, а пару. Парами аисты живут дольше, потому что, как люди, крепко привязываются друг к другу. Тогда, чтобы не расстраивать Ашерат, ей сказали, что аист улетел в далекий северный край, что Сиппар выпустил его, видя, как тот страдает. Но осенью он обязательно вернется, и не один, потому что все аисты, улетая на север, прежде всего, заводят там семью, рожают детей, а потом все равно возвращаются обратно, ведь их настоящий дом здесь, в теплых краях.

Девочка поверила Сиппару, и все лето с завидным терпением ждала возвращения аистов, как ничего другого, а сейчас смотрела на них просто восхищенными глазами.

Впрочем, за очаровательными божьими птицами наблюдали не одни они. Чуть поодаль в густых зарослях терновника бдительный Ахирам заметил легкое движение. Насторожившись, он заслонил собой дочь Гамилькара и крикнул в сторону кустов, чтобы тот, кто там прячется, без опаски вышел из укрытия и не заставлял его применять оружие.

Каково было удивление Ахирама и Ашерат, когда из-за кустов вышел Федим, сын Ахата, смотрящего за рабами на скотном дворе. Он, оказывается, частенько у озера ставит силки на мелких птиц и сегодня тоже пришел с той же целью, но так же, как и они, залюбовался множеством возвратившихся аистов.

Это на самом деле было удивительное зрелище! Весь берег словно враз покрылся белым с красными и черными прожилками покрывалом, закрыв собой даже ранее оказавшихся у водопоя цапель. Только прожилки эти постоянно двигались: аисты то и дело то вскидывали резко вверх длинные клювы, запрокидывая голову к самой спине, и оглушительно трещали, то встряхивали головой, то порывисто хлопали крыльями.

Ахирам был рад увидеть мальчугана. Тот на его глазах превращался в юношу, смелого, толкового. Немало он перенял как от своего отца, так и от опытного охотника Сахеба, с которым его чаще всего в последнее время встречали. Уже теперь в подростке проявлялись будущие способности воина. Стрелять из лука и находить звериный след его научил Сахем (Федим как плату за учение втихую от отца таскал Сахебу вино, до которого тот был особенно охоч). Владеть мечом и метать пращу учит он сам, Ахирам (после потери собственного сына он все более привязывался к Федиму, рано потерявшему мать).

По его мнению, еще один путный телохранитель для семьи Гамилькара в Бизацене будет не лишним. Сегодня здесь самое спокойное место, а завтра неизвестно, что случится.

Ахирам считал, что Федим будет добрым воином и хорошим защитником. По складу характера, по доброте души...

Ашерат хорошо его помнила, Сахем часто брал своего ученика на охоту. И птиц приносил в усадьбу на ужин чаще всего тогда именно Федим.

Ахирам подозвал к себе подростка и не сдержал улыбки, видя, как тот смущенно зарделся, подойдя ближе и увидев рядом с ним Ашерат.

Еще год назад это была маленькая девочка с острыми чертами лица и худыми ногами. Теперь она вступала в возраст девушки на выданье, когда Астарта вот-вот заберет ее под свое крыло...

— Как твои дела, Федим? — спросил Ахирам. — Вижу, удача охотника от тебя не отворачивается.

Ахирам обратил внимание на висящего за поясом юноши зайца.

— Если хотите, возьмите, — протянул Федим свой трофей Ахираму. — Я себе еще поймаю.

— Нет, нет, спасибо, дружок, я предпочитаю ловить добычу сам.

Ахирам вскочил на коня.

— Ну, у меня еще много дел, надо проехать по округе, заглянуть на плантации и скотный двор... Ты со мной, Ашерат? — обернулся он к дочери Гамилькара, спросив скорее из приличия.

Ашерат смущенно потупилась.

— Понятно. Тогда оставляю тебя здесь под опекой надежного охотника. Федим, доставь ее, пожалуйста, обратно к обеду. Как говорит-ся, целой и невредимой. На тебя можно положиться?

— Конечно!

Федим уверил Ахирама, что с дочерью Гамилькара ничего не случится.

Ахирам поскакал обратно в имение.

Федим и Ашерат остались наедине, но одинаково оробели, — незнакомое, новое чувство рождалось у каждого в груди.

Первым нарушил молчание Федим.

— Я часто прихожу на это озеро, сюда слетаются разные птицы, но столько я еще ни разу не видел.

— Я тоже, — призналась и Ашерат, и какая-то невидимая между ними стена сразу рухнула.

— Посмотрим, надолго ли они останутся тут?

Они уселись на ствол одного из поваленных деревьев, свесили ноги.

— Их много потому, что они прилетели со своими недавно рожденными детьми. Видишь, те, у которых клюв и ноги черно-коричневые, — совсем молодые, — сказала чуть погодя Ашерат.

— Откуда знаешь?

— Знаю, потому что об этом мне говорил наш сосед в Мегаре. У него свой собственный зверинец, в котором кроме зверей много разных птиц, — сказала Ашерат и рассказала Федиму и об интересном зверинце Сиппара, о птицах, которые жили в нем, и о Кесепе¹, аисте, которого она полюбила больше всех других, но который внезапно пропал, а может, просто улетел, как улетают весной на север все аисты из их краев.

— Красивые они, — сказал Федим.

— И верные. Говорят также, что когда старики-аисты теряют свои перья, молодые птицы выщипывают свой пух и укутывают им стариков, чтобы те не замерзли. И еще приносят им пищу. А при перелетах поддерживают в полете своими телами.

— Ну, тогда я тоже самый настоящий аист, — заметил Федим, улыбаясь. — Я давно уже все, что добуду на охоте, приношу домой. И частенько, особенно когда отец в деревне наберется так, что ноги не несут, тащу его на себе.

— Тогда я и тебя буду звать Кесеп. И если ты вдруг улетишь, буду ждать твоего возвращения так же, как люди ждут возвращения аистов.

— Договорились, — сказал Федим и снова улыбнулся.

А потом был очередной сбор винограда, в котором участвовали, как обычно, все члены семьи Барка, включая слуг и рабов.

¹ Кесеп (KSP) – по-финикийски значит серебряный, белый, но также и желанный.

«Кто точила чинил, кто бочки очищал, а кто корзины сплетал; иной хлопотал о коротких серпах, чтобы срезать виноградные грозди, иной — о камне, чтобы давить из гроздей сок, иной рубил сучья сухие, чтобы можно их было ночью зажечь и при огне переносить молодое вино», — говорилось об этой жаркой поре в одной из древних повестей¹.

Федим таскал в корзинах виноградные гроздья, давил или помогал разливать вино по бочкам.

Ашерат наливала для питья прошлогоднее вино, носила на виноградник еду, иногда наряду с другими женщинами обрезала низко растущие гроздья.

За каких-то полгода, встречаясь потом на озере почти каждую неделю, Ашерат и Федим еще более сдружились. Причем, если Федим с Ашерат по каким-либо причинам не могли видаться, оба не находили себе места.

Первой на удрученную Ашерат обратила внимание Мактаб, но в отличие от Парфениды гвалта устраивать не стала, наоборот, (даже в пикку неблагодарной кормилице хозяйки) частенько, как настоящая сваха, прикрывала девочку, когда та тайком убегала из дома, чтобы встретиться с юношей. Или когда Федим приносил на кухню свежую дичь, незаметно от всех домашних посылала туда Ашерат и всячески препятствовала подозрительной Парфениде и действующей с ней заодно Намемилкат обнаружить местонахождение молодых. Но сборы Гамилькара, общая суета и сутолока в последнее время, потом странные сны девочки, после которых та ходила сама не своя — все как-то ограничивало их встречи. Больно было на нее смотреть: Ашерат просто чахла на глазах. Не такой возвращалась она с озера после встречи с Федимом, а словно очищенной, облегченной, умиротворенной...

Мактаб была убеждена, что поездка на озеро отвлекла бы Ашерат не только от темных навязчивых снов.

Тем же вечером она подошла к Батбаал. Хозяйка, выслушала кормилицу своего сына с интересом, потому что и у нее еще свежа была в памяти поздняя осень прошлого года, когда Ашерат увидела в небе аистиный клин.

— Ты, наверно, права, смена обстановки повлияет на нее благоверно.

Она и сама не прочь прокатиться к озеру, взять с собой младенцев, нескольких слуг, еды...

¹ Перевод С. Кондратьева.

Почти полдня потом Батбаал отдавала распоряжения по поводу предстоящей поездки к озеру, взбудоражила всю прислугу в усадьбе, однако задумку в конце концов, к сожалению, пришлось отменить: от Гамилькара из Карфагена прибыл гонец. Прибыл как-то скоро, неожиданно для всех. Сообщил, что праздник в этом году состоится на два дня раньше, чем в прошлом. Нужно было торопиться и прибыть в Карфаген хотя бы за неделю до начала торжества, чтобы имение в Мегарах привести в должный порядок. Без женской руки, как ни крути, не обойдешься. К тому же надо было срочно сажать в горшки зерна пшеницы, ячменя, сладкого укропа — вырастить так называемые «сады Адониса», растения, которые уйдут в иной мир вместе с самим Адонисом в день его поминовения.

Парфенида торжествовала: Афродита услышала ее молитвы и сорвала задумку сумасбродной Мактаб. Чего придумала: поставить на уши всю округу! Поделом полоумной!

Но сорванная поездка на озеро ничуть не расстроила Мактаб — она давно мечтала выехать в Карфаген, в котором не была уже больше года. Тем более ее, как кормилицу маленького Ганнибала, хозяйка не сможет не взять с собой. А это значит, она снова увидит отца (мама давно умерла), старых друзей, город своего детства и снова поучаствует в красочных церемониях, будет петь и плясать, бросать цветы в колесницу Астарты и восторженно встречать воскресшего Адониса. И она не ошиблась в предчувствиях: Батбаал и ей повелела собираться в путь.

Когда Федим узнал об отъезде Ашерат, он тут же бросился к отцу.

— Почему мы не можем поехать в Карфаген и принять участие в празднике?

Ахат удивленно поднял глаза на сына.

— Раньше ты не рвался ни на какие праздники, это что-то новенькое. А потом, мы должны быть здесь, исполнять свои обязанности, их у нас не так уж и мало. Если бы Гамилькар захотел взять нас с собой, он бы взял. Не понимаю, чего ты от меня хочешь?

— Но разве я не свободный человек? — Федим посмотрел на отца с вызовом. — И взрослый, — мне давно перевалило за четырнадцать!

Ахат вспыхнул:

— Не настолько свободный и недостаточно взрослый, чтобы поступать как тебе заблагорассудится! Всеу свое время — не торопи события!

Федим выскочил из дому подавленный и раздраженный. Почему отец не хочет понять его? И почему он сам не волен поступать так, как

считает нужным? Он же не какой-то там раб, без прав, без рода, без имени...

Федим был в отчаянии. Он не знал, что делать. Мир, казалось, рухнул для него раз и навсегда.

Солнце еще не садилось. Легкий ветерок приятно овеивало тело, но не радовал юношу как обычно.

Ноги сами по привычке привели его к хижине Сахеба, у которого он в последнее время бывал даже чаще, чем дома; у которого иногда оставался ночевать и которому частенько поверял свои юношеские тайны.

Сахеп стал Федиму ближе, чем отец, и о своих новых чувствах к Ашерату Федим мог рассказать только ему одному. Но, к сожалению, Сахеба дома не оказалось. Тот опять, наверное, в одиночку бродил где-нибудь в глубоких ущельях, выискивая свежую добычу. Тогда Федим побрел из деревни куда глаза глядят.

Не заметив как, он оказался на озере, том самом, где впервые увидел «новую» Ашерату, тяжело опустился на поваленный ствол, на котором они часто сидели вместе.

Среди высоких душистых трав пестрели цветы, в кустах шумно порхали мелкие птицы, в теплом парном воздухе зудели комары, жужжали мухи, гудели пчелы — неподалеку была пасека, но Федим думал только об Ашерате.

Рядом с ней он чувствовал себя счастливым и обогащенным, дарил ей фрукты, украшал полевыми цветами, поил водой из прозрачного ручья из собственных ладоней, играл на свирели, сделанной собственноручно из склеенных мягким воском тонких тростинок.

Казалось, для него в эти полгода не существовало больше ничего, кроме Ашераты. А с Ашератой — небо, море, птицы, цветы ... Как в каком-то сладком сне они, забыв обо всем, наперегонки носились по лугам; взявшись за руки, бродили вдоль озера, уединялись в тени виноградников и пышных олив, заслушивались звонким пением птиц и жужжанием пчел.

Их весельем заражались работающие на полях рабы, отрывались от жнивья, выпрямляли уставшие спины, улыбались вслед.

Молодые совсем не думали о будущем, но будущее само давало о себе знать.

«Как я теперь буду без Ашераты?» — спрашивал себя Федим и не находил ответа...

В густых камышах возле озера кричали дикие утки, гортанными трелями перекликались праздные лягушки. Вдоль берега бродило всего

лишь несколько цапель и пара серых журавлей. Вроде все как всегда, только теперь здесь не было аистов, тех самых, которые так сблизили их.

Федим больше не представлял своей жизни без Ашерат. А она? Не забудет ли она его, уехав в Карфаген? Что останется от него в ее памяти? Хотел бы он, чтобы Ашерат никогда его не забыла. А чтобы Ашерат его не забыла (эта неожиданно пришедшая мысль воодушевила Федима), никогда не забыла их дружбу, их встречи на озере — он подарит ей небольшую фигурку аиста. Это ему сделать легче легкого! На охоте, особенно при ловле птиц, ему частенько приходилось ждать, и чтобы скоротать время, он выстругивал из сосновой коры различные фигурки людей или животных, раз даже сделал небольшой корабль с парусами, который держался на воде не хуже настоящего!

Федим, разгоряченный, тут же принялся за дело и уже вечером с маленькой деревянной фигуркой аиста в руке стоял у ворот замка Гамилькара.

Привратник, старый раб, всегда по-доброму относившийся к юноше, хотел уже было пропустить его внутрь, но тут мимо проходила Нааме, и, увидев Федима, резко окликнула старого раба:

— Шардан, ты зачем его впустил?

Старый раб низко склонил голову:

— Прошу простить меня, молодая хозяйка. Этот юноша, сын Ахата, одного из наших управляющих.

— Я знаю, кто это, но вечером он не должен быть здесь, запре как положено ворота!

— Как скажете, молодая хозяйка, — сказал Шардан и стал выпроваживать Федима. Солнце садится, да и Федим без дичи, — зачем без особой нужды беспокоить хозяйку, тем более, накануне отъезда.

— Но мне очень нужно. Мне *очень* нужно, — пытался достучаться до сердца черствой Наамемилкат Федим.

— Придешь утром и спокойно решишь все свои дела, — недовольно бросила Нааме и снова строго приказала привратнику закрыть ворота перед Федимом. Не хватало еще, чтобы кто попало шлялся по их двору поздно вечером!

Шардан послушно закрыл ворота, но мальчишка не сдался, лихорадочно забарабанил по створкам кулаком.

На шум подошел проходивший мимо Ахирам. Узнав юношу, заинтересовался, почему тот не дома, на что Федим ответил, что хотел бы поглядеть Ашерат и передать ей от него подарок на память.

Ахирам приказал привратнику открыть калитку в воротах.

Нааме вспыхнула, но возражать Ахираму не решилась.

Федим вошел, вскользь глянул на недовольную Нааме, потом, смутившись, сказал:

— Я обещал Ашерат вот это, — и протянул Ахираму вырезанную фигурку аиста. — Вы ведь уезжаете?

Ахирам снисходительно улыбнулся. Уж кто-кто, а он хорошо знал о частых встречах Федима и Ашерат. Как знал и то, что хозяйева не возражали против этих невинных встреч. Да и сам Ахирам, обучая Федима, никогда ничему дурному юношу не учил.

— И еще я хотел бы попроситься с ней, — как за спасительную соломинку ухватился Федим за последнюю мысль.

Ахирам несколько секунд молчал, видя в юноше борение чувств, потом сказал:

— Ну, это вряд ли, поздно уже, — но неожиданно добавил: — А ты сам не хотел бы поехать с нами в Карфаген? Ты умело владеешь оружием, зорок, наблюдателен. А нам предстоит долгий путь вдоль побережья. Подумай. С твоим отцом я поговорю. Мне кажется, возражать он не станет.

Нааме глянула на Ахирама с осуждением. А Федим от радости был не в себе — о таком предложении он и мечтать не мог.

— Тогда я побежал собираться? — как утреннее солнце на капелях росы засветились глаза юноши. — А это все равно передайте, пожалуйста, Ашерат, — протянул Федим Ахираму фигурку аиста.

Ахирам обещал выполнить просьбу.

Нааме вспыхнула, развернулась и быстрой походкой ринулась от ворот.

Что себе позволяет этот Ахирам? Да и родители хороши — при их попустительстве слуги что хотят, то и творят, распустились дальше некуда — играть в любовь с хозяевами — где такое видано! И Ашерат тоже. Мелюзга еще, ни кожи, как говорится, ни рожи. Что в ней такого нашел Федим?

Когда босые пятки Федима растворились в темноте, Ахирам вернулся во двор, заметил возле кухни Батбаал, подошел.

Батбаал с улыбкой выслушала его рассказ о Федиме. Ей тоже нравился этот скромный и порядочный юноша. И она рада, что еще один надежный человек будет сопровождать их в Карфаген.

Ахирам прав: путь неблизкий и местами даже опасный — не на всех дорогах еще наведен порядок. Работоторговцы не гнушаются и разбойничьей добычей. Не хотелось бы оказаться на невольничьем рынке где-нибудь на Кипре или в Малой Азии.

Ашерат, которой Батбаал передала фигурку аиста, очень обрадовалась. А узнав, что Федим отправляется в путь вместе с ними, и вовсе расцвела. До самого утра она не выпускала деревянную статуэтку аиста из рук.

Парфенида глаз не могла отвести от чуть ли не светящегося во сне лица Ашерат — давно она не видела ее такой счастливой.

Наамемилкат буркнула что-то нечленораздельное, но почувствовала, что поступок Федима, да и сам пустяшный подарок задела ее. По ее мнению, Ашерат еще не стоит тех знаков внимания, которыми ее надеются окружать. Еще больно мала и неказиста. Иное дело она, Нааме: и поумнее, и благороднее — она никогда не станет якшаться с кем попало и размениваться на мелочь.

С этой приятной мыслью Нааме и заснула.

18

Масса слуг, поспешность, но из имения выехали только на утро третьего дня, отправились посуху — Батбаал боялась, что младенцы, Ганнибал и Фелис, не перенесут качку. Да и затягивать отъезд было некуда, прибыть бы в Карфаген хоть за несколько дней до начала основных торжеств.

Федим, довольный тем, что едет вместе со всем семейством Барка, с радостью выполнял все поручения Ахирама: с несколькими рабами-охранниками скакал в авангарде, взглядом окидывал горизонт и округу, чтобы никто из недоброжелателей не застал их караван врасплох, помогал разыскать и подготовить место для привала в оазисах, набирал в бурдюки воду, по первой просьбе приносил ее в повозки женщинам. Когда не был нигде задействован, скакал рядом с женскими повозками, разговаривал с женщинами или девушками. Ему нравилось с ними общаться, он нисколько не чувствовал себя ниже их, с девушками вел себя, как с подружками, на равных; смело отвечал на поддразнивания Нааме, которая проявляла таким образом свое недовольство тем, что сына слуги взяли с собой в Карфаген, и тем, что он так вольно себя с ними, хозяевами, ведет; и тем, что Ашерат — слепой только не увидит — совсем равнодушна к юноше.

Впрочем, сама Ашерат внешне никак не выказывала своего чувства к Федиму; смеялась, когда он крутился возле них на лошади (но смеялись при этом все, кто сидел с ней рядом), бросала иногда на него восторженные взгляды, но старалась делать это украдкой, чтобы никто ничего не заметил (хотя от старших трудно было что-либо скрыть, осо-

бенно, если это касалось женских хитростей — они все эти уловки давно прошли, их трудно было по женской части чем-либо удивить).

Нааме эта шитая белыми нитками скрытность младшей сестры просто бесила. Она и сама не отказалась бы от мужского внимания, пусть даже и в таком невинном проявлении, поэтому особенно рьяно нападала на Федима, гнала его от их повозок, высказывала Ашерат недовольство тем, что сын смотрящего за рабами пытается ухаживать за дочерью хозяина, причем, открыто, навязчиво, без всякого смущения.

Батбаал пришлось даже как-то раз осадить Нааме: уж слишком разошлась она в своем недовольстве.

— Успокойся, пожалуйста, — сказала она. — Федим тоже член нашей семьи, перестань его унижать и подначивать, будь благоразумной.

Она видела, что в присутствии Федима Ашерат забывала свои печали, и беспокойные сны за время поездки ни разу ее не потревожили, можно было и ей спокойно готовиться к предстоящему торжеству.

Нааме обиделась, но задирать Федима не перестала, только делала это потом не так открыто и когда никого не было рядом.

Гамилькар заранее приказал подготовить все к приезду семьи и предстоящим праздникам. Батбаал оставалось только навести лоск и распорядиться насчет пиршественного стола.

Гамилькар был уже полностью готов к походу. Если бы не предстоящие торжества, он бы давно отплыл с подготовленным флотом к берегам Сицилии. Но он дал суффетам и Совету слово, что уйдет только после апофеоза праздника — воскрешения Адониса. Нельзя расстраивать богов — только благословленное богами дело сулило успех.

В оставшиеся до праздника дни имение Гамилькара в Мегарах превратилось в настоящий муравейник, в котором все двигалось, суетилось, кипело. Батбаал пришлось сходу с помощью Абимилька войти в курс дела, без промедления взять бразды правления в свои руки.

Многое, конечно же, было заготовлено заранее: сотканы обновляющиеся каждый год покрывала на пиршественные столы, в Лептис-Миноре у лучших портных заказаны новые одежды, в большом количестве закуплены ароматные смолы — весь праздник у алтарей Астарты и Адониса будут куриться аравийский ладан и душистая сирийская мирра.

Из имения в Бизацене были доставлены огромные корзины алых анемонов — цветов Адониса. Часть из них пойдет на плетение гирлянд для украшения портиков и колонн, часть — для ритуального посыпания торжественного шествия Астарты к своему возлюбленному. К помино-

вению бога завянут привезенные в горшках проросшие растения — «сады Адониса».

Все праздники в Карфагене (а их было немало) проводились с необычайным размахом и воодушевлением, однако красочнее и пышнее праздника похорон и последующего воскрешения Адониса, который проходил несколько дней, не было. Его не могли затмить ни Новый год, ни торжества в честь полнолуния, новолуния или сбора винограда, ни праздник обрезания деревьев на исходе зимы.

Никакого иного праздника не ждали с нетерпением весь год. Ждали все жители многолюдного города, потому что египтяне, которые проживали здесь, видели в Астарте свою Исиду, греки — Афродиту (а частично и Геру, супругу Зевса), финикийский Адонис для египтян олицетворял Осириса, для греков он давно стал своим, родным греческим богом.

Целые группы жителей объединялись в сообщества божественной Астарты, чтобы в течение года готовиться к знаменательному событию (впрочем, подобных сообществ в Карфагене были десятки — луноподобной Тиннит, могучего Мелькарта, грозной Анат, великого Баал-Хаммона, справедливого Мелека и др.). Члены сообщества под руководством жрецов и жриц Астарты и Адониса, в храмах которых проводились основные действия, активно включались в подготовку предстоящего мероприятия: ткали гобелены, шили одежды, плели цветочные гирлянды, помогали оформлять пиршественные столы.

На празднование воскрешения Адониса в Карфаген съезжались со всей округи, так что в такие дни в городе было не протолкнуться.

В прежние годы Гамилькар сам всегда сопровождал свою семью на праздник, но в этот год он, как вновь назначенный полководец, обязан был находиться в храме Адониса с элитой, поэтому было решено, что Мактаб, Ашерат и Наамемилкат, чтобы лично почтить благую богиню и ее воскресшего возлюбленного, смогут поприсутствовать на основной церемонии под пристальным наблюдением Ахирама.

Парфенида в который раз возмутилась: Мактаб снова исхитрилась пренебречь своей основной обязанностью — нянчить хозяйского сына. Мало того, оставить хозяйке вдобавок и своего ребенка! Как ей все время это удастся — одним богам известно. Но хозяин, — неуж ли ослеп?

Батбаал пришлось пристыдить старую няню: ничего страшного с детьми не случится, она ведь тоже остается, как остается и Иаазель, и сама Парфенида. Неужели они втроем не справятся с двумя младенцами? А девушки пусть побудут на празднике, поглядят на церемонию, на людей, — не вечно же сидеть в четырех стенах!

Впрочем, Мактаб поклялась именем самой Тиннит, что они долго на празднике находиться не будут, ведь пока Астарту вынесут из храма, пока пронесут вдоль подножья Бирсы, затем через всю огромную центральную городскую площадь, пока доберутся к храму Адониса в районе Верхнего города, — пройдет уйма времени, чуть ли не полдня.

Само собой разумеется, что Мактаб как кормилица двух младенцев так долго отсутствовать не может. Им хотя бы успеть к началу основного торжества — воссоединению влюбленных после долгой разлуки. К тому же их будет сопровождать Ахирам с верными людьми, поэтому девушки надеются, что вернутся домой скоро.

Ахирам заверил Гамилькара и Батбаал, что присмотрит за девушками, беспокоиться не о чем. Но это все было еще впереди. А накануне Мактаб упросила хозяйку отпустить ее на некоторое время в родной квартал в восточной окраине города — квартал ремесленников, где она проживала раньше и где была похоронена ее мать, чтобы повидаться с отцом.

С собой Мактаб позвала и Ашерат, и Наамемилкат:

— Поедьте, разведемся. Я покажу вам столько интересного!

Нааме скривила губы: что интересного может показать ей дочь мелкого торговца? Отказалась.

Абимильк впряг девушкам в повозку крепкого мула. Управлять повозкой вызвался Федим — за несколько дней пребывания в карфагенском имении они виделись с Ашерат всего пару раз, и то мельком. В Мегаре некуда было сбежать, негде было уединиться, чтобы остаться незамеченным. Юные влюбленные уже откровенно скучали о днях, проведенных в Бизацене. А тут выдался случай снова побыть вместе, пусть и в присутствии Мактаб.

Однако, несмотря на долгую разлуку, Мактаб пробыла у отца совсем недолго, в двух словах рассказала о своей теперешней жизни, о муже и сыне, пообещала вскоре показать деду внука, ведь они, скорее всего, еще с месяц пробудут в Карфагене: буквально через месяц, в праздник Астарты, Ашерат отметит свое совершеннолетие, поэтому уезжать обратно в сельское имение нет ни времени, ни смысла.

При упоминании особого праздника, когда совершеннолетние девушки вступали во взрослую жизнь и одним из традиционных ритуалов праздника являлось посвящение богине своей девственной крови, Ашерат покраснела и потупила взор.

Мактаб так просто говорила об этом, словно предстоящее событие было самым обычным, будничным, малозначимым. Хорошо еще, что ее

не слышали оставшиеся на улице Федим и Ахирам, не то вопросов (у Федима) было бы немерено.

Отец, как заметила Мактаб, за последний год сильно постарел, седина вплелась уже и в бороду, глаза потускнели, утратили привычный блеск, но сам он был еще достаточно крепок и как прежде и слышать не хотел о том, чтобы перебраться из квартала ремесленников куда-нибудь в Нижний город или поближе к порту.

Во-первых, на окраине квартала была похоронена мать Мактаб, которой он всю жизнь оставался верен, а во-вторых, и в-третьих...

Была масса остальных причин, по которым он свою скромную лачугу у подножья холма в Верхнем городе не хотел покидать ни в какую. Привык, говорит, к звонкому стуку молота кузнеца и монотонным песням соседа-гончара, которые тот напевал, когда вытягивал на круге из куска влажной глины изящную амфору. А может, он просто не желал покидать место, откуда хорошо просматривался храм Эшмуна на вершине Бирсы, а если смотреть в сторону моря, то и верхушка храма Адониса. И само море успокаивало его всегда, когда он поднимался на крышу дома и часами неотрывно смотрел вдаль.

Переубеждать отца Мактаб не стала и в этот раз. Жив, здоров — уже хорошо. И задерживаться не задержалась — перед торжествами хотела навестить и старых подруг, заглянуть в общество поклонниц Астарты, где в свое время была чуть ли не первой, пока не вышла замуж и не уехала в Бизацену.

Расписное шелковое покрывало, сотканное Мактаб, в свое время — несколько лет тому назад — было накинуто на голову богини, когда она направлялась к своему возлюбленному. Теперь это покрывало хранится в храме Астарты с посвятельной табличкой самой Мактаб.

Если бы кто знал, что творилось в ее душе, когда она переступала порог храма или прикасалась к покрывалу богини, сделанному собственными руками!..

Пока пробирались по узким улочкам к храму Астарты, где обосновалось сообщество, Мактаб рассказывала Ашерат, каким чудесным было время, которое она проводила в кругу своих подруг: они ткали богине холсты, плели в ее честь цветочные гирлянды, готовили для паломников и прихожан посильное угощение.

Но это еще что! Самой сокровенной и, увы, неосуществимой мечтой Мактаб было самой стать олицетворением другой великой богини: покровительницы Карфагена — Тиннит.

К сожалению, таковой могла быть исключительно девушка из аристократической семьи. Недостижимая для уроженки квартала ремесленников мечта. Где справедливость?

Все девушки Карфагена завидовали той, которая по жребию в текущий год олицетворяла богиню.

В отличие от Астарты, чью пышно наряженную деревянную статую несли из родного храма богини в храм Адониса и обратно, Тиннит как олицетворение самого Кардтхадашта воплощала живая девушка; ее, плоть из плоти настоящую, окутанную богатыми одеждами, обносили вокруг огромной городской площади на носилках несколько собственных жрецов богини. И в дальнейшем избранницу ждала вечная слава и уважение всех карфагенян.

Мысленно Мактаб часто переносилась в те времена, когда ее совсем юной признали лучшей из сообщества поклонниц Тиннит (да, когда еще была жива ее мать, истовая поклонница Тиннит, Мактаб состояла в обществе поклонниц именно этой богини). Неопишущее событие! Все соседи, узнав о ее победе, сразу же поспешили поздравить счастливицу и ее родителей, — в успехе девушки из семьи простого торговца они видели доказательство того, что не все в мире достается богачам. И хотя олицетворением богини в тот год стала все же дочь одного из членов карфагенского Совета (выборная комиссия наверняка получила взятку), всю праздничную неделю жители квартала несли в дом семьи Мактаб венки цветов, угощения и подношения, словно все-таки Мактаб выиграла конкурс, а не какая-то «мегарская штука». (Тогда, собственно, обиженная на несправедливое, по ее мнению, решение комиссии, Мактаб и перешла в общество поклонниц Астарты.)

— А вот у тебя такая возможность есть, — с полной серьезностью не раз говорила Мактаб. — Ты производишь из знатной семьи, а твои предки были в окружении самой царицы Элиссы.

Ашерат нечего было ответить кормилице ее младшего брата, она даже думать об этом не хотела, но работами мастериц из сообщества поклонниц Астарты заинтересовалась — совсем не будничными показались ей полотна, изготовленные их трудолюбивыми руками: золототканые, с вкраплениями в рисунке жемчуга и драгоценных камней: нефрита, опала, берилла, кварца, диковинного янтаря, который карфагенские купцы привозили из далеких холодных северных стран.

Она смотрела на праздничные одежды великой богини как завороченная.

Мактаб, заметила непраздное любопытство Ашерат, приобняла подругу за плечи и сказала:

— Когда тебя выберут ликом Тиннит, мы соткем тебе одежды еще богаче и красивее.

На обратном пути из храма Тиннит Мактаб непременно захотелось «хоть одним глазком» посмотреть на римского полководца.

Ахирам не приветствовал такое желание: молодым девушкам не должно смотреть на подобные мерзости. Он вообще был против решения Совета публично унижить полководца, пусть даже и вражеского. Тот, прежде всего, солдат; солдат должен умирать в бою, а не гнить на кресте, не быть пищей воронам.

Распять солдата на кресте, он считал, могут только люди, ничего не знающие про войну, никогда не бывшие на поле брани, не воины вообще.

К сожалению, в Совете, который одобрил подобную казнь Регула, почти сплошь и рядом сидели именно такие: торгаши, жрецы, крупные землевладельцы — что они могут знать о чести солдата? Отсюда и многочисленные расправы над собственными военачальниками, которые по той или иной причине уступили противнику, дали слабину, а то и просто ошиблись в выборе тактики. Что говорить о вражеских солдатах, если своих никогда не ценили?

Но Мактаб подольстилась к Ахираму, уговорила его пройти все-таки через центральную площадь, где на все торжества Марка Атилия Регула приковали к столбу.

В конце торжеств его должны будут во имя будущих побед принести воскресшему богу в жертву.

— Это займет не так много времени. Мы даже останавливаться возле него не будем. Ну пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, — затараторила Мактаб, насупив свои тонкие изогнутые брови.

Ахирам не смог отказать молодой девушке.

— Ладно. Но только мимоходом.

— Конечно мимоходом, — рванула вперед всех Мактаб. — Как же иначе?

Они свернули на центральную площадь и, несмотря на обилие народа, сразу же увидели над головами высокий деревянный столб, к которому привязали главного римского пленника.

Двинулись к нему. Тянула всех неугомонная Мактаб.

Ашерат было уже все равно. Хотелось поскорее вернуться домой. Они и так проблуждали почти полдня. Новые встречи, разные впечатления — усталость давала о себе знать. Да и на что там было смотреть — на умирающего человека? Мало ей тревожных снов? Ашерат не хоте-

ла этого видеть. Она надеялась, что у позорного столба они долго не задержатся, Мактаб удовлетворит свое любопытство, и они быстро пройдут мимо. Но Мактаб вдруг вскрикнула:

— Великий Мелькарт, что они с ним сделали! — заставив тем самым посмотреть в сторону привязанного к столбу римлянина и Ашерат.

Ничего более ужасного в Совете придумать не могли. На Регула, казалось, вылилась вся ненависть обезумевших от последних событий граждан Картхадашта, весь страх за свое будущее. Мало того, что он страдал на солнцепеке, его страшно секли смоченными в воде кожаными бичами, бросали в него камни и плевали. Вдобавок вырезали веки, чтобы он в течение всех дней праздника видел, как карфагенский народ почитает своих великих богов, как благодарит их за покровительство, как ежегодно дарует им самое дорогое, что у них есть, чтобы и в следующем году боги заботились о своих подопечных, даровали им мир, урожай и победу над неприятелем. Оставили римлянину глаза нараспашку, чтобы он видел, как карфагеняне ненавидят своих врагов.

Только кого должна была ненавидеть Ашерат?

Она взглянула в вылупленные зенки римлянина и вскрикнула от ужаса.

Ахирам в который раз мысленно выругал себя, что пошел на поводу у глупой девчонки, ведь он прекрасно знал, до чего впечатлительна младшая дочь хозяев.

Не меньше его испугался за Ашерат и Федим.

— Все, уходим, уходим! — рявкнул Ахирам, не принимая больше никаких возражений. — Народу сейчас прибавится, будем потом продираться сквозь толпу, как сквозь дремучий лес.

В этот раз Мактаб перечить не стала: что хотела — все увидела, где хотела — везде побывала.

Вечером покормив Фелиса и Ганнибала, Мактаб засыпала со счастливой улыбкой на устах.

Ашерат, напротив, не могла уснуть долго — перед ее мысленным взором упорно стояли выпученные глаза пленного римского полководца.

19

Накануне праздника, с предыдущего вечера, через ворота на Тебесту и через ворота Тиннит валом валил народ, чтобы успеть взглянуть на привязанного к позорному столбу на центральной площади римского полководца, а после занять место поближе к храму Астарты.

Всю первую ночь и последующие день и ночь вплоть до рассвета на его ступенях и на освещенных факелами улицах, как требовал того ритуал, сердобольные плакальщицы в траурных одеждах горько лили слезы в память о прошлогодней смерти возлюбленного богини — Адониса, об уходе его «в землю, откуда нет возврата, в жилище темноты, где дверь и засов покрыты пылью».

Некоторые мужчины в знак траура брили наголо головы и бичевали себя до крови. Во всех храмах города приносились различные жертвоприношения, заунывно звучали лиры, флейты и *авлосы*¹, пелись погребальные песни.

С наступлением темноты на второй день праздника толпы карфагенян в траурных одеждах с зажженными светильниками в одной руке и горшками с увядшими растениями в другой, с изображениями Адониса и траурными песнопениями спускались к морю, чтобы предать умершего бога воде, проводить его в последний путь.

Вместе с богом опускали в воду его изображения, увядшие в горшках растения — «сады Адониса» и считающиеся цветами бога алые анемоны.

На третий день траур по умершему богу продолжался, но уже во второй половине дня служба перемещалась в храм Астарты, в память о том, как богиня спускалась в подземное царство, чтобы вызволить оттуда своего возлюбленного и снова вернуть его в мир людям.

Ближе к вечеру Астарту из своего храма переносили в храм Адониса, где они сочтались, а на следующий — четвертый день праздника — Адонис возвращался к жизни, и горький траур сменялся безудержным весельем — Адонис воскрес, природа возродилась, бог не оставил людей.

В это утро — утро возвращения Адониса из подземного мира — до восхода солнца, в темноте, с факелами, изображение бога в торжественном шествии с музыкой и пением главная процессия через ворота Решефа опять выносила на берег моря — верилось, что душа Адониса возвращается на землю с первыми лучами солнца.

Кто не хотел толкаться в процессии, стремились как можно раньше взобраться на восточную крепостную стену, откуда во всем своем великолепии открывался вид на восходящее солнце и на процессию внизу.

¹ Авлос – духовой музыкальный инструмент, как правило, состоящий из двойных трубок. Близок к современному гобою.

Считалось, если самому при этом увидеть лучи зарождающегося солнца (и воскресающего Адониса), то следующий год окажется для тебя счастливым — окунающийся в море с появлением первых лучей солнца Адонис непременно услышит твои просьбы и обязательно исполнит их в наступающем году.

У Мактаб от позапрошлого года остались самые яркие впечатления. Она до сих пор помнит, как они с мужем чуть ли не первыми взлетели на крепостную стену и замерли, как и все, заворожено наблюдая, как солнце неторопливо поднимается над горизонтом.

Только пробились первые лучи, толпа радостно загудела, внизу под ними громко затрубили в трубы, где-то в стороне задорно зазвучали флейты, люди запели.

Вокруг разом, как по команде, все вскинули вверх руки с цветами и с криками восторга замахали ими.

«Адонис! Адонис!» — закричали со всех сторон, помогая воскресшему богу окончательно пробудиться.

Мактаб тогда загадала рождение сына. И он родился. Она искренно была убеждена — благодаря ее просьбе. Всеблагой Адонис услышал ее горячее желание!

После пробуждения Адониса многолюдная процессия двигалась обратно в его храм, чтобы там оживший бог мог встретиться со своей возлюбленной — Астартой, и где торжества продолжались с новой силой, только теперь в ореоле радости и веселья.

Воскрес Адонис, пробудилась земля, пришла весна, и все ожило!

На этот, четвертый день праздника, самый пышный и величественный и решили пойти девушки. Правда, только на встречу Астарты с Адонисом перед полуднем, так как Мактаб как кормилица не могла долго покинуть младенцев.

Уже с утра на узких улочках Карфагена в районе храма Астарты яблоку негде было упасть.

Даже когда статую рогатой¹ богини пронесли через площадь и процессия стала приближаться к храму Адониса, Ахираму с его дюжими помощниками (а среди них и Китион-лидиец с Бомилькаром) пришлось продираться сквозь толпу, как сквозь дикий терновник.

Народ словно ошалел. Накануне прошел слух, что в этом году, несмотря на оскудение государственной казны из-за войны, на торжество

¹ Традиционно Астарта изображалась либо с серпом луны на голове, либо с рогами, как одно из высших божеств небес.

воскрешения Адониса Совет как никогда выделил огромные деньги, то ли пытаясь таким образом умиловать богов, то ли заставить народ забыть обо всех бедах и неудачах прошлых семнадцати, несомненно, тяжелых для карфагенян лет.

Из далекого Библа, того самого, возле которого ежегодно река Адонис¹ окрашивается в кровь, приглашена была самая искусная в исполнении гимнов дева, чтобы спеть песню во славу воскресшего бога.

По окончании красочной церемонии храм Астарты устраивал для всех желающих пиршество, но многие жители сами искренне желали разделить с храмом его заботы — с утра до поздней ночи для пиршественных столов они несли вино и еду, угощая всех пришедших и иногородних.

Однако прежде нужно было поклониться самой Астарте и ее воскресшему возлюбленному. Только как это сделать, когда даже на огромной центральной площади Карфагена было самое настоящее столпотворение?

Девушкам пришлось у ворот на Тебесту выбираться из носилок и дальше двигаться к храму Адониса пешком — почти семь стадий² чуть ли не черепашьям шагом.

На протяжении всего маршрута разгоряченная толпа все время пыталась разделить их небольшую группу либо вытеснить ее за пределы своей кишасей массы.

Вокруг бесцеремонно работали локтями, толкались, пыхтели, упорно протискивались вперед.

Ахирам пожалел, что взял с собой только четверых человек. Он уже чувствовал своей широкой спиной обеспокоенного Федима, для которого такая толпа тоже была непривычна.

Крепко ухватилась за его руку Ашерат. Громкие звуки медных труб и кимвалов, барабанов и тамбуринов, многоголосье различных ватаг, которые то и дело выкрикивали восхваления Астарте и Адонису, неистово танцевали на улице или распевали гимны, действовали на нее пугающе.

Не по себе было и Наамемилкат. Только Мактаб находила во всей этой шумной толчее радость; на нее многолюдная толпа действовала опьяняюще, это была ее стихия.

¹ Река, впадающая в Средиземное море возле Библа. Ныне – река Нахр-Ибрагим в Ливане.

² Около 1,5 километров.

Мактаб упивалась каждым звуком музыкального инструмента, каждым происходящим действием. Она так жадно вглядывалась в иступленные лица, будто навсегда хотела запечатлеть в памяти все происходящее (еще бы — когда они теперь вернутся в Карфаген?). Она же первая заметила и пышную процессию, в центре которой на крепких плечах слуги Астарты несли свою богиню в храм Адониса.

Статуя богини была встречена оглушительным ревом, толпа всколыхнулась, волна возбуждения быстро пронеслась по ней и хлынула в сторону шествия.

Астарту, как и Адониса, ранним утром с чтением гимнов, песнями и плясками выносили из ее жилища. В окружении жаждущих увидеть богиню и прикоснуться к ней, а если не удастся, хотя бы к ее рабам, новая процессия неторопливо, размеренным шагом обходила огромный район, в котором находился храм богини, словно Астарта сама в который раз вышла из дома, чтобы встретиться наконец со своим возлюбленным. Затем процессия двигалась вдоль подножья Бирсы к центральной площади Города, также неторопливо пересекала и ее и сворачивала на восток к храму Решефа, от которого открывалась прямая дорога к обители Адониса.

Мактаб как раз и увидела процессию, миновавшую чертоги Решефа.

Астарта двигалась к воскресшему Адонису, и все встречали богиню, посыпая ей путь цветами, разбрызгивая перед ней вино, восхваляя и сердечно радуясь ей.

Флейты при появлении великой богини зазвучали задорнее и громче, барабаны забили чаще, кимвалы звонче, звуки музыкальных инструментов смешались с ликованием и ревом толпы, сам воздух, казалось, дрожал и звенел на самой высокой ноте.

С высоких открытых террас храма Адониса жрецы взметнули в небо огромную массу олицетворяющих богиню белых голубей.

Голуби резво вспорхнули, часто и громко хлопая крыльями, на глазах сбились в одну волнующуюся стаю и словно зависли над храмом, легким ветерком увлекаемые с одного места на другое.

Толпа грянула диким восторгом, засвистала, всколыхнулась, наиболее ловкие стали пробиваться поближе к шествию, но даже им не Такто легко было это сделать, потому что у храма Адониса скрещивались две дороги: дорога, ведущая к воротам на Тебесту, и дорога, приходящая от центральной площади. Две толпы сливались в одну, спеша протиснуться к месту главного действия.

Ахирам напрягся, так как со всех боков на них стали напирать, по-верх голов быстро глянул, куда их занесло, и, крепче сжав руки Ашерат и Наамемилкат, кивнул Китиону двигаться за ним следом к ближайшей лавке — ее стены могли помочь им защититься от толпы хотя бы с одной стороны.

Китион сразу понял, чего хотел Ахирам; они плотнее окружили девушек и, как упорная черепаха, мало-помалу направились к одной из храмовых лавок.

У стены быстро расчистили место плечами и дали девушкам перевести дух, отгородив от всех своими атлетическими телами.

— Сегодня творится что-то невообразимое, — произнес, отдышавшись, Федим.

— Ты просто давненько не был на больших праздниках, брат, — с усмешкой посмотрел на юношу Китион и дружески хлопнул его по плечу. Потом спросил девушек:

— Ну что, красавицы, еще не передумали поклониться Астарте и Адонису?

— Конечно, нет! — вспыхнула Мактаб. — Такое разве можно пропустить? Без наших молитв Астарте никогда не пробудить своего возлюбленного! Передумали! Такое мог сказать только варвар, у которого нет Баала в сердце! Или который никогда в жизни не был влюблен!

— Ладно, ладно, грозная Анат, успокойся, — поспешил извиниться перед девушками Китион. — Я не хотел никого обидеть, — снова усмехнулся он, и в надежде, что друзья поддержат его, посмотрел на Ахирама и Бомилькара, но Ахирам по-прежнему был сосредоточен на окружавшей их толпе, а Бомилькар глянул на друга даже укоризненно — в какой-то степени Мактаб была права: несмотря на их дружбу, Китион был и остается греком, а значит, иноземцем, варваром, для которого финикийские обычаи не слишком много чего значили.

Ашерат была согласна с Мактаб: как люди не могут существовать без богов, так и боги не могут обходиться без людей. Люди, забывшие о своих обязанностях перед богами рисковали потерять их благосклонность. Однако сейчас из-за такой толчеи она была бы рада оказаться скорее дома, и еще лучше — даже не в Мегаре, а в Бизацене. К тому же мощные камнем улицы к полудню стали прогреваться сильнее, дышать становилось все труднее.

Но упорная Мактаб вовсе не намерена была сдаваться.

— Если мы будем и дальше так стоять, рискуем вообще ничего не увидеть: когда богиню внесут внутрь, двери закроются. Храм небольшой, всех не вместит, мы можем не услышать пения библской девы. А

такое не часто происходит. Пойдемте скорее вперед. Федим, где цветы, которые мы хотели бросать к ногам богини? Идемте, идемте, хватит жаться к стенам!

Ее поддержала и Наамемилкат.

Мактаб ринулась вперед, несмотря на плотную стену человеческих тел перед ней.

— Вот безумная, — удивился напористости хрупкой девушки Китион, но поспешил за ней, ибо и Ахирам вскоре двинулся разрезать толпу своим могучим торсом.

Бомилькар и Ирхулин отсекали недовольных слева и справа.

На удивление, Мактаб, где криком, где локтями в мгновение ока пробилась к процессии богини и даже исхитрилась прикоснуться к ее носилкам.

— Ликуй, царица небес, ликуй, богиня Луны! — с неопишуемым упоением метала она вслед удаляющимся к храму носилкам богини анемоны.

— Слушай, брат, может, стоит урезонить клушу, не то с ней нас всех тут раздавят, как клопов? — почти в самое ухо Ахирама с усмешкой пробасил Китион. — Моя туника давно разошлась под мышками, еще пару шагов, и я останусь совсем голым.

Ахирам с опаской косился по сторонам, боялся, как бы толпа не хлынула на них с разных сторон и не сдавила девушек. На Китиона он даже и не взглянул.

— Нужно спешить, — не унималась Мактаб. — Как только носилки внесут в храм, ворота закроются!

Она была права — по сравнению с остальными, территория храма Адониса была небольшой, за его стенами могло вместиться не более десяти тысяч человек¹, на праздник обычно съезжало со всей округи свыше ста тысяч.

Ахирам, как заколдованный, двинулся дальше.

Китион несколько удивился податливости могучего друга, но больше возмущаться не стал, потому что теперь ему и задуматься было некогда — со всех сторон их снова стиснула разгоряченная толпа, которая, как и они, тоже жаждала поскорее прорваться в храм Адониса.

¹ Храм Эшмуна на вершине Бирсы (по словам Аппиана) вмещал до 50 тысяч человек.

Но вот и высокая стена храма, вот и ведущие во двор широкие, массивные, покрытые тонкими рифлеными золотыми пластинами с изображениями солнца и звезд, кедровые ворота.

Мактаб по-прежнему впереди, рядом с ней Ахирам, по бокам Китион с Бомилькаром, за спиной Ашерат и Наамемилкат, замыкают группу — Ирхулин и Федим.

Одними из последних их впускают внутрь, и ворота натужно закрываются.

Оттесненные от ворот храмовыми рабами не успевшие попасть во двор паломники еще несколько минут возмущаются, но потом голоса их стихают, а на стене над воротами жрец Адониса громко нараспев начинает славить воскресающего бога, в то время как внутри храмового комплекса процессия с Астартой мало-помалу приближается к высокому мраморному постаменту у ступенек самого храма, на котором в горлянде разных цветов и зеленых ветвей хвои возлежит юный Адонис. Глаза его еще прикрыты, но лицо уже — не бледное лицо обитателей подземных чертогов. Он пробудился к жизни, он воскрес!

Смолкли все звуки, люди затаили дыхание, только с высокой стены над центральными воротами храма жрец наизусть продолжает громко читать поэму-молитву о множественных перипетиях молодого бога после рождения, о его росте и возмужании, о встрече с Астартой в цветущей долине буйной реки, о нападении коварного вепря, лишившего его жизни, и об уходе Адониса в мрачное царство бога подземного мира.

Все внизу внимают речитативу жреца. На возвышающиеся вдоль стен храмовой ограды каменные бетилы, олицетворяющие других богов, равных божественному Адонису, льются елей, мирра и красное вино. На раскаленных углях каменных жертвенников курится сладкий фимиам. Астарта приближается к ложу возлюбленного.

Мактаб просит Ахирама приподнять ее над толпой.

— Как он прекрасен! — невольно вырывается у нее. — Посмотри, Ашерат, посмотри! — настаивает она, когда Ахирам опускает девушку на мозаичный пол двора.

Ахирам с Китионом приподнимают сначала Наамемилкат, затем Ашерат.

Ашерат смотрит поверх голов, и ее тоже переполняет восхищение.

Астарта в белоснежной тунике и голубой накидке, отороченной золотом и расписанной звездами бесподобна; очарователен и Адонис, до пояса прикрытый голубым покрывалом, с венком из хвои на голове.

Губы Астарты чуть улыбаются. Губы Адониса больше не запечатаны смертью, в них присутствует жизнь (жрецы покрыли их кармином).

Магическая песнь вскоре разбудит спящего бога, он откроет глаза, вдохнет полной грудью, и полной грудью вздохнет вослед природа, наполнит все окружающее жизнью.

Снова взмывают в небо голуби. Астарту опускают у ложа возлюбленного.

— Слава Астарте! Слава Адонису! Ликуй, царица небес! Ликуй, богиня Луны! — восклицает со стены жрец, и люди внутри и снаружи храмовой ограды громко вторят ему:

— Слава Астарте! Слава Адонису! Ликуй, царица небес!..

По обеим сторонам храмовой лестницы, на подиумах, утробно загудели огромные медные трубы.

— Ликуй, богиня Луны! — в один голос снова грянула неугомонная толпа внутри храма.

— Прими наши подношения, Лунолика! — выкрикнул жрец на стене.

— Славься!.. — разом выдохнула толпа.

Из восточных ворот ограды храма появились жрецы, на поводке они вели белую непорочную телицу. Эта телица, предназначена в дар богине и ее возлюбленному. Чуть поодаль за ними, на привязи, шла белая овца-одногодка. В высоких клетках несли белых голубей, также в дар богине. За голубями шествовали девушки с корзинами, которые были наполнены предметами, необходимыми для жертвоприношения: ножи, венки, соль, специи, благовония...

Поднявшаяся на стену дева из Библа протяжно затянула старинную песню о воскрешении божественного Адониса.

Ее чистый звонкий голос под аккомпанемент музыкальных инструментов неторопливо поплыл над головами присутствующих. Все жадно внимали этим словам и звукам, сердца их наполнялись радостью и счастьем.

Кровью жертв окропили алтари: большой медный на мраморном возвышении в центре храмовой площади и меньшие из цельных неотесанных каменных глыб по разным сторонам от главного жертвенника.

На центральном алтаре готовилась жертва всежжения.

С дымом жертвенного огня уносились в небо людские молитвы и славословия богам. Боги должны быть довольны.

Толпа опять всколыхнулась, и те, кто не успел прикоснуться к богине, с новым упорством потянулись к ее носилкам.

— Давайте подойдем к Адонису, — стала умолять мужчин Мактаб. — Ну пожалуйста! И всё, и домой!

Китион в который раз глянул на девушку осуждающе. Но Ахирам поддержал ее — пора было возвращаться: он обещал хозяину и хозяйке, что долго на празднике они не задержатся.

Ахирам приказал товарищам сомкнуться и плотнее взять в кольцо девушек. Они вклинились в живой поток, который устремился к богине.

Сегодня Астарта ночует в храме возлюбленного. Завтра, ближе к вечеру, богиня вернется обратно в свой храм с новыми песнями и плясками, свежими возлияниями и воскурениями...

«А утром отправится на войну отец», — неожиданно возникает мысль у Ашерат, и от этой тревожной мысли ей становится не по себе. Эта мысль затмевает собой все звуки: пенье библской девы, игру музыкальных инструментов, гам толпы. Время для Ашерат словно останавливается, люди вокруг нее замирают.

Ашерат недоумевает: что происходит? И только когда на лицо внезапно падают брызги крови, она пугается, приходит в себя и понимает, что они двигаются уже мимо высокого алтаря, на котором будут сжигать телицу.

Ашерат удивленно смотрит вверх, туда, откуда летят брызги крови, и видит жреца, окропляющего алтарь, но не задерживается на нем, чувствуя, что кто-то хочет, чтобы она и на него посмотрела. Даже не хочет, а требует, властно и настойчиво.

Ашерат переводит взгляд правее и натывается на вперившийся в нее взгляд Астарты! Ашерат бросает в пот.

Деревянная статуя Астарты изображала богиню, склонившую голову в молитве за возлюбленного. Астарта же, на которую смотрела Ашерат, глядела на нее в упор выпученными глазами истерзанного на площади римского полководца! И взгляд этот словно говорил: «Только ты одна меня видишь. Только тебе одной дано меня видеть!»

И снова вокруг умолкли звуки, как будто Астарта хотела что-то сказать Ашерат в полной тишине, но тут к богине потянулись руки, множество рук в надежде прикоснуться к ее носилкам или одежде. И все они — руки — были красные, окровавленные. Они марали кровью края ее одежды и носилки.

Такими же руками — о, боже! — тянулась к богине Мактаб; тянулась и не могла дотянуться, хотя лицо ее горело необоримым желанием.

Вид протянутых к богине окровавленных рук еще больше испугал Ашерат. Она снова посмотрела в глаза богини, но в этот раз богиня была как прежде с опущенными глазами.

На лицо Ашерат вновь брызнула кровь, и вслед за этим разом взорвались все звуки, ее качнуло в сторону.

Ахирам, не дав упасть, поддержал девушку, бросил товарищам: «Уходим», — и сразу же направился к выходу из территории храма. Хорошо еще, что входы и выходы из храма развели, не то народ точно передал бы друг друга.

Китион, поддерживая за предплечья Наамемилкат и Мактаб, устремился за Ахирамом. Бомилькар с Ирхулином по-прежнему сдерживали напор толпы с боков.

Покинув двор храма Адониса, они поймали продавца воды и окропили ею Ашерат. Ахирам спросил девушку, как она себя чувствует.

— Все нормально, — ответила Ашерат, хотя перед глазами кровавые руки из толпы еще тянулись к носилкам Астарты.

— Сможешь сама идти?

— Да, смогу.

Ашерат поднялась и тут же ухватилась за протянутую руку Федима, прижалась к его плечу.

— Ну что ж, — сказала Мактаб. — Хвала Астарте, все живы-здоровы, пора, как говорится, и честь знать, возвращаемся домой.

Китион хмыкнул, не удержался, чтобы не уколоть неугомонную Мактаб:

— Да ну, если бы не младенцы, ты наверняка бы отплясывала на празднике до утра.

— Почему бы и нет. Когда я была чуть моложе...

— Ты была моложе? — усмехнулся Китион, сворачивая на улицу, ведущую к Мегаре.

— Вот бестия! Типун тебе на язык! Что ты этим хочешь сказать? По-твоему я уже старуха? Ты совсем из ума выжил?

Их невозможно было разнять, Ахирам и не стал.

Ашерат с нежностью взглянула на Федима, он еще поддерживал ее за талию.

— Как я хотела бы поскорее вернуться в Бизацену, на наше озеро. А ты?

— С тех пор, как мы здесь, я только об этом и мечтаю, — тихо сказал в ответ Федим.

Наамемилкат глянула на них с укоризной: как только родители поощряют эту неподобающую связь слуги и господской дочери? И снова ее остро кольнула зависть.

Мактаб вернулась с праздника в приподнятом настроении. Она была в восторге от певуньи из Библа, ее завораживающего голоса, ее необычной прически и бесподобного наряда. Но более всего от того, что с ними не пошла Парфенида.

— Ох и лопнет она от зависти, что не смогла увидеть и послушать библскую деву. А ведь могла пойти с нами, ваша мама ее отпускала, но она не пошла. Нарочно не пошла, чтобы досадить мне. Но досадила ли? Сама себя наказала! — лопотала Мактаб без остановки до самой усадьбы

Нааме тоже понравилось действие, но несколько утомила толпа, суета, шум. Она даже не спорила с Мактаб.

Ашерат долго не могла прийти в себя, сидела в носилках потупив взор и на щебетанье кормилицы брата мало обращала внимания, для нее голос Мактаб заглох где-то на середине пути.

Что новое виденье несло в этот раз?

Если ее мрачные и необычные сны еще можно было как-то понять, попытаться объяснить, то сегодняшнее виденье совсем не поддавалось истолкованию.

На что намекала богиня, обращая на нее свой взор? Почему к ней так упорно тянулись кровавые руки?

— Вы меня совсем не слушаете, — с возмущением уставилась на сестер Мактаб. — Что с вами? Не рады, что мы вырвались на праздник?

Ашерат отрешенно посмотрела на кормилицу, Нааме криво усмехнулась: вот пристала!

Мактаб снова вспыхнула:

— Да что с вами? Вы часом не заболели? В такой толпе совсем с ума сойдешь. Ничего. Сейчас приедем домой, и вам станет полегче.

Хотелось бы, чтобы именно так и произошло, думала Ашерат. Сперва, в Бизацене, говорили, что переберемся в Карфаген и тревожные сны уйдут сами по себе. Но вот перебрались, а тревожные сны никуда не исчезли, мало того, стали еще мрачнее и непонятнее. И кажется, от них никуда невозможно уйти.

«Не думай, отвлекись», — советовала Мактаб. Но если бы можно было так просто отбросить ночные кошмары!

Ничем не могла помочь и мама — сейчас ей было не до Ашерат. Предстоящий отъезд отца почти полностью лишил ее сил, хотя она и старалась скрывать свои чувства. Да и отец уверял, что не пройдет и полгода, как он заберет их к себе на Сицилию, разберется только с делами. Но вряд ли война так быстро закончится — прибывшие из Рима

согледатаи уверяли, что римляне вновь копят силы для новых военных кампаний.

Батбаал и вправду было нелегко. Был бы постарше маленький Гамилкар, она не задумываясь настояла бы на том, чтобы Гамилкар сразу же взял их с собой. Хотя, куда взял? Оставшиеся на Сицилии подвластные Карфагену крупные города — Дрепан и Лилибей — который год осаждены с суши. И достоверно известно, что римляне, захватывая принадлежавшие карфагенянам города, не щадят ни старого, ни малого. Мужчин без разбору вырезают, женщин и детей продают в рабство. Какая мать пожелает подобной участи своим детям?

Наступивший праздник в некотором смысле ей даже в облегчение: за мелкими хлопотами мысли о предстоящей разлуке с мужем, мысли о том, что он все-таки отбывает не на праздную прогулку, а на самую настоящую войну, где только богиня судьбы знает, что может случиться; мысли эти понемногу притупляются, отступают на задний план, помогают Батбаал, что называется, держаться на плаву, не раскиснуть, не расклеиться окончательно. Да и об остальных стоило подумать. Какое громадное хозяйство остается под ее крылом, какой груз!.. Но, может, оно и к лучшему — будучи вся в делах и заботах, она не поддастся коварной печали и отравляющему жизнь унынию. А уж сейчас, в столь большой и светлый праздник воскрешения Адониса, праздник прихода весны и возрождения всего живого, праздник, который всегда был ей особо люб, и вовсе некогда хандрить.

Пока Гамилкар находился в храме Адониса, где он обязан был вместе с суффетами и членами Совета участвовать во всеобщем жертвоприношении, Батбаал распорядилась по хозяйству, готовила все к праздничному столу, ведь в эти дни по давнему обычаю рабы делят пищу вместе с хозяевами. А если добавить сюда еще и гостей, коих тоже соберется больше чем достаточно, забот получается — полон рот.

Гамилкар вернулся из храма Адониса только поздним вечером, но за спиной у него словно выросли крылья.

Батбаал понимала, что мужчина живет исключительно делом, которое делает или которое ему предстоит совершить. Но в глубине души она не хотела этой мужниной радости, в тени которой, как мрачные призраки, затаились готовые вырваться в любую минуту коварные печаль и разлука. Но в ее ли силах изменить происходящее?

С Гамилкаром в усадьбу прибыли и Верховный жрец Баал-Хаммона Гербаал, и его правая рука Белшебек. Давно уже ждали хозяина все находящиеся в Карфагене его ближайšie друзья и единомышленники,

среди которых Гамилькар заметил и вернувшегося Нагида, и соседа, купца Сиппара. Стояли только те рабы, которые прислуживали за столом, остальные сидели плечом к плечу с гражданами, им подавали из тех же блюд, из которых подавали хозяевам.

Женщинам накрыли отдельно, в саду возле хозяйственных построек.

Праздничный стол перед домом ломился от всевозможных яств — Гамилькар никогда не отличался скупостью. Куски жертвенного тельца разложили на несколько огромных бронзовых блюд; в ароматном соусе нежилась тушеная рыба; жареные дрозды и поросята соседствовали с запеченными в глине утками; румяные пирожки утопали в зелени; фрукты последнего урожая возвышались между этим изобилием горками. Виночерпии зорко следили за тем, чтобы чаши гостей не успевали опорожняться.

В наступившей тишине, в прозрачном вечернем воздухе голос произносящего тост Верховного жреца отчетливо доносился даже до противоположного края длинного стола.

Гербаал говорил всегда неторопливо, словно каждый раз, открывая рот, где-то в глубине своего обширного ума старательно взвешивал каждое слово. Ничего лишнего, ничего туманного. Врать было нечего ни себе, ни другим. Враг вплотную подступил к нашей земле. Родина не на волоске от гибели, но в большой опасности. Счет погибших граждан и их союзников идет на десятки тысяч. Карфаген больше не господствует на море, как еще каких-то лет двадцать назад, у всех на памяти. Но история показывает, что в самые мрачные времена всегда появляются люди, способные изменить положение к лучшему, люди, убежденные в том, что они нужны отечеству, востребованы отечеством как никогда.

— Таким, просто необходимым сейчас для родины человеком, я считаю нашего Гамилькара, — от чистого сердца сказал Гербаал. — Насколько я его знаю, настолько уверен в нем, в его уме, таланте и одаренности.

Гамилькар всегда чурался лести, от возникшей неловкости улыбнулся и опустил голову. Но лица его друзей и единомышленников были серьезны. Они поддерживали слова Верховного жреца, так как были согласны с ними полностью.

— За тебя, Гамилькар! — поднял выше свою чашу с вином Верховный жрец. — За твои успешные дела!

— Да здравствует Гамилькар! — в который раз раздалось в пышных садах Гамилькаровой усадьбы. При ярком свете полной луны они прозвучали веселее, значимее.

У Батбаал от последних слов Верховного жреца сдавило сердце.

Она стояла в тени апельсиновых деревьев неподалеку от дома, и ей хорошо был виден и Гербаал, и сам Гамилькар, сидевший рядом с ним.

В установившейся на несколько минут тишине, изредка прерываемой пением цикад, речь Гербаала и одобрительные голоса гостей были слышны отчетливее, и все равно Батбаал прислушивалась к каждому звуку, который долетал со стороны стола, боясь упустить что-нибудь важное.

В этой сосредоточенности она не заметила, как подошла Парфенида, сказать, что все женщины собрались и ждут ее; что не приступают к трапезе без хозяйки дома.

Батбаал посмотрела на Парфениду, не понимая, чего от нее хочет кормилица.

Старушка появилась за ее спиной словно тень. И только когда Парфенида произнесла «девочка моя», Батбаал пришла в себя, прижалась к ней, спрятала, как в детстве, лицо на ее плече и больше не стала сдерживать слез.

Хорошо зная свою воспитанницу, Парфенида дала ей выплакаться. Потом, спустя какое-то время, сказала:

— Давно ты, дочка, не плакала на моем плече.

21

Рассвет следующего дня, несмотря на вчерашний апофеоз праздника, многие жители Карфагена также встречали на восточной крепостной стене. С минуты на минуту сюда из бухты в Тунисском озере должна была подойти флотилия Гамилькара, чтобы от жрецов воскресшего бога и самих жителей получить благословление на ратные дела.

Гамилькар перед отплытием даже не прилег.

«Выплюсь в море», — усмехнулся он, когда Батбаал попыталась уговорить его отдохнуть хоть немного. Хотя сама, то ли от избытка чувств, то ли от волнения, так и не уснула. Да и к восходу нужно было находиться на крепостной стене, чтобы лично увидеть лучи зарождающегося солнца и загадать желания, которые, по поверию, Адонис непременно услышит и исполнит в наступающем году.

У Батбаал их не так много: чтобы как можно скорее закончилась война и Гамилькар вернулся домой живым и невредимым. Хотя иначе и быть не может! Баал-Хаммон не допустит гибели своего любимца Карфагена, а его извечная покровительница — божественная Тиннит — сделает все, чтобы ненастья обошли стороной их мирный город. Батбаал искренне в это верит.

Все как замороженные смотрели на восток. Только пробились первые лучи солнца, позолотили верхушки Атласных хребтов и горизонта, толпа радостно загудела, и, как и вчера, где-то громко затрубили в трубы, задорно зазвучали флейты.

«Адонис! Адонис!» — снова заголосили со всех сторон.

Тут кто-то крикнул: «Корабли плывут! Корабли!» — и толпа, увидев в легкой дымке флотилию Гамилькара, которая неторопливо выходила из Тунетского озера, направляясь к прибрежной процессии, загудела еще сильнее.

Море как никогда было спокойным. Весла кораблей ритмично поднимались и опускались в воду; в восходящих лучах они также отливали золотом. Ощетинившиеся копьями солдаты, которые плечом к плечу замерли вдоль обитых щитами фальшбортов, вызывали откровенный восторг.

Толпа на несколько минут притихла, когда боевые корабли подошли поближе и развернулись носами к Карфагену, потом снова возликовала — разве можно с таким флотом не победить врага?!

Даже Батбаал, у которой то и дело на глаза накатывались слезы, не могла оторвать глаз от четкой линии их длинного ряда.

Еще несколько минут навязчивое видение провожавших их корабль людей, Батбаал с маленьким Ганнибалом на руках на крепостной стене упорно стояло перед глазами Гамилькара, словно боялось — отведи глаза и обманчивая пелена рассеется. И вот уже крепостные стены города окутало легкой дымкой, волна стала выше, из звуков остались только крики чаек над головой, удары весел по воде да всплески разбивающихся о борт неумных морских волн, и Гамилькару стало как-то не по себе, как будто кто-то вырвал у него из груди сердце и схоронил далеко на родной земле. Только редкие голоса тех, кто ничего не оставял за плечами, кому нечего было терять, помогли Гамилькару стряхнуть навязчивую пелену прошлого, вернуться в настоящее и внутренним взором окинуть то, что, как ему виделось, ждало его в будущем.

Он отвернулся от родных берегов, глянул на задумчивого проревса¹, на свою команду, угрюмой неизвестностью припечатанную к высо-

¹ Наблюдатель на носу корабля, в обязанности которого входило смотреть вперед и следить за появлением опасности (греч.).

ким, задрапированным круглыми щитами бортам корабля, глянул на погруженных в себя воинов на палубе и громко сказал, чуть ли не крикнул:

— Что захандрили, друзья мои? Разве не вы хотели вырваться из плена будней, оторваться от женского плеча и снова почувствовать себя мужчинами, воинами, мастерами ратных дел, для которых уныние и печаль — пыль под ногами, а жажда славы на поле боя — крылья за спиной!

— Да, Гамилькар! — раздалось с разных сторон несколько голосов.

— Тогда сбросьте скорей в пучину моря заразную печаль, швырните вдогонку ей злосчастное уныние, дайте под зад коленом навязчивой нуди и раз и навсегда попрощайтесь с ними. Я не дам вам больше скучать. Со мной вы забудете про гадкие слова «тоска и скука». Я обещаю вам бешеный стук сердца в груди, алчную жажду боя, желание победить врага, почувствовать себя настоящими мужчинами, такими, какими создал нас бог: сильными, дерзкими, отважными, способными на великие подвиги, а не прозябание.

— Да, Гамилькар! — еще дружнее и громче донеслось с палубы.

— Ну-ка, келевсты¹, задайте живее ритм! Флейтисты, возьмите самую высокую ноту! Запевалы, гряньте что-нибудь позабористей, чтобы больше и тени уныния не видел я на ваших лицах — не на похороны плывем, не в Геенну огненную спускаемся! Дайте жару, певцы и подпевалы, чтобы сам бог моря услышал вас, повеселел и попутному ветру приказал сопровождать нас на всем нашем пути!

Вокруг зашевелились, под верхней палубой матросы дружно налегли на весла. Где-то на краю флагмана расторопный запеваля грянул задорным мотивом, и матросы вмиг подхватили взорвавшуюся песню, по-хулигански острую, по настроенью бойкую. И после этого показалось даже, что волны налетают на корабль играючи, чайки вокруг реют, как бестелесные, а впереди воинов ждут не кровавые сечи на свою гибель, а пустячная вылазка в стан врага. Чистое небо, спокойное море, уверенность в себе, — чего еще желать матросу в долгом плаваньи?

А затем, когда были убраны весла, установлена мачта и натянут прямоугольный алый флагманский парус; когда полотнища распустили

¹ Келевст – управляющий гребцами. У карфагенян, как правило, гребцами служили граждане, у греков – рабы. Келевст на греческом судне исполнял также функции надзирателя и тюремщика гребцов–рабов.

и остальные корабли — появились дельфины, вестники бога моря, и еще больше взбодрили всех, ведь их появление по приметам сулило удачу.

Боги благословляли их поход, боги поддерживали их, значит, они будут непобедимы!

Гамилькар повеселел. Как долго он ждал этой минуты. Готовился к ней, можно сказать, всю жизнь. Сам воспитал себя, сам закалил для предстоящих боев и походов. И теперь идущая за ним пусть и небольшая эскадра — тому доказательство.

— Курс на Эгусу¹! — Гамилькар наконец-то огласил направление.

Его приближенные знали: Гамилькар — стратег до мозга костей, и его предосторожность во всем (даже в отдаче окончательного решения) — всего лишь отражение его мышления как полководца.

А замыслов у Гамилькара было на тот день множество. Ему как флотоводцу на руку было то, что римляне до сих пор не осмелились вновь выйти в море после поражения у Дрепан Клавдия Пульхра и роковой гибели 120 судов под командованием Луция Юния Пулла от ужасной бури возле Лилибея. Море вокруг Сицилии оказалось свободным, но средств, которыми располагал Гамилькар, было, как он считал, пока недостаточно для ведения активных действий на суше. Карфагенский Совет только назначал главнокомандующего, остальным (в том числе снабжением и финансированием) должен был заниматься он сам, на свой страх и риск, на свою удачу.

Совет помогает, только если у него есть возможность, в остальном же — сам напрягай свои извилины, на то ты и полководец...

Осажденный римлянами с суши Лилибей тоже вряд ли смог бы ему содействовать. Скорее Гамилькар своим присутствием мог вселить в его граждан надежду на освобождение.

Рим, как известно, на этот год одним из консулов избрал Луция Цецилия Метелла, того самого, который четыре года назад разбил карфагенян возле Панорма, справив потом пышный триумф. Это именно он провел по улицам Рима тринадцать захваченных в плен карфагенских полководцев и сто двадцать боевых слонов. Противник более чем серьезный. Нельзя допустить, чтобы он развернулся на Сицилии во всю свою мощь.

¹ Один из небольших, так называемых Козьих островов, расположенных напротив Лилибея на Сицилии.

Гамилькар оторвался от дум. Солдаты на палубе отдыхали: кто чистил оружие и амуницию, кто дремал на походных матрасах, кто с азартом играл в кости, собрав вокруг кучку ротозеев. Парус наполнился благодатным ветром. Можно было и самому вздремнуть — потом вряд ли будет время для праздности.

Гамилькар направился в палатку на носу корабля. Карфаген давно исчез из виду.

Заснуть, однако, Гамилькару, как он ни хотел, не удалось. В голову одна за другой то и дело лезли навязчивые мысли.

Как так получилось, что карфагеняне, перед войной владея почти всей Сицилией, теперь оказались оттесненными к самой западной ее оконечности?

Римляне бахвалились, мол, они народ восприимчивый и из учеников делают лучше учителей: в древности пользовались прямоугольными щитами, в то время как тиррены¹ сражались бронзовыми, круглыми, выстраивались в фалангу; приняв их вооружение, римляне разгромили тирренов. От других народов переняли продолговатые щиты, которыми сражаются и поныне, и манипулы² и одолели противников их же наукой. От эллинов научились осаждать города и осадными машинами разрушать стены. От Пирра — сооружать во время походов укрепленные лагеря. От карфагенян — искусство ведения морского боя... Римляне столь удачны в войне? Или какая-то несокрушимая мощь незримо присутствует за их спинами?

Наши боги слабеют с каждым днем, боги римлян набирают все больше силы. Почему? Гамилькар не мог ответить на этот вопрос, как не мог понять и то, как боги могут быть лживы, холодны и лукавы. А именно таковы божества римлян, позаимствованные, как говорят, у лживых и плутоватых эллинов. Таковы и сами римляне.

Кто первым нарушил мирный договор между Карфагеном и Римом? Конечно римляне. Именно они вероломно вторглись на Сицилию, якобы в помощь осажденной Мессане (жители-де слезно их умоляли!), коварно выдворили из города карфагенский гарнизон, пришли на помощь правящей в Мессане клике мамертинцев, бывших кампанских наемников Агафокла, некогда обманом овладевших городом, который гостеприимно впустил их в свои стены.

¹ Этруски.

² Tактическая единица в римской армии, более динамичная по сравнению с греческой фалангой.

Со своими грязными легионерами, которые подобным образом несколько лет назад захватили Регий, римляне почему-то не больно церемонились: розгами высекли на форуме и безжалостно отсекли им головы. Четырем тысячам солдат! Чем мамертинцы были их лучше? Захватывая Мессану, они также не щадили ни старого, ни малого. Почему с ними римляне не поступили таким же образом, как со своими беспринципными легионерами? Теперь ни для кого не секрет — потому что после Мессаны перед алчным Римом открывалась благодатная Сицилия — край новых земель и новых возможностей. Вот оно — неприкрытое двуличие, вот она — правда по-римски!

Римский народ единодушно поддерживает захватнические устремления своих правителей, словно червь завоевания прочно обосновался в их умах. Во всех бедах и несчастьях сицилийцев в один голос винят карфагенян, внушают, что карфагеняне во все века несли сицилийцам лишь невзгоды, а Рим пришел, чтобы их освободить, помочь изгнать извечных супостатов. Только почему в каждом таком «освобожденном» городе тут же сажается римский гарнизон, а неугодных либо угоняют в рабство, либо — в случае сопротивления — вырезают, как скот.

Алерия¹, Ольвия², Камарина, Панорм, Липара³... Список можно продолжать до бесконечности. И большинство городов взято либо вероломством, либо изменой. К тому же численное превосходство было и остается за римлянами, они используют все возможные способы пополнения своей армии: от рекрутского набора италийских союзников до массового привлечения жителей захваченных на Сицилии городов.

Граждане Карфагена, наоборот, смотрят на усилия своих полководцев удержать города Сицилии, как на нечто мало их касающееся, как будто ни Агафокл, ни Регул никогда не высаживались на побережье Ливии и не грозили Карфагену уничтожением. Неужели так скоротечна человеческая память? Или избирательна?

Не думая о страхах, кажется, никогда их не испытаешь. То, что происходит не у меня дома, никогда в мой дом не постучится. Наивная мысль. Если бы так было!

Гамилькар поднялся с ложа, налил себе из кратера⁴ вина. Легкая терпкость его была ему по вкусу.

¹ Город на Корсике.

² Город на Сардинии.

³ Город на Липарских островах.

⁴ Сосуд для смешивания вина с водой.

Где-то на палубе матрос затянул жалобную песню. Больно защемило в груди, как будто кто-то сдавил сердце.

(Продолжение следует)

□□□□□

СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Калабухин ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА	3
Игорь Бézрук ЛЕРА	22
Анна Гройсс КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «МЕЧТА»	26
ЧУЖИЕ ТАЙНЫ	30
ВОДЯНАЯ ЛОШАДЬ	35
МАГИЧЕСКИЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ИЛЛЮЗИОН ОХЕСА БОХЕСА	42
Андрей Загородний, Виктор Бровков ТРОЙНОЙ ПИНГВИН	50
Игорь Книга ВТОРАЯ ХВАТА	58
Рустам Мавлиханов АНГЕЛ FM	69
Дмитрий Аникин ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОД. СТИХИ	80
Елена Антипычева СТИХИ	91

Валентина Карпушина СТИХИ	96
Баадур Чхатарашвили ТИФЛИС. 50-Е. ЛЮДИ...	104
Эрих фон Нефф ГРЕЙСИ АЛЛЕН ЖИЛА ПО СОСЕДСТВУ	116
КОЙОТ	117
СОЛОМЕННАЯ ПАНАМА СРЕДИ РОЗ	118
Вячеслав Кушнир УБИТЬ ТАИРОВА	121
Игорь Бézрук ГАМИЛЬКАР БАРКА. КНИГА ПЕРВАЯ	175



**Литературный
альманах
«ЭДИТА» № 13**

**ЛИТО
«Edita Gelsen»**

edita gelsen

logobo2023@gmail.com
ISBN 978-3-910935-63-1

